

Через ржавую лесную речонку была переброшена шаткая лава. Собаки, поджав хвосты, осторожно пробирались по жердям. Та, что шла впереди, низкорослая, грязно-желтой масти, останавливалась и тоскливо оглядывалась. Хозяин собак, старый охотник-медвежатник Семен Тетерин заинтересованно следил за ней.

— Гляди ты, боится, стервоза,— удивленно и задумчиво произнес он.— Это Калинка-то. На-кося!.. Иди, телка комолая, иди! Чего ты?..

— Непривычная обстановка,— сообщил не без глубокомысленности фельдшер Митягин.

— Чего там непривычного! Ну, сорвется — эка беда. Не такие реки переплывала. Хлебала лиха на своем собачьем веку. Дурь нашла...

Третий из охотников лишь молча перевел взгляд с собак на хозяина.

Сняли ружья, бережно приставили к изрытому стволу матерой березы, опустились на прогретую за день траву. Собаки, перебравшиеся через лаву, бодро подбежали, вывалив языки, улеглись возле тяжелых сапог Тетерина.

Собаки, Калинка и Малинка, мать и дочь, совсем не походили друг на друга. Дочь, Малинка, крупнее матери, темнее мастью, выглядела солиднее, старше. До сих пор казалось странным, что медвежатник хвалит только Калинку, тощую, пеказистую, с неопытно торчащими клочьями шерсти на хребте. Но теперь, когда обе собаки легли рядом, стало видно: в разрезе длинной и узкой пасти Калинки, с выброшенным влажным языком, с желтыми клыками и черными брылами, было что-то безжалостно жестокое, какая-то особая холодная хищность, которая по-

ражает, если внимательно вглядываться в челюсти матерой щуки; узкие, словно кожа туго подтянута к ушам, глаза скользят по лицам охотников с угрюмым безразличием, в них нет и намека на привычную собачью ласковость. Наверное, ни одному постороннему человеку не приходило досужее желание протянуть руку к этой удлипенной, с зализанным лбом морде и потренировать по-дружески. Неприятный характер, но и незаурядный — поневоле согласишься, что такая не отступит перед волком, без оглядки кинется на медведя. Гладкая, ширококостная Малинка по сравнению с матерью — бесхитростное существо, воплощенное добродушие.

Над небольшой полянкой возвышались две березы. Одна — коряво могучая, заполнившая листвою и ветвями все небо над головами охотников. Вторая — в стороне, под берегом, по пояс в высоких кустах. На объемистом, в полтора обхвата, дуплистом стволе клочьями висит жесткая кора, сучья — словно сведенные судорогой колючие руки, ни одного листочка на них. Быть может, она мать могучей березы, почтенная прародительница молодой поросли. Десятки лет назад ее корни перестали гнать из земли по стволу соки, дающие жизнь, а дерево продолжает упрямо стоять и мертвое не падает.

Солнце чуть склонилось к вершинам елового леса. В нагретом воздухе пахло грибами и прелой хвоей. Что-то отяжелевшее, покойное, как дремота после обильного обеда, чувствовалось в природе. Ели бессильно повесили грузные лапы, на раскинувшейся в небе березе не шевелился ни один лист. Только умильное, убаюкивающее воркование упрямого в кустах ивняка тайного перекатца, только комариный писк над головой — немота кругом.

Охотники, лениво развалившиеся прямо на девственной лесной дороге, плотно заросшей мягкой травкой, испытывали смутную, пьянящую свободу. Нет забот, не о чем думать, просто живешь, ловишь лицом лучи солнца, вдыхаешь запах грибов — собрат этим суровым елям, частица нетронутой природы, растворяйся в ней без остатка. Лишь комары досаждают да легко щекочет нервы сознание, что впереди ждет необычное дело — ночная охота па медведя. Недаром же под березой маслянисто поблескивают стволы ружей.

Села, деревни, починок, поля, луга, выгоны Густоборовского района — все утонуло в лесах. Сквозь леса робко пробираются проселочные дороги, петляют по ним застойные, с темной водой, речонки, в глуши блестят черные зеркала болотистых озер. Хвойный океан захлестнул человеческую жизнь, даже охотники — а их немало в этом краю — чувствуют себя гостями в лесу, не отваживаются далеко отрываться от дорог. Один лишь Семен Тетерин, самый известный среди местных охотников, может сказать, что знает леса: всю жизнь провел в них. По берегам мрачных озер, в глухоманях таинственных согр он своими руками поставил рубленные из сосняка избышки. Они так и зовутся по деревням «тетеринки» — Кошелевская тетеринка (стоит на озере Кошеле), Губинская тетеринка (возле Губинского болота), Линовая, Моховая, Прокошинская... В какую бы глушь ни занесло Семена, в трескучие морозы зимних ночей или в проливные осенние дожди, он добирался до ближайшей тетеринки, растапливал каменку, сушился, варил хлебово, чувствовал себя дома.

Если Семен Тетерин по-своему владычествовал над лесами, то лежавший напротив человек рано или поздно должен упитчить его владычество. Этого человека звали Константин Сергеевич Дудырев.

Всего год назад маленькая деревня Дымки ничем не отличалась от других деревень — Кузьминоок, Демьяновок, Наленых Горок. В ней темные бревенчатые избы глядели с берега в кувшиночные заводи реки, в пей была всего одна улочка, проходила одна дорога — грязная во время дождей, пыльная в сухие дни. Как и всюду, в ней горланили петухи по утрам, с закатом солнца возвращались с поскотины коровы. Кто мог подумать, что эту самую неприметную деревню ждет необычная судьба. Не в Кузьминках и не в Демьяновке решили строить громадный деревообделочный комбинат. Рядом с бревенчатыми избами выросли щитовые дома, закладывались фундаменты для кирпичных пятиэтажных зданий, на кочковатом выгоне экскаваторы, задирая ковши, принялись рыть громадный котлован. Новые и новые партии рабочих прибывали со стороны — разношерстное, горластое племя. Даже застенчивое название Дымки исчезло из обихода, заменилось внушительным — Дымковское строительство. А начальником этого строительства стал Дудырев — всемогущая личность.

Много лет руководители Густоборовского района мечтали наладить дорогу от районного центра до железнодорожной станции. Пятьдесят километров твердого покрытия, чтобы не ломались машины, чтоб городок Густой Бор осенью не был отрезан от остального мира. Велись подсчеты, посылались запросы, разводили руками — нет, не осилить! А Дудырев едва только приступил к делу, как сразу же проложил не только дорогу, а навел железнодорожную ветку. Об этом и мечтать не смели... Он пустил рейсовые автобусы от Дымковского строительства до Густого Бора, от Густого Бора — до станции. Он встряхнул сонную жизнь районного городка, наводнил его новыми людьми. Секретарь райкома и председатель райисполкома держались при Дудыреве почтительно, колхозные председатели, даже самые уважаемые, как Донат Боровиков, постоянно крутились вокруг него, старались услужить — авось перепадут крохи с большого стола, авось разрешит отпустить цементу, гвоздей или листового железа, что у сельхознаба, облейся горячими слезами, не выпросишь.

Дудырев только развернул дело. Он еще выбросит в глубь лесов «усы» узкоколеек. Он перережет леса просеками. Его комбинат будут обслуживать четыре леспромохоза с десятками новых лесопунктов, разбросанных по тем местам, где теперь лишь стоят одинокие тетеринки. Рычание трелевочных тракторов, визг электропил, гудки мотовозов распугают медведей. Кончится владычество Семена Тетерина.

Оно кончится, но не сегодня и не завтра. А пока Семен Тетерин и Дудырев, прислонив ружья к стволу березы, бок о бок отдыхают, отмахиваются от комаров.

На людях Семен Тетерин ничем не выделяется — не низкоросл и не тщедушен, но и не настолько могуч, чтобы останавливать внимание. Одна обветренная скула стянута грубым ирпомом, отчего правый глаз глядит сквозь суровый прищур. Шрам не от медведя, хотя Семен на своем веку свалил ни много ни мало — сорок три матерых зверя, да еще пестунов и медвежат около двух десятков. Шрам — с войны, осколок немецкой мины задел Семена Тетерина, когда он вместе с другими саперами наводил мост через Десну.

Дудырев похож на рабочего со своего строительства. Выгоревшая кепка натянута на лоб, поношенный, с мятыми лацканами пиджак, суконное галифе, резиновые сапоги. Новенький, хрустящий желтой кожей патронташ он снял и бросил под березу, к ружьям. Лицо у него крупное,

неотесанное, угловатое, истинно рабочее, только маленькие серые, глубоко вдавленные под лоб глаза глядят с покойной, вдумчивой твердостью, напоминая — не так-то прост этот человек.

Третьим был фельдшер Митягин, сосед Семена Тетерина. Он лыс, мешковат, в селе на медпункте в белом халате выглядит даже величавым. Старухи, приходящие из соседних деревень, робеют перед ним, даже за глаза зовут по имени и отчеству, считают его ученым. «Куда врачихе-то, что из района приезжает, до нашего Василия Максимовича. Девка и есть девка, нос пудрит да губы красит, поди, одни женихи на уме-то...» Но, кроме старух, Василий Митягин ни у кого уважением не пользовался. Ребятишки по селу в рваных штанах бегают, а сам любит выпить. Добро бы еще пил с умом, а то выпьет да непременно куражится: «Мы-де, практики, за голенище заткнем тех, кто институты-то прошел...» Несерьезный человек.

Митягин давно уже по-соседски упрасивал Семена Тетерина взять его на медвежью охоту, говорил, что в молодости баловался, уверял — не подведет. Семен дал ему свою старенькую одностволку, наказал: «Не вздумай лезть наперед, не на зайца идем. Меня держись, каждое слово лови...»

Сейчас Митягин не обращал внимания ни на тишину, ни на воркование переката, — должно быть, не испытывал радостного чувства свободы, а понимал лишь одно, что сидит в почтенной компании, на физиономии выражал значительность, старался глядеть умно, даже комаров припечатывал на лысине с достоинством.

3

Мало-помалу завязался разговор, благодушный, необязательный, просто потому, что молчать уже надоело. Начали о Калинке...

— У собаки инстинкт, то есть на обычном языке — привычка, — поглядывая краем глаза на Дудырева, внушительно принялся объяснять Митягин. — На лаве испугалась, значит, сказался инстинкт страха. Павловский рефлекс. Так-то...

— Значит, по-твоему, Калинка привыкла пугаться? Эко! — усмехнулся Семен.

— Не просто привычка, а особая, врожденная...

— Ну, мели, Емеля, еще и рожденная. А почему не только наши охотники, но из-под Жмыхова, за семьдесят

километров, с поклоном ко мне подъезжают: продай, ради Христа, щенка от Калинки. Они что, урожденный страх торговать хотят? Весь помет от Калинки на отличку — храбрее собак нету.

— Нельзя, брат, судить, так сказать, с высоты собачьей позиции. Я научную базу подвожу...

Но тут заговорил Дудырев, и Митягин почтительно замолчал на полуслове.

— Храбрость... Трусость... Одно слово — как наградной лист, другое — как выговор в приказе...

— Именно, — на всякий случай осторожно поддакнул фельдшер.

Дудырев лежал на синине, заложив одну руку под голову, другой нехотя отгонял комаров.

— Помню, во время войны один из наших офицеров-разведчиков говорил: страшен не тот, кто стреляет, а кто поджидает. Который стреляет, мол, понятен — хочет убить, сам боится быть убитым, такой же живой человек, как и ты. А вот затаившийся, поджидающий — неизвестен, непонятен. Непонятное, таинственное — самое страшное. От страха перед непонятым люди и бога выдумали и чертей...

— Именно, — снова поддакнул Митягин.

— Скажи, — Дудырев приподнялся на локте, повернувшись к Семену, — ты вот во всяких переделках бывал, шестьдесят медведей свалил, случалось тебе себя потерять, испугаться до беспамятства?

Семен Тетерин задумался.

— Себя терять не приходилось. Потеряйся — не сидел бы я тут с вами в холодке.

— Не может быть, чтоб ты ни разу не боялся.

— Бояться-то как не боялся, чай, тоже человек, как и все.

— А пу-ка...

— Да что — ну. Всяко бывало. Ты, Максимыч, должно быть, помнишь, какого я хозяина приволок в то лето, когда Клашку замуж отдавал?

— Как не помнить. Уникальный экземпляр.

— То-то, экземпляр. Развесил бы меня этот экземпляр по всем кустам да елкам. С лабаза бил. А разве уложишь с первого выстрела? В плечо всадил. Слышу — рывкнул да в лес. Я с дерева да за ним. Пошла у нас, как водится, веселая игра в пятнашки. Бежит он, а по всему лесу треск, словно в пожар. Я взмок, ватник бы с плеч скинуть, да времени нет: ремень надо расстегнуть, топор за ремнем...

Нагоняю в березнячке, всадил заряд из второго ствола, а тут душа зашлась. Березнячок-то молоденький, а бабка-то у него, ну-ко, выше березок. Я ружье переломил, патрон вставляю, глядь, а патрон-то заклинило, не закрою никак ружье. А он идет, лапы раскорячил, чтоб пусто было, вот-вот обнимет... Бросил я ружье, топор из-за пояса хвать... Чего там топор, когда я ему чуть повыше пупка макушкой достаю. Изба избою, колокольня ходячая опустится сверху — будет вместо меня мокрая лужа среди кочек. Размахнулся я топором и закричал... Закричишь, коли жизнь дорога. Убью-де, такой-сякой! С матерком на весь лес... И надо же, видать, крепко шумнул, он шмяк на четвереньки да от меня. А я глазам не верю, каждая косточка дрожит, руки не слушаются, топором за пояс не попаду...

Семен Тетерин замолчал. На лице, темном, обветренном, со скулой, стянутой прагом, блуждала невнятная ухмылочка. Дудырев и Митягин притихли. Им нездорово представилась картина: ночной вымерший лес, могильная тишина и крик. Этот крик настолько свиреп, что проник в мозг раненого зверя, мозг, затуманенный болью, отчаянием. Ярость против ярости, сильное животное против еще более сильного.

Дудырев оборвал молчание:

— И все-таки убил его?

— А куда ему деться? Возле Помяловского оврага прижал. Тут уж, шалишь, ружье не забаловало. Домой привез, шкуру снял, прибил под самую крышу, так задние-то лапы траву доставали. То-то народ дивился...

— Уникальный экземпляр, что и говорить, — вздохнул Митягин.

В это время со стороны донеслись звуки гармошки. Чьи-то неумелые руки выводили однообразно бездумное «Отвори да затвори...». И было в этих звуках что-то простое, бесхитростное, родственное лесу, как шум переката в кустах.

— Эк, какого-то игруна сюда занесло, — удивился Семен. — Из Пожневки, должно.

На опушку вышел парень в суконном не по погоде черном костюме, отложной воротничок чистой рубахи выпущен наружу, широкие штанины нависают над голенищами сапог, в руках поблескивающая лаком хромка, круглое лицо лоснится от пота.

— Так и есть, из Пожневки, — сообщил Семен. — Бригадира Михайлы сын, трактористом работает... Эй, малый!

Куда ты так вырядился? Не с лешачихой ли на болоте свадьбу играть?

Парень, неожиданно налетевший на людей, сначала смутился, потом степенно поправил на плече ремень гармона.

— Куда? Известно, в Сучковку.

— Чай, там вечерку девки устраивают?

— А чего ж.

— Вот оно, дело-то молодое. От Пожневки до Сучковки, почитай, верст десять, а то и все пятнадцать. С ночевкой, поди, у зазнобушки?

— Где там с ночевкой, утром к семи на работу надо.

— Лих парень!

Семен Тетерин смотрел с откровенным восхищением, как человек, увидевший свою молодость. Митягин снисходительно ухмылялся. Дудырев не без любопытства разглядывал. Ему этот парень в своем праздничном наряде, так не подходящем к лесу, напоминал чем-то кустарную игрушку, одну из тех комично торжественных, покрытых лаком аляповатых фигурок, которые теперь входят в моду у горожан.

— А мы в ваши края,— сообщил парню Семен.

— Знаю. Отец сказывал.

— Не отпугнули от укладки зверя-то?

— Никто близко не подходил.

— То-то... Шагай, не то, гляди, запозднишься,— мило-стиво отпустил Семен.

— Поспею... Удачи вам.

— И тебе того же.

Парень подтянул повыше ремень хромки и зашагал дальше. Вскоре за лавой раздалось незатейливое: «Отвори да затвори...»

Семен Тетерин поднялся с земли...

— Пора и нам. Солнце-то низко. Как раз ко времени поспеем.

Собаки бодро вскочили на ноги. Охотники разобрали ружья.

4

Три дня тому назад на дом к Семену Тетерину заехал Михайло Лысков, бригадир из деревни Пожневки, и сообщил, что вторую неделю на их поскотине погуливает медведь. До сих пор мял овсы, пугал женщин, ходивших на

покосы, а прошлой ночью заломал годовалого телка. Часть сожрал, часть припрятал, как водится, забросал дерном и мхом, чтоб, когда мясо попритухнет, наведаться и всласть полакомиться.

— Заходи в деревню, сам тебя наведу на место,— пообещал бригадир.

— Зачем мне наводчики? Расскажи — смекну. Чай, ваши места знаю, как свой двор.

И бригадир рассказал, что медвежья «укладка» лежит в конце оврага, шагах в двадцати от опушки, что медведя можно встретить и в овсах и в малиннике, который вырос на горелом месте.

— Все друг от дружки рядом — и укладка, и овсы, и малинник. Видать, уходить не собирается. Найдешь без промашки. Убери его — нам покойней и тебе, глядишь, добыча.

— С собаками пойду,— реннил Семен.

Летняя охота на медведя обычно ведется тремя способами: с капканами, с лабазов, с собаками.

Охоту с капканами Семен Тетерин презирал: «Эка споровка — зверя свалить, когда он лапу в железе увязил. Капкан-то цепью к бревну приклепан. Поволочит бревно, умается, подходи вплотную и лупи в упор. Срамота, а не охота...»

С лабазов охотиться труднее. Лабаз — дощатый настил, пристроенный на дереве, растущем возле того места, куда повадился ходить медведь. Охотник еще до захода солнца прячется на лабазе и ждет. Но нельзя никогда рассчитывать, что первый же выстрел уложит зверя наповал. Дашь промах — успеет уйти, ранишь — нужно догонять. А раненый хозяин опасен...

Семен Тетерин считал, что с собаками охотиться проще, чем с лабазов, вернее и не в пример интереснее. При собаках никогда не потеряешь след, они связывают медведя, отвлекают его. Хорошо натасканная собака у медвежатников ценится дороже коровы, а Калинке и вовсе цены не было. Она пользовалась славой едва ли не меньшей, чем сам Семен Тетерин.

Семен прикинул, что именно в эту ночь хозяин должен навестить свои запасы. Он уверенно вел охотников, однако не спешил. Лучше прийти к месту позже (собаки все равно наведут по следу), чем нагрянуть до времени, спугнуть зверя. Ищи тогда вслепую по лесу, надейся на удачу.

Ночь в лесу, как всегда, ползла снизу, из-под корней деревьев. С застывших облачков еще не слинял закатный

румянец, а на дороге едва-едва различишь собственные сапоги. Густеет тьма, из всех пор истекает земля черноземным жирным мраком. Мертв лес в эти часы, ни птичьего свиста, ни шума ветра — глухая пустыня. Здесь гуляет в одиночестве большой зверь, лохматое, сильное, дикое существо. Он не сказка, не вымысел.

Митягин отставал, спотыкался о корневища, влезал лицом в колючие еловые лапы, вполголоса чертыхался и уже жалел, что напросился на это хлопотливое дело.

Дудырев считал себя бывалым охотником: не только бил зайцев и уток, эту бесхитростную добычу всех, кто знает, с какого конца держать ружье, но в степях участвовал в отстреле сайгаков, на уральских озерах снимал с лету диких гусей, как-то по лицензии с компанией загнал матерого лося. Давно мечтал выйти на медведя, но все не удавалось.

Сейчас он шел, ни на шаг не отступая от Семена, старался переписать легкую и бесшумную поступь медвежатника, но молчаливый лес угнетал и его. Не понять, куда идут, где зверь, как можно на него наткнуться среди этой чашобы, в этой дегтярной тьме. Ничего не сообразишь, словно слепец за поводырем, целиком зависишь от чужой воли.

Часто впереди можно было разглядеть собак. Они дожидались Семена и, едва тот подходил к ним, снова растворялись в лесу.

Семен остановился. Дудырев тоже. Митягин налетел на него сзади, по привычке выругался.

— Нишкни, Максимыч! — суровым шепотом приказал Семен. — Ни слова больше.

— Туда ли идем? — чуть слышно посомневался Дудырев.

— Пришли, считай. Теперь слушай собак. Как голос подадут, пу, тогда — не отставать.

Семен тронулся вперед. Шагали с осторожностью, на каждый хруст ветки под сапогом медвежатник грозно оглядывался.

Неожиданно мрачный лес раздвинулся, охотники вышли на поле. Светло, тихо, покойно. Поле овса — матовое озеро среди вздыбленных черных берегов. Здесь уже не дикое царство медведя, а свое, родное, человеческое. Невольно Митягин и Дудырев ощутили бодрость.

А до сих пор скорый на ногу Семен Тетерин вдруг пошел медленно, вскинув высоко голову, расправив плечи, вытянувшись — ни намека на прежнюю сутуловатость. Он

напоминал сейчас собаку, подбирающуюся к камышам, в которых засели утки.

Так прошли все поле, снова уперлись в лес — монолитно темный, пугающий. Жидкая, падающая изгородь отделяла поле от леса. Семен остановился возле нее; вытянув шею, поводя подбородком из стороны в сторону, стал прислушиваться.

На небе проступили крупные бледные звезды. Далеко-далеко утомленно и печально кричал дергач. От плотной стены густого ельника тянуло сыростью. Медвежатник нервно прислушивался, а кругом — сонная и вялая тишина, один лишь коростель невесело исполнял свою ночную обязанность.

Легкий треск со стороны леса — все обернулись, но за изгородью показались собаки. Они деловито подбежали к Семену, и тот, не приглушая голоса, с досадой выругался:

— Что за оказия!.. Иль я дурака сваял, иль Михайло чего напутал... Пошли посмотрим, что ли. Есть ли хоть укладка-то?

Семен перемахнул через изгородь и двинулся в глубь леса прежним легким и быстрым шагом. Собаки послушно бросились вперед, исчезли в темноте. Дудырев нагнал Семена, снова спросил:

— Да туда ли попали? Про овраг же говорилось...

— Вот он, овраг, — сердито тряхнул головой Семен. — Лозняком зарос. Тут он кончается, и днем-то сразу не приметишь.

В чаще заворчали собаки. Семен круто свернул, принялся ломиться напрямик сквозь ветви.

— Кыш, пакостницы! Обрадовались! — раздался его голос.

Когда Дудырев и Митягин продрались сквозь чащу, Семен стоял на обочине крохотной прогалинки и задумчиво пошевеливал сапогом землю.

— Цела укладка, — сообщил он.

— Не приходил?..

— Спугнули его иль...

— Или?..

— Иль зажрался, сукин сын. Время-то не голодное, тут тебе и малина поспела, и черника, и овсы как раз выколосились. Жри — не хочу. Побаловал и забыл.

— Как же мы теперь найдем его? — спросил Дудырев.

Семен угрюмо промолчал, пошевеливая носком сапога

мох. В сыром, пронзительно свежем воздухе тянуло приторной вонью.

— Ишь разит. Самая сладость для него,— повторил Семен.

— Так что — неудача? — допытывался Дудырев.

Медвежатник разогнулся, поправил на плече двустволку.

— Будем по лесу шарить... Чего расселись? Марш отсюда! — прикрикнул он на собак. Уже спокойнее добавил: — Для начала малинник прочешем.

Снова чащобы, снова лезущие в лицо еловые лапы, стволы деревьев, вырастающие на пути, перепутанная корневищами, в ямах и кочках земля, мрачная тишина кругом. Лес сырой, отчужденный, точно такой, каким был полчаса назад, но сейчас он не давил на мозг, не пугал. Нет поблизости зверя, исчезла тайна, пропала душа, осталась одна оболочка. Чувствовалось, что Семен Тетерин спешит из упрямства, с досады. Дудырев и Митягин по привычке подчинялись ему.

Высокий лес перешел в кустарник, стало светлее, но зато на каждом шагу попадались выворотни и залитые водой бочажки. Здесь лет пять назад был пожар, мертвые, обугленные сосны попадали, земля заболотилась, поросла ольхой и кустами малины.

Вдруг Семен так внезапно остановился, что Дудырев ударился о его широкую каменную спинну.

В глубине леса раздался лай собак, два голоса: скрипучий, сухой и жесткий — Калинки, бодрый, с подвизгиваниями — Малинки.

— Наткнулись-таки,— вполголоса обронил Семен и, продолжая вслушиваться, медлительно потянул с плеча ружье.— На след наткнулись... Ну... не отставай...

Он бросился не на голоса собак, а куда-то в сторону. Дудырев побежал за ним, но сразу же потерял его из виду.

— Где вы? — донесся до него сердитый голос.— Держись меня, так вашу перетак!

Дудырев рванулся на голос, нагнал медвежатника. Хлещущие по лицу ветви, кусты, трухлявые пни, падающие под ноги,— через пять минут стало жарко, кровь застучала в висках, но Дудырев ломился вперед, ловил звук шагов Тетерина, не отставал...

А Митягин сразу же отстал. Он выскочил на довольно широкую тропу, корявую, в каменистых буграх засохшей грязи. По ней бежать было все же легче, чем продираться сквозь чащу. И он побежал, ловя невнятный, как сквозь стену, лай собак. Лай удалялся. Митягин прибавлял скорость, надеясь обогнать Тетерина и Дудырева, которым приходилось бежать лесом.

Но вот ветки снова стали хлестать по лицу, стволы деревьев — задевать за плечи. Митягин влетел в самую чащобу, остановился, переводя дыхание. На весь лес стучало сердце. И вдруг он почувствовал, что стук собственного сердца — единственный звук среди могильной тишины. Собачьего лая не слышно.

Митягин повернул обратно, наткнувшись несколько раз на стволы березок и напоровшись на недружелюбно колючие, мокрые ели, скатился в неглубокий овражек. Разогнулся и понял — заблудился. Тропа растаяла под ногами. Ее, должно быть, протоптал скот, она вела просто в глубь леса, а потом исчезала.

Нельзя было увидеть протянутой руки. Вверху безучастно шумел ветер хвойными вершинами. Один среди леса, огромного, как море. Где-то, километрах в пяти-шести, деревенька Пожневка, окруженная полями, но где, в какой стороне? Легче всего ее проскочить, а тогда лес, лес и лес на десятки, а то и на сотни километров. Одиноким человек в нем — как сорвавшаяся блесна среди громадного озера: ищи месяцами, не отыщешь.

Шумел ветер хвоей, в просвете между черными вершинами насмешливо подмигивала звезда.

— Се... Се-мен! — крикнул Митягин.

Голос был слабый, плачущий, сырая почва впитала его. Да разве услышит Семен, когда ломится на собачий лай вслед за медведем, разве можно пробить криком эту вязкую, как смоль, темень!

— Се... Се-мен!

Шумит ветер наверху.

Митягин бросился влепую, ломая ветви, падая, подымаясь...

Сбоку плотная стена леса прорвалась. Митягин повернул на просвет. А вдруг да он сделал крюк, вдруг да выскочит на то самое поле овса.

Но это была поляна, узкая, стиснутая лесом, заросшая высокой жесткой травой. Носреди нее — редкая кучка

елей, купающаяся в сером, густом, как кисель, тумане. Зловещей заброшенностью веяло от всего. Особенно испугала Митягина высокая трава — покосы кончаются, а здесь коса и не проходила, занесла же нелегкая к черту на кулички!..

И в это время послышался собачий лай. Митягин, не задумываясь, бросился в сторону лая...

Далекie собачьи голоса приближались. Можно было разобрать короткое жесткое тьяканье Калинки. Митягин бежал по мокрой траве, хлеставшей его по коленям. Молодые елочки среди распластанного тумана плясали перед глазами.

Неожиданно одна из темных елей сорвалась с места и кургузым бесформенным комком покатилаcь навстречу. Митягин бежал прямо на нее, но вдруг сообразил, прилип к месту. Да ведь это же медведь. Он совсем забыл о нем!

Медведь отмахивал грузным галопом, вскидывая зад. Митягин судорожно стал срывать с плеча ружье, оступился, упал на траву, замер... Рядом послышались тяжкие удары мягких лап о землю, громкое сопение...

Промчались лающие собаки...

Митягин нащупал в траве ружье, распрямился. Из тумана вынырнула сначала одна фигура, за ней другая. По войлочной шляпе узнал Семена Тетерина, Дудырев бежал за ним шагах в десяти.

Они не обратили внимания на выросшего словно из-под земли Митягина. Тяжело дыша, с шумливой суетой проскочили мимо. Митягин рванулся за ними. Теперь он знал — не отстанет ни на шаг.

6

Проснулась сила предков. Дудырев перестал быть обычным человеком, сам превратился в зверя — злого, жаждущего крови, выносливого. Пот заливал глаза, ветви хлестали по лицу, сучья рвали пиджак, а он бежал, бежал, не чувствуя ни боли, ни тяжести резиновых сапог, перемахивал через кочки, через поваленные стволы деревьев, через пни. Он слышал только собачий лай и еще не видел медведя, но всей кожей ощущал его близость и его обреченность. Не уйти ему от собак, рано или поздно нагонят, а там...

Потные руки сжимают ружье. Впереди Семен Тетерин. Он так сильно подался вперед всем телом, что ждешь —

вот-вот упадет, но не падает. Бег его кажется легким, летящим — никак не нагонишь.

Отставший где-то Митягин вдруг почему-то оказался рядом, побежал следом, чуть ли не наступая на пятки.

Лай собак превратился в осатанелый визг. Летящий над высокой травой Семен Тетерин споткнулся, распрямился, уже не побежал, а пошел вперед приплясывающей походочкой, неся на весу ружье. Дудырев перевел дыхание, смахнул рукавом пот с лица. Он понял: собаки нагнали медведя, будет встреча. Захлебывающийся от ярости собачий лай доносился с конца поляны, от самой опушки. И хотя глаза совсем привыкли к темноте, Дудырев сначала никак не мог понять, где собаки, где медведь. Он видел лишь какое-то шевеление среди деревьев. Молодая березка, как в сказке, кланялась и подымалась навстречу приближавшемуся с ружьем Семену Тетерину. Но вот Дудырев различил среди травы спины собак и сразу же отчетливо увидел всю картину...

То, что он принял сначала просто за темный провал в опушке, был стоящий на задних лапах медведь. Собаки захлебывались, рвались к зверю, но держались-таки на почтительном расстоянии. Медведь, ухватив обеими лапами ствол березки, ломал ее, гнул из стороны в сторону, словно гигантским веником отмахивался от собак.

Дудырев не успел добежать до Семена, как тот вскинул ружье, замер, словно заснул на секунду возле приклада... От красного пламени подпрыгнул лес, тугой звук выстрела ударил в уши, отозвался где-то далеко за спиной. И еще отзвук выстрела не стих, а продолжал метаться в конце поляны, как прозвучало болезненно-свиренное, короткое, как крикание с насады, рычание медведя. Собаки с раздирающим душу визгом бросились на него и отскочили...

— Ах, чтоб тебя! — с болью крикнул Семен.

Медведь словно повалился на землю. Из лесной чащи доносился одинокий визгливый лай. Полусломанная березка печально качалась в воздухе.

Семен, осторожно ступая, прошел под самую березку, опустил коленями на траву, пригнулся. Подбежавший Дудырев разглядел в траве распластанное собачье тело.

— Эх ты, оказия... Надо же, напоролась. Глупая, без сноровки... Небось Калинка не подвернется... Все утро, стервец, выпустил. Дурной знак, дурной... Слышь... — Семен повернулся к Дудыреву: — Добей, чтоб не мучилась. У меня рука не подымется.

Он поспешно вскочил на ноги, отступил в сторону.

Дудырев приставил ружье к собачьей голове, увидел, что она доверчиво приподнялась, различил мерцающий в сумерках глаз, невольно зажмурился сам и, поспешно пацнував спусковой крючок, выстрелил из одного ствола.

По мокрой траве расползлся пороховой дым. Семена уже рядом не было. Неподвижно стоял в стороне Митягин. Надломленная и перекрученная березка все еще качалась. В глубь леса удалялся визгливый лай Калинки. Она преследовала по пятам зверя.

Первым сорвался Митягин. Дудырев, не успев перезарядить двустволку, с одним патроном в стволе, бросился догонять. Охота продолжалась.

7

Медведь был ранен и уже не мог оторваться от собаки. Иногда лай прерывался осатацелым визгом, за которым следовало секундное молчание. Затем снова лай с возросшей яростью, силой, упрямством. Это медведь пробовал напасть на собаку. Калинка увертывалась.

Они наткнулись на глубокий овраг и погнали зверя вдоль него. Вдруг сильный визг Калинки возвысился до злобного торжества, потом стал глуше, словно собака провалилась сквозь землю.

— Никак, в овраг скатился... — Семен круто остановился. — Так и есть! — Он, повернувшись к Дудыреву, жарко задышал прямо в лицо. — Я вверх оврага проскочу, перехвачу его. А вы здесь спускайтесь. Услышите, что на вас идет, — пугайте издалека. В воздух бейте. Гляди же, издалека. А то в тесноте да в темноте, чего доброго, заломает вас. Ну, марш!

Склоны густо поросли ольхой, снизу тянуло влажной, затхлой прелью, как из погребной ямы, где лежит прошлогодняя картошка. Как ни привыкли глаза к темноте, но в овраге мрак был особый, густой, слежавшийся. Мир исчез — здесь преисподняя. Шуршит под ногами галька, лезут в лицо сухие сучья, прерывисто посапывает за плечами испуганный Митягин.

— Ну и местечко, — шепотом, выдававшим душевный озноб, обронил он. — Могила.

Совсем неожиданно глухой доселе собачий лай прорвался, стал явственным. Но в этом задуманном темнотой и застойной сыростью подземелье не понять — далеко ли, близко ли лает собака.

— Стреляем? — тем же шепотом спросил Митягин.

Дудырев не ответил. Стрелять? А вдруг рано, вдруг да отдаленные выстрелы не испугают зверя, а насторожат, он не бросится опрометью назад, а полезет по склону вверх? Что тогда подумает Семен? Издалека палили, подпустить ближе боялись? Лучше выждать...

Лай слышался отчетливо, и опять не разберешь, приближается ли он. Дудырев сдерживал нервную дрожь: если медведь наскочит внезапно, вряд ли удастся увернуться — сомнет, переломает, он ранен, взбешен.

Дудырев вспомнил — в ружье всего один патрон. Если промахнется, то шабаш — не прикладом же отмахиваться от зверя. Он переломил двустволку, начал слепо шаривать рукой патроны, но патронташ съехал набок, никак не удавалось расстегнуть клапан.

В эту минуту впереди что-то хрястнуло, обвалилось. Охрипший собачий лай, ворчание — медведь рядом, а ружье переломлено! Задев плечом, чуть не сбив Дудырева с ног, рванулся в сторону Митягина. Ружье переломлено... Хватаясь рукой за кусты, упираясь в землю коленками, Дудырев полез вверх по склону.

Треск, хриплое, прерывистое дыхание, надрывный — почти плач озлобления и бессилия — лай. Снова треск, злобное рычание, но уже дальше...

Лай Калинки стал гложуть. Тут только Дудырев понял и чуть не застонал от стыда. Испугался, очистил дорогу, зверь прошел, даже не заметив его.

Двустволка была не закрыта. Дудырев с досадой защелкнул ее. Много лет мечтал о такой встрече и — на вот. Как глупо! Как нелепо! Позор! Дудырев морщился в темноте.

Семен Тетерин рассвирепел:

— Помощнички! В болото отпустили! Теперь намаемся... Лазай среди ляжик! В руках был! Пугнуть только и просил. Эх, бестолочи! Ты!.. — Он налетел на Митягина, виновато трусившего в стороне. — Забыл, что ружье носишь, а не балясину? Стреляй, коль нужно, не то катись домой, не путайся в погах! А ты, Константин, хвалился — козлиц в степях стрелял. Оно и видно — на козлиц да на поганных зайцев мастак...

Семен ругался, а Дудырев покорно молчал, не пытаясь оправдаться.

Выбежали на окраину болота. Тощие елочки редко торчали из моховых чочек. Были видны лишь самые ближние, остальные скрывала ночь. И тем не менее чувствовалось,

что такой частокол из худосочных деревьев тянется на километры. Даже ночь не могла спрятать унылость болота.

Где-то в глубине этого болота продолжал звучать голос Калинки. Низкорослая, тщедушная собака с бесстрашием до самозабвения, с упрямством до помешательства одна продолжала преследовать могучего озлобленного зверя, который может легким шленком перебить ее пополам. Плачущий лай Калинки терзал сердце Дудырева.

8

Из болота вырвались, когда ночь начала мутнеть, моховые кочки проступили отчетливее.

Калинка сорвала голос, и вместо яростного лая доносилось взвизгивание, похожее на скрип несмазанного колеса. Грязные, мокрые, выбившиеся из сил охотники заставляли себя бежать. Теперь у каждого из них появилось озлобление против медведя; загонял, измучил, заставил месить трясину, страдать от стыда — накопилось личное, неприемлимое, более серьезное, чем простой охотничий азарт.

Медведь, должно, сам измучился. Он выскочил на дорогу и бросился по ней, чувствуя одно — ему легче бежать, не соображая, что здесь охотники быстрее настигнут его.

А эта дорога вела к берегу лесной речки, к лаве, возле которой всего каких-нибудь пять часов назад охотники отдыхали, беседовали, отмахивались от комаров.

Вот и береза — под ней стояли ружья. Вот покатый склон к речке. Вот окруженное кустами высохшее дерево, в подслеповатых сумерках окостенели в бессильной корче его ветви.

Обеспамятевший медведь наткнулся на лаву — она не выдержит его, вплавать перебраться не успеет: охотники рядом. Зверь поднялся на дыбы и шагнул навстречу охотникам...

В скупо брезжащих сумерках, впереди размашистых кустов и вознесенных над ними сучьев сухостойной березы, распылчатый, от этого еще более грозный и величественный, какой-то бесилотный, двинулся по склону. Он не рычал, не отмахивался от Калинки, которая наскоками зло хватала за ляжки и отлетала обратно, — он молча шел навстречу смерти.

Три ружья одновременно вскинулись на него. Три человека припали к прикладам...

И тут Семен Тетерин уловил за кустами «Отвори да затвори...» — бездумно веселый, глупенький звук гармошки.

— Не стреляй! — крикнул Семен.

Но было поздно, два ружья разом грохнули, хрипло завизжала Калинка, бросившаяся под ноги качнувшемуся вперед медведю. Вялый ветерок понес пахнущий затхлостью дым пороха.

Медведь лежал темной тушей. Калинка бесновато прыгала возле него. Глухое эхо выстрелов умирало где-то далеко в лесных чащах. Дудырев и Митягин стояли не шевелясь, держа навесу ружья, все еще сочившиеся дымком. И чего-то не хватало, что-то исчезло из этого скудно освещенного мира.

Заглохло наконец эхо выстрелов, словно подавившись, Калинка оборвала сиплый визг, явственно доносился говорок переката в кустах... Семен, вытянув шею, с усилием вслушивался — ничего, только умильно воркует перека.

Семен отбросил ружье, рванулся к лаве.

Над темным дымящимся бочажком лесной речки перекинуты три жерди, упирающиеся в связи из кольев. Застойная речка, неподвижные кусты, грубо сколоченная лава — нерушимый покой, уголок мирно спящего леса, редко навещаемого людьми. Пусто кругом и глухо. Только со стороны, из зарослей, ведет нескончаемую болтовню перека.

Под тяжестью Семена насланные жерди возмущенно заскрипели. Он огляделся и в маслянисто-темной воде, по которой ползли клочья серого тумана, заметил что-то черное. Семен прыгнул с лавы, оглушил себя всплеском, окунулся с головой, достав и руками и ногами илистое дно, распрямился, громко плеская, побрел по грудь к плавающему черному предмету. Дотянулся, схватил — гармошка!

Подняв ее над головой, он пошел дальше, старательно вдавливая сапоги в илистое дно. Шаг, другой, третий... И с ужасом почувствовал, как что-то крупное, невесомое с робкой ласковостью прислонилось к нему.

Семен отшвырнул гармошку, запустил руки, пальцы сразу ощутили мягкую шероховатость сукна... С ленивым всплеском раздалась вода, показалось плечо, за ним сникшая голова с зализанными на одну сторону волосами.

Подымая эту сникшую голову, раздвигая кувшиночные листья, Семен потащил ношу к берегу.

Парня положили возле березы, почти на то место, где отдыхали перед охотой. Дудырев, склонившийся над ним, поспешно разогнулся, сорвал патронташ, сбросил пиджак, вылез из одной рубахи, другую, нательную, с треском разорвал на себе.

— В шею попало, — глухо обронил он.

Это были первые слова, произнесенные после выстрелов.

Митягин стоял в стороне, все еще сжимая в руках разряженное ружье. Семен, мокро шуршащий, сильно ссутулившись, распространяя вокруг себя знобящий речной холодок, шагнул к нему, грубо вырвал из рук ружье, толкнул к распластанному на земле парню.

— Чай, фельдшер, как-никак — действуй!

Митягин упал на колени перед парнем, принял из рук Дудырева распотрошенную рубаху, засуетился — повернул вялую голову, низко-низко, как близорукий, склонился над раной, повросил:

— Тряпку какую намочите. Обмыть бы...

Дудырев схватил кусок рубахи, передергивая от холода голыми руками, двинулся к реке, затрещал среди кустов.

— Ах ты беда, из шеи кусище вырвало, — жалобно бормотал Митягин. — Ах, беда так беда...

— Ты плачь, а не плачь! — подгонял Семен.

— Тут и опытный врач не поможет, куда мне... В клинических условиях не сладят...

Появился Дудырев, встал за спиной Митягина, бережно держа в руках тряпку, с которой капала вода. Его пухлую грудь и плечи жалили комары, он передергивался и ежился.

— Пульс есть ли? — спросил он.

Митягин, выпустив тряпки, поспешно ухватился за руку парня, стал щупать запястье.

— Ах, господи, господи! Не учую никак — пальцы-то дрожат...

— К сердцу прильни, — посоветовал Семен.

Так же чушино, как хватался ощупывать пульс, Митягин сдернул с лысины картуз, прижался ухом к груди.

— Эх, ополоумел! — Семен с досадой оттолкнул его. — Сквозь пиджак слушает.

Он грубо разорвал руками мокрую одежду, обнажил грудь парня.

— Теперь слушай...

Яйцевидная лысая голова долго пристраивалась, замерла... Замер сгорбившийся над Митягиным Семен Тетерин, замер продолжавший бережно держать в руках мокрую тряпку Дудырев. Снова беспокойно заелозила митягинская лысина. Семен и Дудырев не дыша ждали.

— Не прослушивается,— слабо произнес Митягин, подымая голову.

— Пу-кося! — Семен отстранил Митягина, тоже припал к груди, долго слушал, молча поднялся.

— Пу?..— с надеждой спросил Дудырев.

— Не чуть вроде — ни сердце, ни дыхания.

— Сонная артерия... Пока в воде был да пока вытаскивали, сколько крови вышло,— бормотал Митягин.

— Может, искусственное дыхание сделать? — предположил Дудырев.— Вдруг да...

Он присел, взялся за раскинутые руки парня. Но когда он коснулся этих рук, то почувствовал — холодны, едва ли не холоднее той мокрой тряпки, которую только что держал в ладонях. Дудырев выпустил руки, помедлил с минуту, вглядываясь в бледное, какое-то стертое в сумерках лицо парня, с натугой встал, передернул зябко плечами, с усилием нагнувшись, поднял с земли свой пиджак и рубахи, стал молча одеваться.

А утро послушно, по привычке наступало. Блеклые звезды глядели утомленно и неверно. Над рваной кромкой хвойных вершин расплывался свет, пока еще мутный, какой-то мыльный — не заря, лишь далекий предвестник бодрой зари. И еще довольно темно — не разглядишь росу на кустах, хотя и чувствуешь тяжесть мокрой листвы. И не проснулись еще птицы... Утро? Нет, умирание обессиленной, состарившейся ночи.

В сумеречном пугливом освещении лежал на траве парень в черном костюме с растерзанной на груди рубашкой. Он казался плоским, раздавленным, только носки саног торчали вверх. Бросалось в глаза: одна штанина заправлена в голенище, другая выбилась.

Опустив головы, стояли охотники. Их усталые, небритые лица с ввалившимися щеками были бледны той бесплотной бледностью, какая обычно бывает при брезжущем свете. Мокро лоснилась удлиненная лысина Митягина. Дудырев нахмурился, глаз не видно, под выпирающим лбом — темные провалы. Семен Тетерин сгорбатился, словно не в силах выдержать тяжести безвольно опущенных широких рук.

Семен первым пошевелился.

— Ну, дружочки мои, потешились, теперь похмелку принимай. Ты, Константин,— обратился он к Дудыреву,— скорым шагом давай в район. Что уж, докладывай без утайки кому нужно... А ты,— Семен направил тяжелый взгляд на Митягина,— крой в Пожневку. Сообщи бригадире Михайле о сыне... Мне придется здесь куковать. Бросить все, уйти — негоже.

Дудырев угрюмо кивнул головой, а Митягин сжался.

— Ты сам, Семен, сходи... Не могу...— попросил он угасшим голосом.— Не неволь, как же к человеку с эдаким...

Семен взял Митягина за плечо, сурово взгляделся в него.

— Иль чует кошка, чье мясо съела?

— Да ведь я не один стрелял...

— Двое стреляли. Один медведя свалил, другой — человека. И сдается мне: ты с ружьем-то похуже справляешься. Иди! — Семен легонько и властно подтолкнул Митягина.

Не подняв с земли ни ружья, ни картуза, поникнув лысой головой, фельдшер покорно направился в лес. Дудырев, хмуро кивнув на прощанье, подхватив двустволку и патронташ, двинулся в другую сторону.

От убитого медведя доносилось рычание. Калинка стояла на туше, шерсть на ее спине вздыбилась, налитые кровью глаза невидяще скользнули по Семену и опять уставились вниз. Маленькая, жиливатая, она со злобным остервенением рвала медвежий загривок, торжествовала над поверженным врагом, мертвому зверю мстила за смерть дочери.

— Кыш! Стерво! — угрюмо прогнал ее Семен.

Подойдя ближе, удивленно покачал головой.

— Одначе...

Медвежий загривок был искромсан в кровавое месиво.

В свое время зашевелились в кустах и засвистели птицы. В свое время заалела верхушка старой березы. Туман над рекой поднялся выше кустов... Солнце вывалилось из-за леса — свеженькое, ласково-теплое, услужливое ко всему живому. По траве протянулись росяные тени.

Клочок зеленой земли в положенное время привычно

изменялся, переживал свою маленькую историю, повторяющуюся каждое утро.

Станным, чуждым, враждебным этому живому радостному миру были два лежавших на земле трупа. Медведь уткнулся мордой в траву, выступая на пологом склоне бурым наростом, в его густой шерсти искрились на солнце росинки. Ранние мухи уже вились над ним. Парень распластался во влажной тени, косо повернув набок голову.

За лавой вкрадчиво закуковала кукушка, обещая кому-то долгую жизнь.

Медленно-медленно ползло вверх солнце. Семен не стал сушиться после ночного купания. Раздеваться, развешивать по кустам свои тряпки, беспокоиться о себе, когда рядом лежит убитый, когда обрушилось такое несчастье.

«Ку-ку, ку-ку, ку-ку!» — высчитывала бестолковая птица.

Семен Тетерин много видел, как умирают люди. Ему было всего шесть лет, когда его дядю Василия Тетерина, тоже лихого медвежатника, заломала медведица. Отец Семена убил ее, и это было нетрудно — медведица оказалась вся израненной. Погибнуть охотнику от зверя — смерть законная и даже почетная. Люди умирали от болезней, от старости, на фронте — каждый день убитые, но с такой обидной смертью Семен встретился впервые. Шел парень к зазнобе, кто знает, рассчитывал, верно, жениться, обзавестись семьей — и на вот, подвернулся. Не болел, не воевал, на медведей не ходил. В старину говорили: на роду написано. Пустое! Просто жизнь колена выкидывает.

Солнце поднялось, стало жестоко припекать. Кукушка или утомилась, или улетела на другое место. Семен ждал, что с часу на час приедет отец парня — Михайло. Рано его потревожил. До приезда следователя убитого нельзя увозить. А следователь так быстро не обернется. Пока-то Дудырев добежит до райцентра, пока сообщит, пока сборы, да разговоры, да путь сюда — к вечеру жди, не раньше. Михайле терпеть до вечера, смотреть на сына. Не подумавши поступил.

Семен поглядывал на подымающееся к полудню солнце и с тоской ждал, что со стороны Пожневки застучит телега.

Но случилось так, что первыми приехали из района. За рекой раздалось натужное гудение мотора, затем мотор заглох, и послышались громкие, деловитые голоса:

- Дальше не пролезем.
- Да тут рядом.
- Вылезайте, пешком дойдем.

По шаткой лаве один за другим стали перебираться люди: длинный узкоплечий, в наглухо застегнутом кителе, с портфелем под мышкой незнакомый Семену человек; за ним, сильно прихрамывая, ощупывая толстой палкой жерди, сам прокурор Тестов, без фуражки, с копной курчавых волос, смуглолицый и бровастый, в вышитой рубашке, смахивающий на заезжего горожанина, выбравшегося на природу ради отдыха; с чемоданчиком в руке молодая женщина в пестром платье; Дудырев, мятый и грязный, без ружья, без патронташа, но уже какой-то новый, словно подмененный, — держится свободно, неприступен; сзади всех парень в комбинезоне и покоробленных кирзовых сапогах — должно быть, шофер, что привез всех.

Дудырев подошел к Семену, бросил хмуровато:

— Вот, доставил.

— Быстро. Ума не приложу, как это обернулся...

— Дошел до Сучковки, позвонил по телефону на строительство, сказал, чтоб машину к прокуратуре подогнали, а потом сразу же связался с прокурором, попросил приехать и меня захватить заодно...

Семен кивнул головой. Он забыл, что Дудырев только в лесу, на охоте, простоват, не то что среди людей: снял трубку — и даже сам прокурор все дела бросил. Это не Митягин. Бригадир Михайло, видать, спозаранку убежал на поля или на покосы, а он его ждет до сих пор.

Прокурор, припадая на покалеченную на фронте ногу, энергично опираясь на палку, прошел прямо к убитому, с минуту постоял молча, вглядываясь острым, оценивающим взглядом, щелкнул портсигаром, закурил, живо обернулся к Семену на здоровой ноге.

— Как же это, а?

Семен развел руками.

— Надо же, подвернулся... Тут не только почью, а добро бы за целый день один человек пройдет. Не бойкое место.

— Ты-то опытный, должен бы сообразить.

— Сообразил. Да ведь в момент за руки не схватишь.

Крикнул им, а уж готово...

— Крикнул?.. — Смуглое, узкое, под густой курчавой шевелюрой лицо прокурора насторожилось, взгляд живых черных глаз обострился. — Что крикнул?

— Да как же, услышал гармошку и кричу: «Не стре-

ляй!» Да вгорячах-то, видать, они не сообразили сразу...

Подошел высокий с портфелем, подался вперед, вслушиваясь. Прокурор значительно переглянулся с ним, повернулся к Дудыреву:

— Он действительно кричал это?

— Припоминаю — что-то кричал, — ответил Дудырев.

— Вы и гармошку слышали?

— Гармошки не слышал. А разве это важно для следствия?

— Важно, — сурово ответил прокурор. — Весь ход дела меняет. Если один мог предусмотреть, то ничего не мешало то же самое предусмотреть и другим. В нашем деле приходится быть педантами. Крик был, можно сесть в тюрьму. Иначе просто был бы несчастный случай, или, что называется на нашем языке, юридический казус.

Все вокруг него подавленно молчали.

Пока шел разговор, никем не замеченная подъехала подвода из Пожневки. Пятеро, приехавшие с машиной, Семен Тетерин да Митягин с Михайлой, прибывшие с подвой, — восемь человек. Для другого места не такая уж большая компания, но заброшенный лесной угол, должно быть, с самого сотворения мира не видел столько народу сразу.

11

Среди бела дня, при ярком солнечном свете начали обстоятельно, с самого начала, разыгрывать ту историю, которая произошла в сумерках, на рубеже ночи и утра.

Долговязый следователь по фамилии Дитятичев снял свой форменный китель, засучил рукава на волосатых тощих руках, принялся придирчиво расспрашивать Семена Тетерина и Дудырева, кто из охотников где стоял во время выстрелов.

— Так, вы здесь стояли... Здесь, значит, товарищ Дудырев... Ага, чуть в сторонке. Так, а третий... Этот третий здесь?

— Здесь, — робко выдвинулся вперед Митягин.

— Так. Припомните точней, где вы стояли... Здесь. Отлично!

Дитятичев занял место Митягина, сощурившись, слово сам целился из ружья, поглядел в сторону уткнувшегося в землю медведя. За медведем из кустов торчало сухое дерево с ободраным толстым стволом и вознесенными кривыми ветвями.

— Отлично!.. А этот зверь, не припомните, сразу упал или еще сделал несколько шагов вперед? Нам важно знать, где он стоял в то время, когда произошли выстрелы.

— Сразу вроде, — ответил Семен.

— Сразу. Так. Впрочем, мы еще установим — мгновенно у него наступила смерть или нет. Обратите внимание, — повернулся Дитятичев к прокурору, — этот товарищ... Как ваша фамилия?.. Ага, Митягин! Так вот, Митягин стоял чуть ниже Дудырева, да к тому же Дудырев выше его ростом...

Прокурор хмуро глядел поверх медведя в ствол старой березы.

— Это дерево прикрывает часть мостков, — сказал он скупо.

Следователь сразу же понимающе защелкал языком:

— Тэк, тэк, тэк!.. — Отступил в сторону Митягина, взгляделся. — А отсюда мешает меньше...

— Не торопитесь с выводами. Постарайтесь установить как можно точнее, с какого места упал парень в воду.

В это время подошла врачиха с листками бумаги, которые она заполняла возле убитого. Прокурор и следователь склонились возле нее. Врачиха, молодая, с миловидным, не тронутым загаром, очень белым лицом, сосредоточенно нахмутив золотившиеся пушком брови, принялась пояснять:

— Пуля прошла с левой стороны шеи сквозь мякоть. На вылете сделала рваную рану. Перебита сонная артерия. Шейные позвонки не задеты. Смерть наступила минут через пятнадцать, если не раньше. Приходится учитывать, что погибший упал в воду, захлебнулся...

— Ясно, ясно, — перебил прокурор. — Вытащили на берег уже мертвым. Обождите минуту, займитесь вместе с Дитятичевым медведем. Будем надеяться, что пуля, уложившая медведя, застряла в нем.

Следователь рысцой побежал к лаве. Прокурор встал на место, откуда стрелял Дудырев. Они стали переключаться.

— Я иду, Алексей Федорович! — кричал Дитятичев из-за кустов.

— Не вижу! — отвечал прокурор.

— А так?

— Не вижу!

— Я на самой середине перехода!

— Не вижу! Кусты закрывают вас целиком! По голо-

су чувствую, что вас как раз должен закрывать ствол дерева. Найдите какой-нибудь шест или ветку и поднимите вверх, чтоб я точно знал, где вы стоите.

Через минуту следователь поднял над кустами носовой платок, привязанный к палке. Прокурор встал там, откуда стрелял Дудырев, приказал:

— Сделайте два шага вперед.

Носовой платок продвинулся над кустами.

— Еще шаг!.. Еще!.. Стоп!.. Пострадавший мог пройти посредине лавы по крайней мере метра два под прикрытием дерева.

— Больше, Алексей Федорович! Три метра! — крикнул из-за кустов следователь.

— Проверим с другой точки.— Прокурор отошел к месту, с которого стрелял Митягин.

Снова медленно поплыл над кустами привязанный к палке платок.

— Вижу... Вижу... — бросал прокурор.

— Еще шага четыре — и лава кончится!

— Стоп!..

— Три шага до берега. Почти весь путь открыт!

— Не будем спешить с выводами. Просмотрите внимательно настил, не осталось ли где следов крови, — приказал прокурор.

Уже немолодой, долговязый Дитятинцев встал на четвереньки и пополз по шатким жердям, словно обнюхивая их, временами останавливался, изучал внимательно. Так он прополз от берега до берега, поднялся, деловито стряхнул грязь с колен.

— Следов нет.— Он подошел к Семену: — Вы с какого места бросились в воду?

— Вроде посередке. Как гармошку увидел, так и прыгнул.

— Где была гармошка?

— Да в воде.

— Понятно, что не в небе. В каком месте?

— Возле середины лавы, чуть поодаль.

— А где наткнулись на тело?

— Шага через четыре к этому берегу. Тут течения-то, считай, нет — бочаг. Как шагнул, чую — прислоняется...

— Добро. Все за то, что парень в момент выстрелов находился приблизительно на середине мостков, а не возле того или другого берега.

— Оставьте эти хитроумия. Займитесь медведем да пулю найдите. Она все объяснит, — предложил прокурор.

Обступили медведя. Врачиха присела возле морды, рой мух с жужжанием взлетел в воздух.

— Что это? — удивленно показала врачиха на медвежий загрохот.

— Это собака... — ответил Семен. — Покуда мы паренька из воды вытаскивали да покуда обхаживали его, она, проклятухая, лютовала на хозяина.

— Почему именно это место рвала?

— Кто ее знает. Так понравилось, видать.

Врачиха, хмурясь, осторожно стала ворочать белыми тонкими пальцами крупную, кудлатую, с грубыми и могучими формами башку зверя.

— Что за беда? Не вижу пулевого отверстия.

— Глядите, глядите. Медведь, судя по рассказам, упал замертво при выстрелах.

— Может, в области сердца. Попробуйте его перевернуть на спину, грудь осмотрю.

Общими усилиями — Семен, Дитятичев, Дудырев, шофер с машины — цепляясь за густую шерсть на боках, толкая друг друга плечами, перевернули тяжелую тушу.

Сосредоточенно нахмурившееся миловидное лицо врачихи склонилось над звериной грудью, маленькая рука медленно, вершок за вершком, ощупывала грудь, живот, бока.

— Есть! Ранена лапа! Но это же... не опасная рана. От такой бы он сразу не умер.

— Это я ковырнул. Первая... — торопливо пояснил Семен. — Еще на пожневских покосах, как нагнали, в него ударил. В голову целил, да, видать, в ту минуту лапой прикрылся. Оп с этой раной часа три бегал от нас.

— Не пойму, куда же девалась та рана, смертельная? — недоумевала врачиха, продолжая медленно шарить рукой по шерстистому туловищу.

— Может, сердце сдало? И такое, я слышал, у медведей бывает, — подсказал прокурор.

— Наверно, бывает, хотя и редко, — неохотно согласилась врачиха. — Не очень-то привлекательное занятие такой туше при таких условиях вскрытие делать с моими инструментами. Поищем еще.

— Ищите. И нам интересно знать, что от пули дядько погиб, а не от своей сердечной слабости. Обе пули мимо него прошли, тогда и вовсе не выпутаешься...

— Обождите, обождите! — Врачиха ухватила обеими руками за медвежью морду, с усилием раздвинула пасть. — Ну, так и есть! Как же я раньше-то не догадалась? Гляди-

те! Убит! Пуля попала прямо в раскрытую пасть. Видите, выбиты передние зубы, в том числе и клык. И кажется... пуля прошла ниже глотки...

— Ищете! Ищите пулю! — приказал прокурор.

Врачиха сокрушенно покачала головой.

— Такие могучие кости и сочленения, а я инструменты-то взяла...

— Ищите!

Следователь присел на корточки рядом с врачихой.

Медведь лежал на самом солнцепеке. Воздух застыл от зноя. От звериной туши несло крепким, острым запахом нечистоплотного лесного животного, к нему примешивался неприятно мутящий запах свернувшейся крови. Все отошли в сторону, уселись в тени, только следователь остался возле врачихи, помогал ей. Да вокруг ходил шофер, с любопытством и удивлением приглядывался к убитому зверю.

Прокурор, вытянув на траве пегнувшуюся ногу, задумчиво курил. Дудырев казался тоже спокойным, но его слишком неподвижное осунувшееся небритое лицо, устремленный вперед из-под тяжелого лба замороженный взгляд, жадные короткие затяжки паниросой выдавали взволнованность.

А в нескольких шагах от них сидели рядышком и молчали фельдшер Митягин и отец убитого — Михайло Лысков. Голова Митягина безвольно поникла на грудь. Михайло устало мигал, глядя куда-то мимо врача и следователя, возившихся у медвежьей туши. Это был тщедушный мужик с задубленным, изрезанным глубокими морщинами кротким лицом, один из тех, про кого обычно говорят — воды не замутит. Все время он держался в стороне, не плакал, не кричал, не приставал ни к кому с вопросами, и о нем как-то забыли.

Семен Тетерин, всегда уверенный в себе, всегда спокойный, на этот раз чувствовал в душе непонятный разлад. Его расстраивала возня около медведя, озлоблял парень — шофер с дудыревской машины. Ходит вокруг зверя, глядит не наглядится на диковинку. Рядом же убитый человек лежит, такой же парень, как и он. Неужели медведь интереснее? Посоветился бы для виду пялить глаза. Раздражали Семена и яркий солнечный свет, и запахи медведя, и долговязый следователь, и врачиха. Он постоянно ощущал присутствие Михайлы, боялся взглянуть в его сторону... Даже мальчишкой Семен не плакал. Мать, которой случалось задавать ему трепку, всегда жалова-

лась: «Не выбьешь слезу из прода». А тут надрывается душа, кипят слезы, вот-вот вырвутся — это при людях-то! Вот бы подивились: Семен-медвежатник, ну-ко, слезу пустил...

Наверно, всем было нелегко, даже прокурор, посторонний к событию человек, приехавший сюда по службе, произнес со вздохом:

— Вот ведь как получается: не угадаешь, где несчастье настигнет. Чистая случайность.

Дудырев, к которому он обратился, промолчал.

В это время следователь и врачаха поднялись возле медвежьей туши. Кряхтя, с усилием опираясь о палку и ствол дерева, встал прокурор.

— Ну как?..

Следователь развел длинными руками.

— Нет пули.

— Не проглотил же ее потапыч?

— Прошла навывлет. И собака-то рвала загрызок потому, что там было выходное отверстие. Где кровь, рвала.

— Вы уверены, что пуля вылетела?

— Врач уверен, а я не имею права ей не доверять.

— Поискать если кругом...— несмело предложил прокурор, но, взглянув на склон позади медведя, заросший травой и молодой порослью ольхи, па буйно поднимающиеся кусты по берегу речки, махнул рукой.— Бесполезно. Давайте закругляться — да домой...

Врачиха, стянув резиновые перчатки, собрав инструменты, направилась к реке мыть руки. Лицо у нее было потным и усталым.

12

Всех дома ждали дела. Всех, даже Митягина. На берегу лесной речонки остались только Семен и Михайло Лысков.

Лишь потоптанная трава да брошенные то там, то сям окурки напоминали о недавнем нашествии.

Изменилась еще поза медведя. Он теперь лежал на боку, чья-то рука прикрыла лапой раскромсанную морду. Над ней уже снова вились мухи.

Семен подошел к Михайле, выводившему из леса лошадь.

— Помочь тебе довести пария-то? На оврагах, поди, один не удержишь — завалишься.

— Ну, коль нетрудно...

Они уложили на сено убитого, поудобнее приладили все время косо сваливающуюся на один бок голову. Михайло разобрал вожжи, молча тронулись в лес.

Но, не проехав и двадцати шагов, Михайло выронил вожжи, шагнул в сторонку, опустился на землю.

— Чтой-то со мной делается... Ноги не держат.

Маленький, узкоплечий, крупноголовый, с раздавленными работой кистями рук, сложенными на коленях, под глазами набрякшие мешки, крупный, мясистый нос уныло висит... И от чужого горя, невысказанного, непоправимого, безропотного, у Семена Тетерина перехватило горло. Он вновь почувствовал странный разлад в душе. Тянуло уйти в сторонку, спрятаться в лесу и без свидетелей, ну, не плакать — где уж! — а просто забыться. Семен переминался возле Михайлы, с мученическим лицом, почтительно глядя в сторону.

Михайло глубоко и прерывисто вздохнул, вяло пошевелился, стал подыматься.

— Садись, что ли, наперед, — посоветовал Семен. — А вожжи мне дай.

— Ничего. Полегчало... Дойду.

Разбирая вожжи, Михайло негромко сообщил:

— Двух-то старших у меня в войну убило... Этот последний.

И они снова молча пошли. Михайло, придерживая вожжи, чуть впереди, Семен — отступя от него шагов на пять.

Покатые плечи, сквозь выгоревшую рубаху проступают острые лопатки, шея темная, забуревшая, походка расчетливо спорая, не размашистая, как у всех пожилых крестьян, которым еще пришлось-таки походить на веку за плугом. Семен шагал сзади, глядел в проступавшие сквозь рубаху лопатки...

Он опять вспомнил парня-шофера, разглядывавшего медведя. Медведь удивил, а беда Михайлы прошла мимо! Он даже и не заметил, ноги, Михайлу, тихо сидевшего в сторонке. Спокойненько потешал себя: мол, эка чудо-юдо зверь лежит!.. Да возмутись же, обидься за другого — живая душа мается! Такая же живая, как твоя собственная. Прими ее боль, как свою. Можешь помочь — помоги, не можешь — просто пойми человека. Понять — это, пожалуй, самое важное. Совсем от бед и напастей мир не спасешь — они были, они будут! Сколько бы умные люди ни раздумывали, как бы удачнее устроить жизнь на земле, как прибавить всем счастья, — все равно и при новом счастье, и при

удобно налаженной жизни дети будут оплакивать умерших родителей, красные девки лить слезы, что суженому поправилась другая, все равно станут случаться такие вот неленицы с нежданной смертью или увечьем. Худо в беде быть едину! Ежели мир напроочь забудет эти слова, то какие-то несчастья проще обойти, а неминуемые — вынести.

Семен не смог бы складно высказать свои мысли, он только чувствовал: что-то значительное, слишком сложное, чтоб объяснить словами, тяжело засело сейчас в нем.

До Пожневки добрались без особых хлопот. Бригадир Михайло Лысков жил на другом конце, пришлось ехать через всю деревню.

Выходил народ. Детишки, женщины, старухи медленно, с угрюмым молчанием двинулись к избе бригадира вслед за подводой.

С крыльца сбегала жена Михайлы, жидкие волосы растрепаны, ворот кофты распахнут на тощей груди. С силой расталкивая людей, она прорвалась к подводе, прижалась к сыну и заголосила:

— Золотко ненаглядное! Головушка горемышная! Покинул ты меня, сирую да убогую! Мне б лучше вместо тебя помереть такой смерти-и-ю!..

Ее плач подхватили другие бабы. Среди собравшихся поднялся ропот.

— Охотнички!

— Помогли, нечего сказать!

— Душегубы проклятые!

Стряслось несчастье, и люди не находили ничего лучшего, как искать виновников, попрекать их.

Семен Тетерин стоял опустив голову.

13

Михайло, не в пример всем, не считал Семена виновным, он заставил его взять лошадь...

— Не на себе же зверя потащишь. Чего уж... Пам со старухой легче не будет, коль этот медведь пропадет зазря...

Доброта, как и озлобление, бывает заразительной. Сразу же смолкли недружелюбные выкрики, двое парней вызвались помочь Семену.

Всю обратную дорогу Семен жаловался ребятам. Толкнуло же его связаться с Митягиным, ружья, должно, не держал в руках, хвалился, мол, баловался... Думалось,

трудно ли уберечь непутевого от зверя, ан вон как обернулось — от него самого нужно беречься, близко к такой забаве не подпускать... Проще всего успокоить себя — это указать пальцем на другого: не я, а он виноват. И Семен жаловался, охалвал Митягица, проникался к нему обидой. Оба парня из Пожневки сочувственно его слушали, охотно соглашались.

Обычно Семен привозил в село добычу торжественно. Стар и мал выскакивали навстречу, помогали стащить убитого зверя с телеги, рассматривали его, трогали, охали, дивились. На этот раз подъехали к дому глухой ночью, свалили тушу в сарай. Ребята простились, забрались в телегу. А Семен, разбудив старуху, наскоро перекусил — больше суток маковой росинки не было во рту, — завалился на койку и заснул мертвым сном.

Встал утром по привычке рано. Едва ополоснув лицо, направился к сараю, где лежал убитый зверь. У дверей сарая уже дежурила Калинка, при виде хозяина вскочила, скупо махнула хвостом.

Голова зверя была искромсана врачихой, с нее свисали клочья кожи, сквозь мясо торчали кости. Семен решил для начала отнять голову, разрубить на куски, выбросить Калинке, которая привычно сидела в распахнутых воротах, не скуля, терпеливо ожидая своей доли.

Работая ножом, Семен почувствовал, что верхний позвонок, который соединяет шею с черепом, перебит. Он ковырнул ножом, и на разостланную мешковину, прямо под колени, выпал какой-то темный кусочек, смахивающий на речную гальку. Семен поднял его. Он был не по размерам увесист. Пуля! Та самая, что искала врачиха! Сплюснутый свинцовый слиток, какие Семен сам обкапывал и вбивал в патроны.

Отложив нож, зажав пулю в ладони, Семен поднялся, отогнал Калинку, прикрыл ворота и зашагал к дому.

У крыльца его перехватила Настасья — жена Митягина. Худая, с плоской грудью, с остановившимися сердитыми глазами, с горбатым, угрожающе направленным вперед носом — не даром же по селу прозвали ее «Сова», — она стала на пути, уперла толстые кулаки в поясицу.

— Вы чего это — компанней нашкодили, а на одного всю вину сваливаете? — начала она своим резким голосом, чуть не подымающимся до надсадного крика.

— Ну полно! — Семен, сжимая в кулаке пулю, хотел пройти мимо.

Но фельдшерица непустила его.

— Прячешь глаза-то! Совестно. А ты видишь их?..— Она тряхнула подолом, за который цеплялись два меньших из митягинских детишек: круглые чумазные рожицы, выпученные светлые глазенки — истинные совята.— Отца отнять хотите! Шуточное дело — человека убили. Испугались, что холодком пахнуло, давай, мол, сунем в зубы овцу попроще, авось пас не тронут. А он-то сразу раскис, хоть ложкой собирай. Пользуетесь, что безответный. А я не спущу! Не-ет, не спущу-у!..— Настасья заголосила.

Ребятишки, привыкшие к крику матери, продолжали плятить из-за юбки глаза на Семена. А Семен, хорошо знавший, что более взбалмошной бабы, чем Настя Сова, по селу нет, переступал с ноги на ногу, глядел диковато, исподлобья, изредка ронял:

— Ну чего взбеленилась? Эко!

— Я все знаю! Ты-то небось в сторонке останешься: мол, не стрелял. А другой высоко сидит — рукой не достанешь. Кому быть в ответе, как не моему дураку!..

— Ну, чего ты...

Голос Настасьи неожиданно сорвался, она уткнулась носом в конец платка и заплакала:

— Совести у вас нету... Пятеро же на его шее сидят. Нам, выходит, теперь одно остается — в чужие окна стучись... И за что я наказана? Надо же было выйти за непутного, всю жизнь из-за него маюсь...

От слез Пасти, от отчаяния, зазвучавшего в ее голосе, а больше всего от бездумно вытаращенных ребячьих глаз Семен ощутил одуряющий разлад в душе, точно такой, какой он испытывал, когда врачаха ковырялась в медведе.

— Брось хныкать! Никто и не мыслит твоего Василия топить,— сказал он и, отстранив плечом, прошел мимо.

Возле печи Семен отыскал две чугунные сковороды — одну большую, другую поменьше. Прихватив их, он закрылся в боковушке, где висели у него ружья, где обычно готовил себе охотничьи припасы. Бросив сплюсненную пулю на большую сковороду, он принялся ее раскатывать, придавливая сверху маленькой сковородкой.

Семен катал неровный кусок свинца, а сам думал, что сейчас каждое его движение ведет Митягина к беде. Прокурор давеча сказал — дело плохо, кто-то должен сесть в тюрьму. И ежели он, Семен, положит на стол пулю, скажет, что вынул ее из медведя,— Митягину не отвертеться.

Вчера, шагая за подводой следом за Михайлом, Семен испытывал что-то большое и доброе. Худо человеку в беде быть единому! Беда нависла над Митягиным. Слепая беда,

негаданная, прямых виновников в ней нет. Настя останется бобылкой, дети — сиротами... После неласковой встречи в Пожневке, после выкриков: «Охотнички! Душегубы проклятые!» — Семен и не вспомнил, что Митягину худо, даже оханвал его, пальцем указывал, свою совесть спасал. Сейчас пулю раскатывает, словно эта пуля добру послужит... Жаль Митягина...

И все-таки Семен продолжал раскатывать. Кусочек свинца становился круглее, глаже, уже не стучал под сковородкой.

Старую «переломку», которую Семен дал Митягину, забрал с собой следователь. Но двустволка Семена и двустволка Дудырева имели один калибр, можно пулю проверить и на своем ружье. Семен снял со стены двустволку, поднес пулю к дульному отверстию и... тут случилось неожиданное. Пуля не вошла в ствол. Семен не поверил своим глазам, приложил еще раз — нет, не подходит! Пуля, уложившая медведя, вылетела из ружья Митягина, имевшего двенадцатый калибр.

Семен опустил на лавку, поставил между колен ружье, разглядывал пулю на ладони. Убил нарня, выходит, Дудырев. По и Дудыреву Семен не хочет зла. Спрятать? Выбросить? Пельзя, на Митягина обрушатся, а Дудырев за себя постоять сумеет. Надо пойти к нему, показать пулю, рассказать все. Лучшего советчика не придумаешь. По-доброму решить...

Семен положил пулю в карман.

Через десять минут он уже шагал по шоссе, ведущему к Дымковскому строительству.

14

Строительство не смело с лица земли деревню Дымки. Она продолжала стоять на прежнем месте — два ровных ряда бревенчатых изб, тесно прижатых к берегу реки. Прежде не бросались в глаза их ветхость и убожество — избы как избы, потемневшие, исхлестанные дождями, с честью прошедшие через время. А сейчас, когда за их спицами выросли сборные дома с широкими окнами, выкрашенные, как один, в игривый, легкомысленный салатный цвет, когда позади осевших поветей, мшистых крыш, выпустивших из-под себя рогатых, полусгнивших «куриц», теперь стало видно, какие все избы корявые, подслеповатые, вбитые в землю — рахитичное обветшалое племя! Его

не уничтожили, ему милостиво разрешили сгнуться самому.

У крайней избы стоял трактор, не обычный деревенский, колхозный, а бульдозер, с угрозой приподнявший над утоптанной завалинкой тяжелый, в засохших комьях грязи стальной щит. На завалинке же грелась, повернув к солнцу сжатое в темный кулачок крохотное личико, знакомая Семену старуха, по прозвищу Коза. Ей было лет девяносто, если не больше,— во всяком случае, Семен молодой ее не помнил. Всю свою жизнь бабка Коза прожила в Дымках, вставала с петухами, ложилась с курами, самый большой шум, какой она слушала до недавнего времени, был шум весеннего ледохода, когда река хрустит и стонет. Теперь же из-за крыши несется непрерывный гул, грохот, крики вразнобой, а тяжелый бульдозер нагло уставился на избу с завалинкой.

Из избы вышел парень в рубаше с засученными рукавами, с пиджаком, перекинутым через плечо. Дожевывая на ходу, он направился к бульдозеру. Кажется, один из внуков бабки Козы. Заметил Семена, остановился, продолжая жевать, поздоровался.

— Не по делу ли какому, Семен Иванович? — Парень, как и все местные, знал в лицо известного медвежатника.

— Да вот к вам на строительство. Как тут у вас к конторе добраться?

— К какой конторе? Контор много, у каждого участка своя. Тебе какую?

— А лях его знает! Я в ваших местах как баран в кустах. Мне бы Дудырева самого.

Парень присвистнул:

— Дудырева!.. Так бы и спрашивал. Не контору ищи, а управление. Садись, до котлована доведу, там покажут.

Семен пеловко вскарабкался в кабину. Парень деловито сел за рычаги, мотор оглушительно взревел, на минуту Семену стало жутковато: вдруг да эта рычащая зверина рванется вперед, сомнет избу вместе с пригревшейся на завалинке бабкой Козой? Но трактор, как солдат на учении, лихо повернулся на одном месте и, потрясая перед собой тяжелым ножом, покатился вдоль деревенской улицы, распуская кур.

— Съест Дымки строительство! — прокричал Семен.

— Съест,— охотно кивнул головой парень.

— И не жалко? Место родное, пригретое!..

Парень презрительно махнул рукой, потом, пригнувшись к Семену, ответил:

— Уже квартиру получу в новом доме, я по своей избе вот на этой прокачусь! — Хохотнул весело: — Всех тараканов подавлю!

— Дождись, дура, пусть хоть бабка в своем углу померет! — сказал Семен в сердцах.

Он понимал старуху. Стройка нарушала и его покой, врожденный душевный покой человека, привыкшего к лесу, к одиночеству, к тишине. И впервые в жизни вместе со страхом перед завтрашним днем Семен почувствовал себя очень старым, чуть ли не ровесником бабке Козе.

С бульдозера он слез у котлована, в самом центре строительства. Самосвалы шли мимо него, обдавали едким угаром и где-то неподалеку медлительно сваливали целые горы песку. Один за другим, один за другим, все без отлички тупорылые, грозно рычащие, обремененные тяжким грузом, нет им конца и краю. Что таким болота, что для них леса и реки — без пощады засыплют начисто. А в углу котлована ворочается, страдая от тесноты, от собственной неуклюжести, чудище с железной суставчатой рукой. Ворочающаяся зверица запускает ее в землю. Тупорылые самосвалы толпятся к ней в очередь. Земля, словно вода, течет с одного места на другое, диковинные машины выворачивают наизнанку привычный мир. Что там сказки, испокон веков населявшие лес лешими, ведьмами, болотными кикиморами, что все эти кикиморы по сравнению с такими вот коленогами чудовищами!

— Эй, деревня! Чего рот раскрыл? — раздался выкрик.

Семен отскочил в сторону. Грузовик с прицепом, везущий бетонные балки, прощел мимо, обдав вопиющим чадом. Со стороны скалил белые зубы парнишка-подросток в грязной майке, в промасленной кепке, в больших брезентовых рукавицах. Он тащил конец стального троса.

— Милый, — несмело обратился к нему Семен, — как пройти в управление, к Дудыреву?

— Топай прямо да ворон не считай. Толкнут непароком...

Семен направился по обочине дороги, оглядываясь во все стороны. А мимо шли и шли рычащие машины, то тащившие на себя трубы, в которые мог бы пролезть добрый пестун, то какие-то катушки, каждая высотой в человеческий рост, то подъемные краны, то плещущий через борта густой, как серая сметана, цемент. Как идти? Куда? Он, старый медвежатник, знавший как свои пять пальцев самые далекие лесные углы, умевший найти дорогу из глу-

лих согр, запутался, растерялся, и где — возле самой деревни. Прежде здесь был кочковатый выгон, росли кусты можжевельника и реденькие березки вперемешку с осинками, тянулись кривые тропинки к опушке леса. Да полно, было ли все это? Не верится...

И Семен представил себя — в рыжем пиджачке, надетом поверх косоворотки, в кепчонке, натянутой на лоб, маленький, беспомощный, лишний... Сколько машин, сколько людей, светопреставление, и всему голова — Дудырев. Тот человек, который с почтением беседовал с ним в лесу, кого он, Семен Тетерин, в сердцах обругал за нерасторопность. Сейчас, оглушенный, Семен идет к нему, сжимает в кулаке свинцовую пулю. Не для веселого разговора идет...

В эти минуты Семену на память пришла Калинка, с трусливой оглядкой пробирающаяся по шатким жердям лавы. Тогда еще Семен удивлялся — чего боится, дурь нашла на собаку. Тенерь-то он ее понимал...

Он упрямо шагал вперед, а Калинка, с тоскливой оглядкой стоящая посреди лавы, не выходила у него из головы.

15

Дудырев вышел навстречу из-за стола, протянул руку Семену, подвел к дивану.

— Садись. — И, заглядывая в лицо из-под тяжелого лба зажавшими глазами, спросил: — Ну?..

Он был в легкой трикотажной рубашке, плотно обтягивавшей его выпуклую грудь и сильные плечи, по-прежнему простоватый, не совсем подходящий к широкой, с огромным окном комнате, уставленной стульями, мягкими креслами, диваном, двумя столами: одним под красным сукном, другим — под зеленым. Даже не верилось, что этот знакомый, не очень изменившийся после леса Дудырев заворачивает таким диковинным миром, который оглушил Семена и размахом и бесноватостью.

— Что-нибудь неприятное?

Семен со вздохом запустил руку в карман, вынул пулю, протянул Дудыреву.

— Вот...

Дудырев с недоумением покатал пулю на ладони.

— Из медведя вынул, — сообщил Семен. — Эти-то с врачихой не доискались.

— Из медведя?..

Дудырев не глядел на охотника, насунив брови, продолжал разглядывать свинцовый катышек на своей ладони.

— Под самым черепом застряла...

За окном, сотрясая стекла, проходили тяжелые грузовики. Семен, широко расставив колени, опираясь на них руками, сидел раскорячкой на самом краешке дивана и, затаив дыхание, вглядывался в сосредоточенное лицо Дудырева.

Зазвонил телефон, Дудырев, стряхнув задумчивость, зажав в кулаке пулю, прошел к столу, снял трубку, спокойным и внушительным голосом принялся разговаривать с кем-то.

— Да, помню... Да, заходите, только не сейчас, а позднее. Да, догадываюсь — опять разговор о капитальном строительстве. Не мог жертвовать миллионы рублей... Заходите попозднее, сейчас занят...

Он положил трубку, вернулся к Семену, раскрыл ладонь.

— Чья?

— К твоему стволу не подойдет, Константин Сергеевич, — твердо ответил Семен.

— Ты примерял?

— Примерял. Митягин уложил зверя...

Наступило молчание. Сотрясая стекла, шли под окном машины. Дудырев задумчиво катал на ладони пулю.

— Константин Сергеевич, — снова заговорил Семен, — надо бы все как-то по-людски решить. Вина одинакова, что у Митягина, что у тебя. Дурной случай, каждый может сплеховать. Я потому и пришел к тебе, чтоб мозгами пораскинуть.

И опять Дудырев ничего не ответил, глядел в ладонь. Семен, оцепенев, ждал его ответа.

— Возьми, — наконец протянул Дудырев пулю.

Семен покорно принял ее обратно.

— Ты от меня ответа ждешь? — спросил Дудырев.

— Для того и пришел. Где мне своей головой решить?

— А ты на минуту встань на мое место. Представь, что тебе приносят пулю и говорят: вот доказательство, что ты убил человека. Ты убийца!.. Ты бы с готовностью согласился?

— Так, выходит, пусть Митягин отвечает? А ведь с ним-то церемониться не будут. Прокурор говорил — кого-то по закону посадить должны.

— Перед законом как я, так и Митягин одинаковы.

— Перед законом, а не перед людьми. Не равняй себя с Митягиным, Константин Сергеевич. Люди-то, которые возле законов сидят, на тебя с почтением смотрят.

— Значит, ты мне предлагаешь прикрыть собой Митягина?

— Ничего не предлагаю. Вот принес пулю, которая медведя свалила. Эта пуля митягинская. Выходит, твоя пуля парня прикончила. Вот что я знаю. А там уж ты решишь по совести, как быть. Ты поумней меня.

Дудырев поднялся. Семен заметил, что у него на виске напряженно бьется жилка.

— Сообщи о том, что нашел пулю, следователю,— сухо сказал Дудырев.— А я сам ни себе, ни Митягину помочь не могу.

Семен вышел от Дудырева. Мимо него шли грузовики с прицепами. На обочине котлована ползали скреперы, разравнивали кучи песка. Экскаватор заносил свой ковш над самосвалами. Пуля жгла ладонь Семена. Маленький кусочек свинца, хранящий в себе тайну. Если эта тайна не будет раскрыта, суд может приговорить Митягина к заключению. Несправедливо же!.. Раз Дудырев не может помочь, что ж... Хочешь не хочешь, а надо идти к следователю. Дудыреву придется самому за себя постоять.

16

Следователь Дитятчев, склонив набок ушастую голову, с минуту внимательно вертел в руках пулю, положил на стол.

— Вы ее такой кругленькой из медведя вынули?

— Помята была, раскатал, чтобы узнать, из чьего ружья.

— Раскатали и нам преподнесли...— И вдруг остро взглянул Семену в самые зрачки, спросил:— Вы давно соседи с Митягиным?

— Соседями-то?.. Да, считай, лет десять добрых, ежели не больше. Третий год шел после войны, как он к нам переехал.

— Так... А по какой причине вы взяли его на охоту?

— Какая-токая причина? Давно он просил меня взять.

— И вы не отказали?

— Много раз отказывал, а тут целовко стало — просит человек.

— Так... А вы не вздорили с Митягиным, не ругались?

— Упаси бог,— испугался Семен, не зная, куда гнет
следователь.— Бабы ежели когда схватятся, а мы нет —
дружно жили.

— Так... Вы не отрицаете, что жили дружно?

— Чего отрицать, коли так было.

— Так...— Следователь кивнул на покойно лежавший
на закапанном чернилами сукне кусочек свинца.— Сосе-
ди, десять лет жили дружно, а вы не подумали о том, что
у нас создается впечатление, что эту пульку вы отлили
ради десятилетней дружбы с Митягиным? Первое, что при-
дет нам в голову,— вы собираетесь спасти виновного друж-
ка и утопить Дудырева...

Семен оторопело уставился на следователя.

— Вы понимаете, чем это пахнет? — продолжал тот
спокойно.— Ложное показание с целью ввести в заблуж-
дение правосудие. Вы, должно быть, не знаете, что за та-
кое дело привлекают к уголовной ответственности. Пуль-
ка... Наивный вы человек, подобная фальшивая пулька
расценивается как своего рода преступление.

— Слушай, добрая душа,— Семен сердито заворочал-
ся на стуле,— я в ваших делах небоек. А только пулька
эта не фальшивая, хоть голову руби! Своими руками ут-
ром из медведя вынул. Сплоховали вы с врачихой, не уг-
лядели ее.

— Вы можете настаивать на этом. Можете! Но при-
киньте: кто вам поверит? Не посторонний человек, а врач-
профессионал ищет пулю в голове медведя. Имейте в виду,
ищет старательно, я тому свидетель. Ищет, но не находит,
об этом составляет форменный акт, пи на минуту не колеб-
лясь, подписывает его. Не просто словом, а письменно от-
вечает за то, что пули не существовало. И вдруг вы при-
носите и кладете нам на стол эту пулю. Пуля ваша обка-
тапа, она не имеет никакой деформации, то есть не сплю-
щена, не сдавлена, по ее форме никак теперь не опреде-
лишь, что вынута она из разбитого медвежьего позвонка, а
не из охотничьего загашничка. Ответьте: почему вы не
принесли пулю такой, какой вынули?

— Примерить же хотел.

— Примерить! Не терпелось! Дитя любопытное! У ре-
бенка, пожалуй, хватило бы соображения — нельзя уни-
чтожать такую важную для следствия улику...

Семен, насупившись, молчал. Когда он раскатывал
пулю, то думал о Митягине, хотел убедиться, на самом ли
деле убил фельдшер. Следователь в те минуты был для

Семена далеким, посторонним. Даже когда открыл — убил не Митягин, подумал опять же не о следователе, а о Дудыреве, хотел не подымать шума, уладить полюбовно. Могло ли прийти в голову, что начнут придирааться — обкатали пулю, уничтожил улику. Эх, знать, где упасть, подстелил бы соломки.

— Слушайте дальше, — продолжал следователь. — Вы откровенно признаетесь, что жили с Митягиным бок о бок лет десять, что за эти десять лет у вас с ним не было никакой ссоры, ни единой размолвки. Этим самым вы признаетесь, что вас связывает с Митягиным десятилетняя дружба, тогда как с Дудыревым вы познакомились всего несколько дней назад. Все за то, что вы любой ценой хотите спасти дружка, хотя бы для этого пришлось свалить вину на Дудырева. Вот как выглядит! Настаивайте теперь на своем, но вряд ли вам кто поверит — все данные против вас.

Следователь молчал, угрюмо молчал и Семен Тетерин.

— Вы-то как доказываете, что Митягин виноват? У вас самих, поди, карманы-то не особо набиты доказательствами.

— Этим-то вы и хотели воспользоваться, — спокойно ответил следователь. — Да, прямых улик против Митягина у нас нет, но есть косвенные...

— Прямых нет — значит, кривые подходят. Хороши, нечего сказать.

— Не правится вам наше поведение, обижены, что не соглашаемся выгораживать вашего дружка. Но разрешите спросить: вы знали, что Митягин в жизни не держал в руках ружья?

— Говорил, что баловался в молодости, а там, кто знает, я не видел.

— А он здесь час тому назад сам признался, что никогда не был охотником. Тогда как Дудырев охотится уже много лет.

— Мало ли что, и на старуху иной раз находит проруха.

— Согласен. Может случиться всякое, мог и Дудырев промахнуться. Однако можем мы не принимать в расчет тот факт, что Митягин неумелый стрелок, неопытный, а Дудырев опытный?

— Наверно, все должны в расчет брать. Все! Потому и пулю не след обходить стороной.

— Вы же видели, как мы искали эту пулю. Искали и не нашли, вдруг вы приносите, без особых доказательств требуете, чтобы мы верили... Но слушайте дальше. Вы при-

существовали, когда мы воли расследование на месте убийства. Вы сами показывали, где стоял Дудырев, где Митягин. Так вот, Митягин стоял на более покатом месте, чуть сбоку, ростом он к тому же ниже Дудырева, попасть в медведя ему было труднее. И это не все. С того места, откуда стрелял Дудырев, большая часть мостков — а именно середина — была прикрыта старым деревом. С места Митягина почти все мостки через реку открыты. Сами же вы показали, что парень упал в воду примерно с середины лавы. Промахнись Дудырев по медведю, он бы всадил свою пулю в ствол дерева. Десять шансов за то, что пуля Митягина прошла мимо цели н...

— И все же в медведе оказалась. Складно вы рассказываете, а на деле-то вышло иначе.

Следователь сбоку, как петух на рассыпанное просо, взглянул на Семена.

— Я бы советовал вам не вести себя с излишней развязностью. Вы и так во всей этой истории выглядите не очень красиво. Как знать, не придется ли нам и против вас возбудить дело.

— Эко! Уж не я ли, на проверку, убил парня? Ловки, вижу, можете повернуть, куда любо.

— За что намереваемся судить? За убийство с расчетом, за убийство преднамеренное? Нет. Судим за убийство по неосмотрительности. Если шофер по неосмотрительности собьет прохожего, нанесет ему тяжелое увечье или даже убьет его, то этого шофера, как известно, судят и наказывают. Тут точно такая же неосмотрительность со стороны того, кто пустил пулю мимо медведя. А если разобратся добросовестно, то вы... да, да, вы более повинны в неосмотрительности, чем Митягин.

— Эко!

— Вот вам и «эко». Разве осмотрительно взять на медвежью охоту человека, не державшего ружья в руках? Виноват он, что напросился, что пошел, по вы, опытный охотник, хорошо знающий все опасности, все неприятности, какие могут произойти с людьми, не привыкшими к обращению с огнестрельным оружием, вы виноваты, пожалуй, больше. Если мы судим неосмотрительных шоферов, судим неосмотрительных растратчиков, неосмотрительных руководителей, то мы не можем проходить мимо и неосмотрительных охотников. Помните, что вы сами не безвинны!

Следователь встал, узкий, прямой, высокий, на поголовы выше сутуловато поднявшегося Семена Тетерина. Отчеканивая слова, Дитятчев закончил:

— Сегодня я вас не вызывал. Разговор наш, так сказать, случайный. На днях вы ко мне придете по вызову, как свидетель. Мы еще вспомним эту беседу. До свидания.

Семен молча глядел на следователя: длинная сухая шея, бледное пористое лицо кабинетного человека, большие уши, мягкий, старушечий рот. С минуту назад Семен смотрел на него просто, как на самого обычного человека, только образованного и более умного, чем он сам. Теперь же он видел в нем что-то особое, какую-то силу, способную обвинять. И глаза следователя, серые, неприметные, с помятыми веками, казалось, заглядывают сейчас внутрь, ищут в тебе порочное. Семен не в силах был выдержать его взгляд, опустил голову, повернулся.

— Вы что же, оставляете мне это? — окликнул его следователь. Он указывал на пулю, лежавшую на столе. Семен покорно вернулся, взял пулю, опустил в карман.

Согнувшись, он зашагал прочь от прокуратуры, где сидел пугающий его человек. Возле поворота он невольно оглянулся и увидел, что к крыльцу прокуратуры подъехала машина, из нее вылез Дудырев.

И Семен Тетерин впервые испытал бессильную ненависть и к Дудыреву и к следователю: «Они-то споются... Они-то отыграются! И на ком?.. Эх!»

17

Дудырев любил застывшие, казалось, наполненные не водой, а тяжелым жидким металлом озера на рассвете, когда чуткие камыши сняты, когда запутавшийся в них туман вязок и недвижим. Он любил острое, тревожное, никогда не притупляющееся чувство — дичь близко, она где-то рядом, любил идти на лыжах по синей строчке лисьих следов на мерцающем, словно смеющемся снеге. Дудырев любил охоту.

Но в любой охоте был для него один всегда неприятный момент. После того как долгожданная дичь, на выслеживание которой уходили все силы, расходовалась вся душевная страсть, появлялась — птицы ли с шумом взлетали в подкрашенное зарей небо, или среди холодных сугробов мелькало горячее нятно лисьей шубы, — после вскинутого к плечу ружья, после возвышенного мгновения, когда разум отсутствует, а действует инстинкт, после выстрела и торжества — видеть кровь, брать руками противно теплую тушку, хряпющую остатки жизни, той

жизни, что оборвана твоим выстрелом... Среди наслаждения — жестокость, среди поэзии — грубая проза! Нужно только перетерпеть, не заметить, не придать значения, а потом снова — уснувшие камыши, следы на снегу, ствол, настигающий взмывающую птицу, торжество победы... Дудырев любил охоту.

Но последняя охота оставила убийственно тягостные воспоминания. Смерть собаки, которую пришлось Дудыреву добить, ее страдальчески мерцающий в темноте глаз, страх в овраге и уничтожающий стыд, ожесточение после болота, злобное, личное ожесточение против зверя, познание лишь в том, что отчаянно спасал свою жизнь, — и ради чего все это, каков конец? Грязный свет умирающей ночи, распластанное на земле тело в черном костюме... Вот он, конец погони, сквозь чащи, кусты, зыбкую топь болота. Вот он, финиш! Смерть зверя перемешалась со смертью человека! И то и другое выглядит чудовищным, страшно оглянуться назад — противен сам себе, нет оправдания!

Дудырев не верил, что именно его выстрел, миновав медведя, уложил человека. Без того тяжело, а тут еще считать себя убийцей. Только не это! Скорей всего спланировал Митягин. «Он, а не я!» И все же не мог отделаться от странного чувства, похожего на то, какое приходилось испытывать в глубоком детстве. У них дома, в темном коридоре, стоял большой шкаф, и всякий раз, когда Костя Дудырев проходил мимо него, казалось, что за ним, притаившись, ждет кто-то неведомый, неизвестное существо, не имеющее ни лица, ни тела. Ждет, чтоб напасть. Знал, что нет его, не существует, а все-таки боялся.

И сейчас Дудырев испытывал страх перед чем-то неведомым, притаившимся впереди. Однако этот страх не заглушал острой вины. Прокурор и следователь во время обратного пути пробовали участливо разговаривать с ним: мол, со всяким может случиться подобная история. Они словно не замечали забившегося в угол машины Митягина. Его-то они не утешали...

Он, Дудырев, не только выдающаяся личность в районе, он еще пужный человек, чудотворец, создающий дороги, налаживающий автобусное движение, поднимающий жизнь из сонного застоя. А Митягин?.. Как его легко обвинить!

Нет, Дудырев не станет выгораживать себя. Что бы ни случилось, какими бы неприятностями ни угрожало ему будущее, он будет держаться беспристрастно, чест-

по признает за собой часть вины. Часть! Равную с Митягиным долю! Гнусно прикрываться собственным всеси-
лшем. Превыше всего — уважение к человеческому досто-
инству!

И все эти высокие мысли вылетели из головы, когда
явился Семен Тетерин, положил перед ним на стол пулю.
Охотник еще не произнес ни слова, но Дудырев уже по-
чувствовал панический ужас. Вот оно, то таинственное
существо, до сей минуты не имевшее ни лица, ни плоти,
ни голоса, вот оно явилось воочию, приобрело плоть! Сму-
щааясь, пряча глаза, Семен Тетерин беспомощно объявил:
«Ты убийца, Константин Сергеевич!»

Комочек свинца на зеленом сукне, аккуратно круглый,
обкатанный, ничем не отличающийся от других медвежь-
их пуль. У него одна роковая особенность — размер. Он
точно подходит к стволу ружья Митягина и не подходит
к его. Дудырева, двустволке.

Дудырев смотрел на свинцовый шарик и чувствовал,
что все его существо восстает против этой улики. Убийца!
Он, который все силы, всю жизнь отдал на то, чтобы лучше
устроить жизнь людям. Там, где он появлялся, проходили
новые дороги, вырастали новые поселки, подымались стол-
бы электролиний, дремота сменялась кипением. Для себя
Дудыреву нужно очень мало: крышу над головой, не
слишком прихотливую пищу и как роскошь раз в месяц
свободный день, чтоб отдохнуть с ружьем на приволье.
Все для людей — и бессонные ночи, и напряженные дни, и
постоянный расход нервов. И ему предлагают признаться
в самом страшном людском грехе — в убийстве.

Мутный рассвет, отяжелевшая от росы неподвижная
листва кустов, распластаный человек в черном костюме,
с выбившейся из голенища сапога штаниной, лысина Ми-
тягина, принавшего к груди убитого... Пройдут года, де-
сятилетия, и все равно, вспоминая это, будешь содрогаться
в душе. Существовала спасительная тайна, даже больше —
существовала убежденность, что виновник не он, и если он,
Дудырев, берет половину вины на себя, то только из чи-
стой солидарности. В этом было что-то красивое, благород-
ное, успокаивающее совесть. С этим еще можно жить, не
терзая себя!

Свинцовая пуля, угрюмое лицо медвежатника... Нет, не
может поверить! Не признает себя! Нет, нет и нет! Только
не по доброй воле, лишь через силу, лишь припертый к
стене, не иначе.

Семен ушел, унес с собой проклятую пулю...

Рабочий день, прерванный на каких-то пятнадцать минут приходом Семена Тетерина, пошел своим обычным порядком.

Дудырев отвечал на телефонные звонки, отдавал распоряжения прежним твердым голосом и все ждал, что дурная минута пройдет, он вновь обретет былую уверенность в себе. Но «дурная минута» не проходила.

Тогда он решил ехать к следователю. Нельзя больше терпеть неясности, может, там что-то прояснится... Дудырев вызвал машину.

Голос следователя был почтительно-бережный. Таким голосом разговаривают врачи у постели серьезно больного.

— Поверьте, мы не формалисты, хватающиеся за букву закона. Мы понимаем очевидную невиновность как Митягина, так и вашу. Но поставьте себя на наше место. Представьте, что мы прикроем это дело, не доведем до суда. Стоит родственникам убитого поднять голос, указать на то, что был предупреждающий крик, что вполне можно было бы избежать несчастья, как сразу же мы оказываемся в незавидном положении. Нас упрекнут, что мы прикрываем преступную неосмотрительность.

— Не собираюсь толкать вас на незаконные действия,— возразил Дудырев.— Однако напоминаю, что справедливость требует наказания не одного Митягина, но и меня. Я в равной степени виноват.

Где-то в глубине глаз под бесстрастно опущенными веками Дитятичева прмелькнула понимающая улыбка. И Дудырев уловил ее: следователь догадывается о его смятении. Этот внезапный наезд он расценивает как слабость всемогущего Дудырева. И черт с ним! Пусть что хочет, то и думает. Ему, Дудыреву, нужна ясность: как держаться, как поступать? Он не может прикрываться Митягиным, по сути, таким же безвинным, как и он, но не может и с легким сердцем назвать себя убийцей. Как быть?..

— О наказании говорить рано,— с мягкой уклончивостью ответил Дитятичев.— Мы не выносим обвинительных приговоров, этим занимается суд.— Помолчал и доверительно добавил: — Думаю, что суд будет снисходителен.

— У вас был Семен Тетерин? — в упор спросил Дудырев.

- Только что ушел.
- Что вы скажете о его заявлении?
- О пуле?..
- Да.
- Думаю, что это грубая уловка.
- Почему так?..

— Пытается спасти своего старого знакомого. А так как он по натуре своей человек честный, не искушенный во лжи, то эти попытки выглядят неуклюже. На что он рассчитывает? Дудырев — человек влиятельный, свалим-ка на него, ему все с рук сойдет. Но стоило этому Тетерину объяснить, что его поведение преступно, как сразу же дал задний ход. Лишнее доказательство, что мои догадки справедливы.

- Задний ход — доказательство?

— Вы же не откажете Тетерину в решительности. Его профессия уже сама по себе что-то значит. И если этот робкого десятка человек не осмелился настаивать на своем, покорно забрал пулю, то всякие сомнения у меня исчезают — не верит в свою правоту. Значит...

— Значит, пуля фальшивая? — сумрачно перебил Дудырев.

- Да.

— Тетерин не робкого десятка — что верно, то верно. Но разве вам не известно, что офицеры или солдаты, не боявшиеся на войне смерти, без страха бросавшиеся в самое пекло, часто теряются и робеют в мирной обстановке перед сугубо штатским начальником? Не делайте далеко идущие выводы, что храбрый медвежатник спасовал перед вами.

— Хорошо, я соглашусь принять во внимание его пулю. Но ведь этим самым я впутая Тетерина в весьма неприятную историю. Если его пуля окажется фальшивой, ему придется отвечать за ложные показания с целью ввести следственные органы в заблуждение. Не говоря уже о том, что мы и для себя осложним и запутаем дело.

- Бойтесь осложнений?

— Я думаю, и вы бы на моем месте предпочитали простоту и ясность.

Дудырев с сумрачным вниманием вглядывался в Дитятичева. Тот сидел, выкинув длинные руки на стол, приподняв к ушам острые плечи, — полный почтительного бесстрастия, уверенный в своей правоте человек. Он терпит Дудырева лишь из уважения к его особе.

— Разрешите напомнить вам один старый анекдот,— произнес Дудырев.

Дитятичев склонил голову: «Слушаю вас...»

— Пьяный ползает на коленях под фонарем. Его спрашивают: что, мол, ты ищешь? «Кошелек потерял». — «Где?» — «Да там», — кивает на другую сторону улицы. «Почему же ты тогда ищешь здесь, а не там, где потерял?» — «Здесь светлее...»

Впервые за весь разговор Дитятичев озадаченно взглянул на Дудырева.

— Чем же я напоминаю этого пьяного?

— Да тем, что боитесь сложности, ищете истину, где светлей да удобней, а не там, где она лежит на самом деле.

Дитятичев нахмурился.

— Не считаю удачным ваше сравнение, — ответил он с чуть приметной обидой. — Все данные за то, что Тетерин темнит, уводит от истины, но, если он будет настаивать на своем, что ж, я пойду на любые осложнения.

Разговор, казалось, кончился ничем. Усевшись в машину, Дудырев продолжал досадовать: «Пуля-то Тетерина не только для меня, но и для него страшна. Пришлось бы следователю меня брать за шиворот, а это грозит столкновением с райкомом, с областью. Ему проще Митягиным откупиться. Искать под фонарем! Как это подло! Что делать? Молчать? Наблюдать со стороны? Быть молчаливым помощником Дитятичеву?.. Подло! Низко!»

Как бы то ни было, а страх и растерянность отступили перед досадой и возмущением. Сейчас Дудырев думал о себе меньше.

Машина шла среди полей. Впереди показался лесок — густая, приветливая зеленая опушка. Но Дудыреву хорошо было известно: этот лесок — только декорация. От большой, некогда тенистой рощи теперь осталась узкая полоска, остальная часть вырублена под территорию строительства. Зимой и ранней весной, когда деревья не одеты в листву, с этого места сквозь стволы уже видны огни рабочего поселка.

Машина ворвалась в лесок и сразу же выскочила в поселок. Среди торчавших пней стояли бараки, все, как один, новенькие, свежие, не обдутые еще ветрами, какие-то однообразно голые, с унылой ровностью выстроенные в ряды. Чувствовалось, что здесь живут люди временно, некрасиво, бивуачно. Сам поселок раздражает своей казарменной сухостью.

Будет отстроен комбинат, вокруг него вырастут дома,

быть может, благоустроенные, быть может, красивые, но рядом с ними останутся и бараки. В них, уже покосившихся, осевших, латаных и перелатанных, непременно кто-то будет жить. Секрет прост: те строители, которые займут его, Дудырева, место, станут планировать жилье с расчетом на эти бараки. Раз стоят — значит, жить можно, мало ли что некрасиво и неудобно — не до жиру, быть бы живу. Они, как следователь Дитятичев, не захотят лишних осложнений, станут искать решения попроще.

Он возмущался следователем. А сам?.. Настаивал строить не канитальное жилье, а бараки, приводил веские доводы — быстро, дешево, просто... Главное — просто! Не надо будет изворачиваться и экономить, не надо задумываться, откуда оторвать рабочую силу, не надо беспокоиться, что сорвешь утвержденные планы. Проще! Легче! Разве это не называется — искать под фонарем?

Дорога спускалась к котловану. Развороченная, разтерзанная земля лежала внизу. Над ней, притихшей, израненной, успокоившейся на короткое время, в багровом закате летали чайки.

Дудырев сейчас начинал понимать то, о чем раньше, как ни странно, не задумывался: истина и счастье людей неотделимы друг от друга, а счастье же слишком серьезная вещь, чтоб давалось легко: под фонарем, где светлей да удобней, его не найдешь.

19

Выпущенная из медведя пуля стала наказанием для Семена Тетерина. До сих пор он покойно жил, никого не боялся, любому и каждому мог без опаски смотреть в глаза. Сейчас же, выходя из своего дома во двор, он каждый раз оглядывался — не столкнется ли с Митягиным или с Настей, не нарвется ли на попреки или расспросы. Даже один вид митягинских ребятишек, возившихся с гамом и смехом целыми днями в проулке перед домом, смущал и расстраивал.

Стала для Семена странным человеком и Глашка Попова, бегавшая пооходью из деревни в деревню с почтовой сумкой. Всякий раз, когда Глашка, пыля сапогами, бежала вдоль села, падало сердце: повернет к нему или проскочит мимо? А после того как она пробежала мимо, почему-то становилось еще более беспокойно — лучше бы пришла этот вызов к следователю. Семен представлял

себе лицо Дитятичева, суховатое, с топкими мягкими губами, с лопушистыми серыми ушами, его спокойный, холодный взгляд. При одной мысли, что этот человек будет смотреть на него, допрашивать, тянуть душу, Семен загодя чувствовал себя преступником. Пуля! А ну, докажи, что это та самая. Митягина спасаешь, знаем, не без умысла: ежели на него падет вина, то и у самого рыльце пушком обрастет — на медвежью охоту неумелого взял, твоя неосмотрительность до беды довела. И то, что следовательно медлил, не вызывал к себе, казалось Семену дурным знаком. Что-то там за его спиной придумывают, какие плетут петельки?..

В первые дни Семен опасался, что Митягин покою не даст — каждый день будет приходить и жаловаться. Но Митягин вылезал из дома только на работу. Из окна по утрам Семен видел, как фельдшер, уставясь в землю, словно высматривал что-то оброненное, шел, волоча ноги, в сторону меднункта. Ежели кто-нибудь окликал его, испуганно оборачивался, прибавлял шаг.

Как-то Семен столкнулся с ним пос к носу. Виски впали, хрящеватый пос туго обтянут кожей, в глазах дурной блеск, под глазами круги — эх, перевернуло мужика. При виде Семена Митягин съёжился, заморгал, уставился куда-то в сторону.

— Оно падо же, беда свалилась... Кто ж гадал... — вповато забормотал он, пряча глаза.

И Семен понял, что фельдшер сам избегает с ним встречи, ничего не знает, верит, что убил он, мучится. Сжалось сердце, хотелось выложить начистоту: «Твоя пуля медведя свалила, а не человека...» Но скажи, а Митягин шум подымет, начнет требовать — действуй, вызволяй из беды! Рад бы, а как? Мимо Дитятичева не пройдешь, а тот в один узелок свяжет Митягина и его, Семена.

Только и нашелся Семен, что сказал:

— Ты того, дружок... Не убивайся шибко-то...

Но Митягин с натугой, словно шею его душил ворот рубахи, покрутил лысиной, махнул рукой.

— Беда ведь... Эх!

На этом и расстались.

У Семена появилась новая забава, от которой порой становилось тошню. Он скрывался от старухи в свою боковушку, высыпал на дощатый стол пули — весь запас, какой был, — а рядом с ними клал ту, проклятую, вынутую из медведя. Потом долго перебирал, внимательно сравнивал — есть ли отличка. Нет, не было. Брось эту пулю в

общую кучку — затеряется. Странно, маленький, ничем ровным счетом не приметный свинцовый кругляш — мертвая вещь, но в нем какое-то зловещее колдовство! Запутывает, раздирает душу, и не бросишь его, не отделаешься. Казалось бы, что стоит легонько подтолкнуть к куче других пуль — и не разберешь потом, какую же вынул из-под медвежьего черепа. Подтолкни... А завтра выбегут на улицу митягинские ребятишки, будешь на них глядеть и казнить — в руках правду держал, помочь мог бы, а не, испугался. И хочется подтолкнуть, и нельзя.

Семен опускал пулю в карман, но каждый раз оставалось такое чувство, что положил не ту, а какую-то другую. Каждый раз испытывал тоскливое бессилие — раз все пули друг на друга так похожи, то носи любую и доказывай: в ней правда спрятана. Кто поверит? А не поверят, то и нянчиться нечего с пулей, зря мучить себя...

Строже всего Семен хранил тайну от жены. Баба и есть баба — волос долог, да ум короток. Поведай, не утерпит — разнесет по селу. Проще признаться Митягину. Но с кем-то хотелось поделиться, услышать со стороны добрый совет. Один па один с этой трижды проклятой пулей можно сойти с ума.

Самым уважаемым человеком по селу был Донат Боровиков, председатель колхоза. Он в председатели был выбран давно, лет пятнадцать назад. Но добрых лет десять ни он сам, ни его колхоз ничем не выделялись среди других. Вырвался как-то неприметно: выстроил новую свиноферму, новый скотный двор, птицеферму с инкубатором и пошел разворачиваться. Раньше Донат был тощ, вертляв, теперь стал осанист, басовит, нетороплив, его имя печатали в газетах, па районных собраниях выбирали в президиумы...

Семен по давней дружбе часто заглядывал к Донату. Тот ставил для медвежатника поллптру и просиживал с ним за полночь, беседуя об охоте, о глухих лесных местах, о рыбных озерах в лесу, хотя сам ни охотой, ни рыбалкой не баловался.

Ему-то и открылся Семен.

— Да-а, история, — протянул Донат. Он сидел за столом в натальной рубаше, краснолицый, благодушный, разморенный пропущенным стаканчиком.

— Поганая история, больше некуда, — поддакнул Семен. — Скажи: ты-то хоть веришь ли мне?

— В чем?

— Что пулю вытащил из медведя, а не подсунул се.

— В это верю. Только хочу совет дать, ты эту пулю при себе храни, а не шуми о ней на всех углах.

— Эко! Не шуми... Ты тоже хочешь правду упрятать?

Донат удобнее устроился за столом, заговорил внушительнее:

— Правда?.. А ты задумывался когда-нибудь, что это такое? Вот я сиял Гаврилу Ушакова с заведования молочной фермой. Он говорит: я полжизни на этом месте проработал, все силы отдавал, коли какая-нибудь корова растелиться не могла, ночами не спал, дежурил, нянчился. Правда это? Слов нет, правда — и сил не жалел, и ночами не спал. А все-таки я пошел поперек его правды. Гаврила — старик, образования никакого, норовит все сделать, как бабки да деды делали. Мы ему покупаем разные там электродойки, проводим автопоилки, палаживаем подвесные дороги, а они ему не к рукам — ломаются, стоят без пользы, ржавеют. Прикинул я: Гаврилино руководство только за два года вытряхнуло на ветер из колхозного кармана тысяч триста, ежели не все четыреста. Вот тебе две правды — его и моя. Представь, что я с Гаврилиной правдой соглашусь, — то-то будет житуха в нашем колхозе!

— Ты к чему гнешь, Донат?

— К тому, Семен, что, кроме митягинской правды, которую ты выковырял из медведя вместе с пулькой, есть и другая. Я этих судебных законов не знаю, но, видать, так уж положено: раз человека убили — верно, для острастки другим следует паказать. Скажешь — глупо. Согласен! Я и сам хотел быть милосердным. Но ведь не мы с тобой законы выдумываем. Будем считать, что кто-то непременно пострадать должен. Ты вот докажешь, что виновен Дудырев, что его по всей строгости должны в катажку упрятать, с работы убрать. Буду я этому рад? Нет! А почему? Да потому, что боюсь — заместо Дудырева сядет какой-нибудь тыи, пойдет тогда на строительстве, как на престольном празднике: кто-то стекла бьет, кто-то шкуру рвет. Интересно это мне, к примеру? Да упаси бог, сплю и вижу тот день, когда этот комбинат рядышком станет, рабочий класс вокруг него поселится. Еще в позапрошлом году семьдесят тонн капусты свиньям кормил. Вырастить-то эту капустку мы вырастили, а продать — шалишь. Пока из наших глухих мест по бездорожью на бойкое место ее вывезешь, она так в цене подскочит, что и глядеть-то на нее покупатель не хочет. А тут под боком у меня будет постоянный покупатель. Я ему и капусту, и помидорчики из теплиц, и огурчики — ешь витамины, рабочий класс,

плати звонкой монетой. Мои колхозники на эту монету в твоих же магазинах велосипеды и мотоциклы покупать будут... Любой бабе, любому парню, на кого ни укажи пальцем — всем выгодно, чтоб строительство шло как по маслу, не срывалось бы, не разваливалось, чтоб Дудырев сидел на своем месте. Эта ваша глупая оказия, на проверку, не только Дудыреву колени подобьет — нам всем по ногам ударит.

Семен остекленевшими глазами разглядывал распаренное лицо Доната Боровикова. Знаком с ним много лет, казалось, знал всего — и с изнанки, и снаружи — до мелочей. Не злой человек, не попрекнешь, приходи с нуждой — с порога не повернет, а на вот — по его словам, безвинного можно в кручу истолочь, чтоб других накормить. Добро строить на погребели?..

— Неужто тебе, Донат, Митягина не жаль? Одумайся, у него ж ребятшек куча.

— Мне и Гаврилу было жаль снимать с работы.

— Но ты Гаврилу не в тюрьму утек, а на другое место пристроил, вроде и не такое уж безвыгодное для Гаврилы.

— Эх, ежели б мне такая сила была дана — всех пристранять, всех ублажать. Так нет такой силы. Не бывает! Приходится изворачиваться, а там долго ли толкнуть кого ненароком. Не для себя, для общей пользы толкаешь.

— Не по совести говоришь, Донат.

— По жизни говорю. А жизнь тебе не коврижка с медом, иной раз вжущешься — скулы сводит, а глотать нужно.

Семен широкой грудью навалился на стол, снизу заглянул в самые зрачки Доната:

— Вот мы сейчас пьем как дружки задушевные, знаю — на меня зла никакого не имеешь. Не за что... Скажи: можешь ты меня, как Митягина, для общей пользы в яму пихнуть? А?

Донат с минуту сошел в тарелку с надкушенным огурцом, затем твердо ответил:

— Ради общей пользы я себя пхну куда хочешь. А уж ежели своей башки не пожалею, то и твою навряд ли...

Семен встал — зазвенела посуда на столе.

— Себя можешь пхать, а меня спроси сперва — хочу ли?

— Ты куда это?

Семен не ответил.

От любых напастей Семена всегда спасал лес. Находила дурная минута, не глядя — вечер ли на дворе или раннее утро, — брал ружье, оставлял порог дома и ударял куда-нибудь подальше — в Кошелевскую тетеринку или в Глуховскую, что стоит на самой окраине его владений. Снял то в пропахшем дымом срубе, то под осевшим стожком сена, ловил рыбу в черных озерах, бил уток, пек их по-охотничьи на костре, в угольях, обмазав перья глиной или жидкой грязью. И всегда из лесу Семен возвращался помолодевшим, каким-то чистеньким изнутри. Лес обмывал душу, лес наделял силой, всякий раз после леса завтрашний день казался приветливым. Не было лучшего друга у Семена, чем лес.

И Семен решил бежать от всего — от следователя, от Митягина, от истории с проклятой пулей, — бежать в лес.

От мягкого утреннего зарева подрумянились крыши и стены домов. Улицы села были пусты, на пыльной дороге бестолково судачили галки. Калинка, бежавшая впереди хозяина, вспугнула их. Птицы с гневливым криком сорвались в воздух. Семен размашистым шагом миновал село, свернул с дороги, тропкой вдоль поля ржи направился к лесной опушке. Знакомый путь — пересечет первый лесок, обшаренный бабами и детишками, набегавшими сюда за грибами и ягодами, километров пять пройдет полями, снова лес с покосами, потом покосы кончатся и там уж начнется лес серьезный...

Семен шагал почти на хвосте Калинки, резво бегущей впереди. К черту все! Митягин, Дудырев, следователь, пуля, разъедающие душу мысли! К черту! Луг от росы морозно-матовый, вылупился краешек солнца, растопил кромку леса, косо легли от деревьев влажные тени. И воздух легкий, подмывающе свежий, дышишь им, и кажется, что растешь вверх. И птицы поют, и начинают пробовать слпы кузнечики, и в ложбинках лениво тронулся слежавшийся за ночь туман. Вроде привык к этой красоте, сколько раз видел ее, сколько раз встречал по утрам солнце, а вот идешь, дивисься, словно видишь впервой. К черту все! Жалок тот, кто спит сейчас в теплой постели, не видит этих простеньких чудес с набухающим туманом, с выполняющим солнцем. Мелок тот душой, кто, проспав рождение солнца, сразу нырнет в обычные дела, закрутится в домашних заботах — заболела корова, обижен бригадиром, страшат судом. К черту все, что осталось за спиной!

Семен Тетерин быстрым шагом уходил в лес...

Солнце поднялось, высушило росу. Утро кончилось, наступил день. А Семен все шел и шел, не сбавляя шага. Шел, не зная куда, без цели, без мысли, бежал дальше от села — лишь бы в лес, лишь бы забраться глубже.

Тени съежились, листва, омытая росой, радовавшая глаз яркостью, теперь потускнела. Начался день, и сразу все стало на свои места — привычно кругом, буднично, скучновато. Но Семен подгонял себя, боялся — пропадет азарт.

В полдень его занесло в болото.

Наверное, не бывает на свете печальнее места, чем лесное болото в солнечный полдень. Ночь еще как-то прячет его устрашающую унылость. В кочках и вмятинах мшистая земля, бесконечный частокол рахитичных, засушенных обилием влаги елочек. Их стволы тощи, шершавы, похожи один на другой. Взгляд проникает сквозь них, пока не увязнет в каком-то сизом тумане, — это тысячи дальних и близких стволов сливаются в рыжую муть. Проклята та земля, что плодит такой жалкий лес. Ни в каком другом месте человек не чувствует так свое одиночество. И не только человек — зверь обходит стороной болото. Только глухие куропатки жируют на кочках черники и брусники.

Семен остановился и сразу почувствовал, что устал — ружье оттягивало плечо. Вот и лес, пришел... А что дальше?.. Калинка, усевшись в стороне, выжидающе поглядывала на хозяина.

Искать зверя, загнать, пристрелить? А зачем это? Он никогда раньше не задавал себе такого вопроса. Раз пришел в лес — действуй, показывай охотничью сноровку. Сейчас задумался: блуждать, искать след, гнаться, выбиваясь из сил, убить. А ради чего?.. Ради мяса? Ради шкуры?.. Ничего не нужно.

Ружье оттягивало плечо, во всем теле нехорошая истома, хочется выбрать место посуше и лечь. Никогда прежде не уставал, мог колесить по лесу целые сутки, десятки верст бежать без передышки за зверем — усталость приходила только во время привалов вместе со сном.

Мертвая пустыня, украшенная тощим ельничком, окружала его. Воздух парной, удушливый, не свистели птицы, не надрывались кузнечики. Нусто. Калинка сидит и ждет приказа. Один.

Он ушел от людей. А они живут себе по-своему. Должно быть, у скотного двора доярки загружают подъехавшую полуторку бидонами, смеются, весело перебраниваются с шофером, на лугах за речкой трещат косилки, му-

жики навивают стога. Плохо ли жить, как все живут! Разве лучше торчать в болоте, одному с глазу на глаз с Калинкой? Надо возвращаться... Возвращаться?! Чтобы и день и ночь думать о проклятой пуле, сидеть дома в четырех стенах, держать себя под арестом — лишь бы не видеть ни Митягина, ни Насти, ни их ребятнишек...

Донат Боровиков, ежели поразмыслить, столько же виноват, сколько и он, Семен. Но этот Донат сидит, верно, сейчас у себя в кабинете, уточняет сводки из бригад, думать не думает ни о Митягине, ни о пуле, что вчера показывал ему Семен. Рассуждает: себя пихну, другого не пожалею... Беды крутой не ведывал, потому и на людей с кондачка смотрит. Но Донат сторона, а вот Дудырев... Неужели и он спокоен, забыл обо всем, покрикивает себе по телефону? Вот уж у кого, верно, черпая душа да каменное сердце...

Семен стоял посреди кочек, плотно заросших черничным листом, и сжимал тяжелые кулаки. Высоко сидит этот Дудырев, не замахнешься, был бы попроще, научил бы его Семен совестливости.

И вдруг охватило озлобление. Донат Боровиков не думает, Дудырев не травит себя, а оп, Семен Тетерин, хочет быть лучше других, эго! Вздумалось болящего Христа из себя корчить. Для него Митягин такой же сват и брат, как, скажем, для Доната. Все спокойны, людская беда как с гуся вода, отряхнутся — сухи и чисты. А он убивается, пулю таскает, то Дудыреву, то следователю эту пулю под нос сует. Их мутит от этой пули, зубы показывают, как Калинка при виде палки. Простак ты, Семен, простак. Считай, век прожил, а до сих пор в ум не возьмешь, что плетью обуха не перешибают. Дудырев и следователь не медведи, с лесной ухваткой не сваляешь. Малой шавке не след на матерых волков лаять. И перед Митягиным от стыда корчиться нечего. Помогай там, где можешь помочь, не можешь — живи себе в сторонке. А пуля?.. Да будь она неладна!

Семен сунул руку в карман, вытащил пулю, хмуро оглядел ее в последний раз и бросил в сторону. Калинка, следившая за хозяином, метнулась туда, куда упала пуля, обнюхала, сконфуженно отошла.

Спихватись сейчас Семен, примись искать, навряд ли бы нашел ее среди кочек в высоком мху. Кусок свинца, хранящий в себе правду, исчез для людей.

Семен повернулся, решительно зашагал прочь в сторону села.

Дудырев почти ничего не знал о Митягине. За короткое знакомство во время охоты этот человек оставил у него смутный след — ничем не примечателен, не интересен. Жалость к Митягину была, но слишком общая, отвлеченная, так жалеют, когда прочитают в газетах о пассажирах, погибших во время железнодорожной катастрофы. Нет, не жалость заставляла Дудырева верить Семену Тетерину, не она толкала — действуй, не успокаивайся, добивайся истины. Просто одна мысль — прикрываться слабым и беззащитным — была противна Дудыреву. Разве можно после этого относиться к себе с уважением? Жить с вечным презрением к себе — да какая же это жизнь!

При новой встрече со следователем Дудырев стал спокойно и твердо доказывать, почему верит Семену Тетерину. Если бы охотник задался целью во что бы то ни стало спасти соседа, то поступал бы более осмотрительно. Он бы мог придать пуле нужную форму, а не обкатывать ее. Он бы понес пулю не к нему, Дудыреву, а прямо к следователю. Наивная доверчивость не совмещается с характером человека, который решился на заведомый обман... Сухостойное дерево... Но оно не прикрывало собой всю лаву. Нет прямого доказательства, что парень упал в воду точно на середине реки. Это догадки.

Когда Дудырев пункт за пунктом объяснял Дитятичеву, в кабинет, постукивая палкой, вошел прокурор Тестов, уселся в кресло, вытянув негнущуюся ногу, из-под сухих курчавых волос уставился черными прищуренными глазами.

Дудырев привык к уважению в районе, к тому, что его слово ловят на лету. Но на этот раз его напористые, решительные доводы не производили впечатления. Лицо Дитятичева было, как всегда, вежливо-бесстрастным, прокурор же с любопытством щурился, и под его жесткими ресницами в темных глазах пряталась снисходительная усмешка. И едва Дудырев замолчал, как следователь суховато и обстоятельно начал возражать:

— Ваши рассуждения не лишены интереса, но... отмахнуться от врачебной экспертизы, с распростертыми объятиями ринуться навстречу весьма сомнительным доводам охотника... К тому же, как кажется, он лицо заинтересованное... Друг Митягина...

А прокурор, внимательно глядевший до сих пор на Дудырева, отвернулся, спрятал лицо.

Они не соглашались и не собирались соглашаться. Дудырев, выступающий против Дудырева, — некий любопытный парадокс, чудачество почтенного человека, уверенного в своей полной безопасности. И Дудырев понял — им немного неловко за него: зачем эта неискренняя игра, к чему казаться святей папы римского?

А ведь прокурор Тестов славился по району как недюжинный человек. Он заядлый книголюб, знает наизусть стихи Блока и Есенина, ходит молва, что в обвинительных речах проявляет мягкость и уступчивость. Как он-то не понимает, что со стороны Дудырева не фальшь, не поза, а обычная норма поведения. Как не догадывается, что нельзя уважать себя, свершив подлость, пусть не своими, а чужими руками.

Дудырев против Дудырева. Он выступает против своего, известного всему району имени. Имя — бестелесный звук, но оно могуче. оно грозит прокурору и следователю осложнениями, заставляет их искать удобные пути, искать истину «под фонарем». И сам Дудырев, с его напористостью, твердостью, отделившись на время от своего имени, оказывается бессильным что-либо сделать...

— А все-таки прислушайтесь... — сказал он мрачно. — Прислушайтесь и не опасайтесь за то, что я окажусь в невыгодном положении. Мне легче будет, если я отвечу за свою вину, чем спрячусь за чью-то спину.

Последние слова он произнес с такой угрюмой настойчивостью, что прокурор с удивлением поднял голову, а бесстрастное лицо Дитятичева дрогнуло, слегка вытянулось. Они поняли наконец, что с ними не шутили, не играли в благородство.

Ответил прокурор:

— Хорошо. Мы еще раз попытаем этого Тетерина... И поверьте, беспристрастно.

— Именно этого я и добивался.

Дудырев вышел, а прокурор и следователь с минуту сидели молча. И только когда от крыльца донесся подымающий звук стартера дудыревской машины, Дитятичев произнес:

— Черт его знает, донкихот какой-то.

Прокурор, задумчиво щуря глаза в угол, возразил после минутного молчания:

— Скорей Нехлюдов... Иной раз прорывается в душе русского человека эдакая совестьливость, которая в Сибирь гонит вслед за ссыльной проституткой.

На следующий день Дитятчев вызвал к себе Семена Тетерина. Стараясь придать своему голосу мягкость, он попросил рассказать, как и при каких обстоятельствах была пайдепа пуля, не сможет ли Семен Тетерин назвать свидетелей, видевших пулю до того, как она была обкатана.

Обветренное лицо Семена потемнело еще сильнее.

— Нет пули,— ответил он глухо.

— Как так нет? Вы ее доставали или не доставали?

— Считай, что не доставал. Нету — и все.

Плотно сжав губы, следовательно с презрением разглядывал охотника. Как обманчив бывает вид. Вот он сидит перед ним сгорбившись, тяжелые плечи покато опущены, лицо угрюмое, суровое, шрам на скуле придает особую диковатую силу — бесхитростное, честное лицо, а глаза прячет, отвечает с подозрительным раздражением, отрицает то, что говорил прежде.

— Мне нужно знать точно: нашли вы после врача пулю в трупе медведя или не нашли?

Долго молчал медвежатник, наконец выдал:

— Не нашел...

— Значит, вы лгали мне в прошлый раз?

Снова молчание.

— Лгали или нет?

— Считай, как хошь...

Дитятчев ничего не выжал из Семена.

А Семен, шагая домой, вспомнил, как мягко, почти ласково начал свой допрос следователь. Лисой прикидывается, про пулю признаться понуждает, а для чего? Угадать нетрудно — решили его, Семена Тетерина, пришить к Митягину: мол, одна бражка, один и ответ держать. Прост ты, Семен Тетерин, лесная дубина. Долго ль им, ученым да сноровистым, вокруг пальца тебя обвести? Нет, шалишь, в лесу похоронена пуля, словечка о ней клещами теперь не вытащат. Но ведь они и без пули могут придаться. Запутают, придется на старости лет сухари сушить, в дальнюю дорогу за казенный счет ехать. Срамота какая!

С этого дня не укоры совести мучали Семена Тетерина, а страх. Все казалось, что за его спиной против него затевается страшное, тайное, непонятное, против которого не поправишь, с чем не схватиться в открытую, не оборониться кулаком. Бессильным чувствовал себя Семен, впервые в жизни бессильным и беспомощным, словно младенец.

Прошло лето, зарядили дожди, развезло дороги. В эту осень не было золотых деньков, не сияли березовые перелески под негреющим солнышком, не полыхали багрянцем осины, не замстало тележные колени шуршащей листвою. Никто и не заметил, как оголились леса, как ударили первые утренники.

Всю осень воевали за хлеб. Многие учреждения в райцентре закрылись, служащие разъехались по колхозам. Дудырев отрывал рабочих от строительства, посылал на поля.

В суете и заботах люди совершенно забыли о несчастье, которое случилось во время охоты в середине лета. И если кто ненароком ронял об этом слово, равнодушно отмахивались — старые дрожжи поминать дважды.

Митягин жил по-прежнему тихой жизнью, из дому выходил только на работу, постарел, потускнел, как-то сохся, казалось, стал меньше ростом. Он перестал выпивать, возился с ребятишками, копался на огороде, покорно сносил нападки сварливой Настасьи. В их семье наступил мир и покой, какого, пожалуй, не бывало со времен свадьбы.

Митягин и Семен Тетерин сторонились друг друга, при встречах перекидывались двумя-тремя ненужными словами, про охоту не вспоминали.

Семен, как и все, помогал колхозу — отремонтировал сушилку, работал на токах. В лес выбирался изредка, по в эту осень ему не везло — всего только и добычи, что принес лису-огпевку. На одном из таких неудачных выходов Калинка сломала ногу, кость не срасталась — сказывался возраст, как-никак по собачьему веку старуха.

Временами и Семен забывал о несчастье, по несколько дней не вспоминал о пуле. Но всегда после таких спокойных дней тревога охватывала с новой силой. Притихли, забыли, не помнят о себе! Перед грозой-то всегда затишье бывает. Не могут же они забыть начисто, не миновать суда. Грянет гром — по кому-то ударит. Правда, следовательно больше его не тревожил, с него, Семена, не взяли подписки о невыезде, как это сделали с Митягиным. Но что там подписка — знают, что и без нее Семен никуда не денется. Суд-то будет, уж спросят о пуле, начнут при народе пытать. Нет пули — и шабаш! Не хочет он принимать во чужом пиру похмелье.

По-прежнему с глухой тайной ненавистью вспоминал

о Дудыреве. И больше всего возмущало, что люди в один голос хвалили начальника строительства: Дудырев собирает бараки спосить, каждой семье квартиру обзает, прогнал с работы половину снабженцев, он и обходитель, он и добр... Семен-то знает его доброту. Ох, люди — за полущку покупаются!..

При первых заморозках в дом к Семену ворвалась Глашка Попова, принесла повестку на суд...

Семена усадили в соседней комнате, в одиночестве. Он сидел и прислушивался к глухим голосам, доносившимся из-за стенки, представлял себе Митягина — на него глазают из зала, шушукуются, показывают пальцами. Пожалуй, нет ничего на свете страшнее, чем торчать вот так перед людьми покрытым срамом. Семен согласился бы выйти против разъяренной медведицы с голыми руками, чем окзаться сейчас в шкуре Митягина.

Рядом с Митягиным, верно, сидит и Дудырев. Как ни крутился следователь, а, должно быть, не сумел совсем выгородить начальника строительства — все же причастен к убийству. Но все ясно: Дудырев сидит ради приличия. Митягин и стреляет хуже, и дерево сухостойное позади медведя стояло для него невыгодно — вся вина на нем, ему и ответ держать. Дудырев посидит, может, покраснеет даже, а потом отряхнется — что ему, непременно оправдают.

Семен ждал долго, изнывал от страха, томился. Наконец открылась дверь.

— Свидетель Тетерин! Пройдите!

Он встал перед столом, боком к народу, мельком увидел — в первом ряду восседает Донат Боровиков, смотрит в упор на Семена, и взгляд его торжественно-тяжелый, чужеватый, без сочувствия. Других не различал, но чувствовал, что и все смотрят на него выжидающе, почужому.

Народного судью — Евдокию Павловну Теплякову — Семен часто встречал в районе, как-то даже случилось беседовать на берегу реки, ожидая перевоза. Помнится, говорили тогда о сущей ерунде — о грибах, которые в том году росли наотличку. Теплякова — женщина тихая, многосемейная, вечно озабоченная. Сейчас Семен видел ее руки, лежащие на каких-то бумагах, — руки хозяйки, шершавые, с коротко подстриженными ногтями, видать, и бельишко стирает ребятам, и полы моет, и картошку копает. Без

мужа живет, тоже бабе приходится из кулька в рогожку переворачиваться.

Теплякова и все остальные, что плотно, с разных сторон обсади стол,— люди как люди, должно, не злы, при случае готовы и пожалеть, и посочувствовать, и помочь в беде. При случае, а не сейчас. Сейчас-то между ними и Семеном Тетериным стоит красный стол.

Теплякова скользнула отрешенным взглядом, взяла бумагу со стола.

— Свидетель Тетерин Семен Иванович, год рождения 1904, промысловик-охотник, место жительства — село Волк Густоборовского района... Свидетель Тетерин, вас поставили в известность, что за ложные показания вы привлекаетесь к уголовной ответственности по статьям?..

Голос Евдокии Тепляковой несколько не похож на тот, каким она разговаривала с Семеном о грибах.

— Свидетель Тетерин! — К нему обращаются торжественно, его величают строго.— Расскажите суду, что произошло на охоте в ночь с четырнадцатого на пятнадцатое июля сего года. Постарайтесь припомнить все.

Семен робко кашлянул в кулак и начал, запинаясь, рассказывать о том, как собрались на охоту, о том, как гнали медведя, как выгнали его к лаве, как он, Семен, услышал гармошку, успел крикнуть...

— Свидетель Тетерин, вы видели, чтобы подсудимый Митягин когда-нибудь занимался до этого охотой?

У Семена упало сердце: «Вот оно, копают».

— Н-нет,— признался он.

— Вы знали, что он не умеет обращаться с ружьем?

— Н-нет... Говорил, что баловался прежде.

— И вы поверили?

— Поверил.

— Свидетель Тетерин, вы как-то предъявили следователю пулю, которую вы якобы достали из убитого медведя. Вы уверяли, что врач, искавший эту пулю, не нашел ее. Вы подтверждаете это?

Вот оно... У Семена стали мокрыми ладони, он молчал, сутулился, угрюмо уставившись в пол. Вот оно — самое страшное, вот он — пробил час. Много дней и недель жил в страхе перед этим часом. Все молчат, ждут, что он скажет. Молчит и он. Признаться? Сказать правду? Спросят: где пуля, покажи! А пуля лежит во мху, среди кочек, затерялась в глухом болоте, сам черт ее теперь не отыщет.

— Свидетель Тетерин, вам понятен вопрос?

— Нету пули,— выдавил из себя Семен.

— Вы утверждаете, что не показывали пулю следователю?

— Никакой пули не знаю.

— А вот здесь запротоколировано черным по белому, что шестнадцатого июля сего года, на следующий день после события, вы принесли следователю Дитятинчеву пулю, вынутую, по вашим словам, из трупа медведя и подходящую под калибр ружья, которым пользовался Митягин... Приносили пулю или не приносили шестнадцатого июля, сразу после охоты? Да или нет?

— Не-ет.

— Что значит ваше «нет»? Приносили пулю или не приносили?

— Приносил.

— Вы, как сообщил следствию Дудырев, и ему показывали эту пулю?

— Показывал и ему.

— На следующих показаниях вы отрицали, однако, что эта пуля у вас есть, что вы достали ее из медведя?

— Отрицал,— признался Семен, еще ниже опуская голову.

— Значит, это пуля не из медведя, вы просто принесли другую пулю из своих запасов? Не так ли?

Семен молчал. Он чувствовал себя совсем раздавленным, тело стало грузным и непослушным, ноги вялыми, коленки дрожали от напряжения. Вконец запутался. Если он скажет правду, что вынул из медведя, что нашел ее под самым черепом, в шейном позвонке, что сам раскатал ее, тогда спросят: почему раньше увиливал? Чему верить? Зачем водите суд и следствие за нос? Где пуля? Почему вы ее бросили? Конца и края не будет расспросам. Все равно правда похоронена вместе с пулей.

Суд ждал, без конца молчать было нельзя, и Семен, набрав в грудь воздух, с усилием выдавил лишь одно слово: «Да»,— лживое слово, прозвучавшее придушенно.

— Не из медведя? — уточнила Теплякова.

— Да...

— Вы ее принесли для того, чтобы спасти от наказания Митягина?

Надо было лгать и дальше, Семен снова с усилием выдавил:

— Да...

На минуту наступило тяжкое молчание. Семен стоял, опустив голову.

— Со стороны обвинения будут вопросы?.. Со стороны защиты?.. Нет. Свидетель Тетерин, имеете ли вы что-нибудь добавить к своим показаниям?

Семен Тетерин ничего не имел, он еле держался на ногах.

— Свидетель Тетерин, вы свободны. Можно пройти в зал и присутствовать на заседании.

Спотыкаясь, никого не видя, Семен направился на народ. Кто-то — он не видел кто — пожалел его, уступил место на скамье. Семен грузно опустился. Сидел, уставившись в пол, до тех пор, пока не услышал голос Дудырева.

В мягкой кожаной куртке, чисто выбритый, прочно стоящий на расставленных ногах перед судебным столом, по всей вероятности, не испытывавший ни смущения, ни волнения, коротко, точно и спокойно Дудырев отвечал на вопросы. Слышал ли он предупреждение Семена Тетерина? Да, слышал, но не мог уже остановиться, выстрелил почти одновременно с выкриком. Слышал ли он звук гармошки? Нет, не слышал...

После обычного завершающего вопроса: «Имеете ли вы что-нибудь добавить к своим показаниям?» — Дудырев чуть вскинул тяжелую голову и твердо сказал:

— Да, имею.

Зал, и до этого внимательно-настороженный, притаился за спиной Семена Тетерина так, что Семен услышал свое напряженное дыхание.

— Мне известно, — размеренно и по-прежнему спокойно начал Дудырев, — что ряд косвенных улик, принятых во внимание следствием, отягощает вину Митягина и облегчает мое положение. Поэтому сейчас, перед лицом суда, хочу заявить: не считаю себя менее виновным. Мы одновременно выстрелили. Я стреляю лучше Митягина, но это не может гарантировать полностью того, что я не мог промахнуться. Указывают на местоположение сухостойного дерева, которое прикрывало от меня середину лавы. Но достаточно было потерпевшему выдвинуться вперед на полшага, а пуле пролететь в каком-нибудь сантиметре от ствола дерева, как обвинение против Митягина рухнет. Свидетель Тетерин отрицает теперь наличие пуги. Я не собираюсь ни уличать его, ни попрекать в непостоянстве. Нули нет, кто из нас убил — для меня до сих пор тайна, как и для всех. Мы оба повинны, оба в одинаковой степени!..

Зал одобрительно загудел.

— Но это не значит, что я покорно признаю себя виновным. Думаю, никто не решится упрекнуть ни меня, ни Митягина в преднамеренном убийстве. Нас могут судить лишь за неосмотрительность. Но является ли эта неосмотрительность преступной? Мы стреляли в лесу, где никакими законами, никакими частными предупреждениями стрельба как таковая не возбраняется и не ограничивается. Мы не могли предположить, что за кустами может оказаться живой человек. Место, где мы стреляли, чрезвычайно безлюдно, прохожие встречаются на дюю один, от силы два раза. Как я, так и Митягин не слышали гармошки. Ее услышал Тетерин, не в пример нам обоим более опытный охотник. Выкрик Тетерина прозвучал почти одновременно с выстрелами, мы просто физически не успели сообразить. И мне думается, никто не позволит себе допустить такую мысль, что мы решились спустить курки, услышав выкрик, поняв его значение. Я не считаю себя совершившим преступление, а следовательно, не считаю преступником и Митягина. Если же суд не согласится с моими доводами, посчитает нужным вынести наказание, то это наказание я в одинаковой мере должен нести с Митягиным.

Семен слушал Дудырева, сидел, вытянувшись, с камешно-неподвижным лицом, из-под скулы, приподнятой шрамом, глядел с суровым прищуром. И если б кто-нибудь в эту минуту взглянул в него, то все равно не смог бы разглядеть, что этот человек с камешным лицом корчит: я сейчас внутри от стыда.

24

Прокурор не настаивал на наказании. Народные заседатели совещались недолго.

Суд оправдал Митягина, приняв во внимание, что крик Семена Тетерина, предупреждавший об опасности, прозвучал слишком поздно.

Семен вместе со всеми стоя выслушал приговор, вместе с одобрительно гудевшей толпой вышел из суда на улицу и только там потянул на голову шапку.

Люди не спешили расходиться, топтались по только что выпавшему снегу, радостно переговаривались между собой. Каждый чувствовал, что свершилось что-то доброе и красивое. И все в эту минуту, столпившись под лампочкой в жестяном абажуре, качавшейся от легкого ветерка

на столбе, простосердечно тянулись друг к другу, хотели prolongировать праздничную минуту.

Митягина, вышедшего из суда вместе с женой, сразу же обступили, хлопали по плечу, поздравляли, отпускали незамысловатые шуточки:

— Что, братец, верно, бельишко уже собирал?

— Не тужит, что не привелась дальняя дорога.

— Сердце-то, поди, до сих пор в пятаках сидит!

— На тебя бы такую напасть — тоже, чай, не особо был радовался.

Митягин вертел косо напыленным на лысину лохматым треухом, растроганно, со слезой бубнил одно и то же:

— Ах, беда! Вот беда так беда!..

Видать, эти слова прочно въелись в него за последнее время.

Его Настя, стоявшая рядом, вздернув голову в пуховом платке, победно оглядывала обступивших, всем своим видом говорила: «То-то! Мы не какие-нибудь арестанты. Против правды-то не попрешь!»

Неожиданно люди замолчали, расступились. Рука об руку прошли прокурор и следователь. Следователь высокий, прямой, прокурор по плечо ему, сильно прихрамывающий. И по тому, что они вышагивали с достоинством, не без подчеркнутой торжественности, было понятно — их вовсе не оскорбляет добрая радость людей, не спешащих расходиться по домам. Служба заставляла их проявлять строгость, они сделали свое, теперь тоже довольны, что окончилось хорошо.

Прошел быстрым шагом и Дудырев, кивая на прощание направо и налево.

Шагая враскачку, приблизился Донат Боровиков, встал на расставленных коротких ногах перед Митягиным, крепкий, приземистый — не столкнешь с места, — заговорил покровительственно:

— Ждал, поди, что люди готовы съесть тебя. Аи нет, и опять всегда готовы, и руку протянуть при нужде... Мало доверяем друг другу. Великое дело — доверие. Так-то.

— Ах ты, беда... Да я же и не мыслил...

Семен, стоявший на отшибе, чувствовал себя обворованным. У него было одно утешение — маленькое, непереносимое, постыдное, но все-таки утешение. Считал, что все люди плохи, такой, как Дудырев, спасает свою шкуру, не мучится совестью. Так к чему выглядеть красивее других, зачем лезть на рожон? Было утешение, теперь нет. Дуды-

рев защищал Митягина, готов был разделить с ним вину. Нет оправдания Семену, не на кого кивать. А ему ли сейчас не радоваться вместе со всеми, ему ли не торжествовать за Митягина? Все довольны, все добры друг к другу, у всех праздник. У всех, но не у него.

Тоскливый среди всеобщего возбуждения голос заставил Семена обернуться. Поеживаясь в вытертом полушубке, невидяще уставившись мимо Семена на людей, толкущихся вокруг Митягина, стоял бригадир Михайло Лысков, отец нарня, убитого на охоте.

— Не вернешь Пашки теперь, — говорил он рослому детине в распахнутом ватнике. — Не след другим жизнь портить. Мне от чужой напасти теплее не будет.

— Само собой, злобой не излечишься, — с охотой поддакивал детина.

Казалось бы, кому, как не Михайле, озлобиться, проклясть на всех, а на вот, не озлобляется, не теряет совести, остается человеком. Ему-то, Семену, не в пример проще было не пятнать душу. Врал, увиливал, Митягина продал... Голос Михайлы словно прожег насквозь Семена. Он повернулся и, сторонясь людей, зашагал в темноту, к дому...

А в это самое время Дудырев, сидевший в машине, которая несла его по черной, отчетливо выделявшейся среди покрытых снегом полей дороге, думал о Семене.

Отрекся от пули, но что-то мешало Дудыреву до конца верить в это отречение. Как бы там ни было — солгал ли охотник сейчас на суде, или же лгал ему, Дудыреву, раньше, принеся фальшивую пулю, — в обоих случаях некрасиво.

Семен Тетерин! Медвежатник! Казалось, вот олицетворение народа. А перед народом Дудырев с малых лет привык безотчетно, почти с религиозным обожанием преклоняться.

Он, Дудырев, требует от Семена Тетерина больше, чем от самого себя. Кондовый медвежатник, не растравлен рефлексией, цельная натура, первобытная сила — как не умиляться Дудыреву, окончившему институт, принявшемуся к интеллигенции! Умилялся и забывал, что он сам строит новые заводы, завозит новые машины, хочет того или нет, а усложняет жизнь. Усложняет, а после этого удивляется, что Семен Тетерин, оставив лес с его пусть

суровыми, но бесхитростными законами, теряется, путается, держит себя не так, как подобает.

Люди меняются медленнее, чем сама жизнь. Построил комбинат — перевернул в Густоборье жизнь. Комбинат можно построить за три-четыре года, человеческий характер создается десятилетиями. Мало поднять комбинат, проложить дорогу, переселить людей в благоустроенные дома. Это нужно, но это еще не все. Надо учить людей, как жить.

Слепое преклошение не есть любовь. Истинная любовь деятельна.

25

Дома старуха размешивала у печи пойло корове; увидев переступившего через порог Семена, разогнулась, спешно вытерла руки о завеску, спросила с тревогой:

— Чтой там? Аль строго дали?

Семен ничего не ответил, стянул обшитый солдатским сукном полушубок. Его молчание старуха поняла по-своему, припала сморщенной щекой к костлявому кулаку, скорбно закачала головой, вполголоса запричитала:

— И на кого, горемыка, детишек-то оставит! И теперь вольница неухоженная, без отца-то совсем от рук отобьются... Господи! Не чаяли горюшка, да свалилось!..

— Цыц! — рыкнул на нее Семен. — Сбегай к Силантьихе! — И, видя, что жена собирается возражать, угрожающе-заглушшим голосом прикрикнул: — Кому сказано! Живо!

Старуха послушно накинула на голову платок.

Силантьиха, бобылка, живущая через три двора от Семена, таясь от участкового Малышкина и председателя Доната Боровикова, варила самогон и при нужде сбывала его из-под полы.

Семен прошел в свою боковушку, не зажигая света, сел за стол, навалился локтями, сжал ладонями голову. За окном, что в погребе: темно и тихо. Только за сенями, под поветью, слышно было, как ворочается нетерпеливая корова, которой не принесли пойло.

И вдруг тишину за окном прорезал собачий вой. Надрывно завывала Калинка. Не беду хозяйина учуяла она, не из преданности изливалась она в плаче в черное небо — у нее своя беда, свое непоправимое несчастье. Лапа не срывается

ся, на последней охоте трижды теряла след, часто ложилась — уходят силы, чует это собачьим нутром.

Семен понял — с Калинкой ему больше не охотиться, прошло ее время, надломилась.

Он сидел, сжав лицо широкими ладонями.

Как случилось?.. Сколько себя помнит — не приходилось краснеть перед людьми, знал себе цену. До чего дошел: последние месяцы, считай, заячьей жизнью жил. Это он-то! И добро бы беда настоящая грозила, так не было ее! Заместо зверя огородное пугало принял. Сраму боялся. Вот он, срам,— по уши влез. Вперед наука. Наука?.. Ежели б в семнадцать лет такая наука выпала, а он уже не мальчишка — старик, через четыре года за шестой десяток перевалит. Не поздно ли учиться?..

Семен сжимал голову, готов был выть в один голос с Калинкой.

Нет более тяжкого суда, чем суд своей совестью.

Путешествие длинною в век

Научно-фантастическая повесть

ОТ АВТОРА

Разговор пойдет о сказке.

Неправдоподобно, чтоб мужицкий сын Иванушка, презираемый дурачок-лапотник, стал царем. Досужий вымысел. Неправдоподобно, чтоб ковер мог летать по воздуху, чтоб Садко — богатый гость опускался на дно морское, возвращался оттуда живым и невредимым. Сказка не жизнь, а где-то над жизнью — так считали наши предки.

Впрочем, они часто верили в свои сказки: Иисус Христос после смерти остался жив и вознесся на небо; Иисус Христос прошел по воде «яко по суху», не замочив ног; первая женщина сотворена из ребра мужчины... Верили: так было, так могло быть, но человек тут ни при чем — все это сверхчеловеческое, некая непостижимая божественная сила. И опять не жизнь, а над жизнью. А сейчас...

Разрабатывается искусственный, электронный мозг, который будет иметь размеры меньше человеческой головы...

Двенадцатилетнему мальчику «пришили» руку, отрезанную поездом, в запястье стал ощущаться пульс — значит, рука живет...

Можно ли сделать Венеру обитаемой?

Это похоже на фантастику, не правда ли, пахнет сказкой? Нет, не сказка, это случайные выдержки, заголовки, взятые из современного серьезного журнала. Жизнь не только догоняет вымысел, а порой перегоняет его.

Однако это вовсе не значит, что сказка в скором времени исчезнет совсем, заменится трезвой былью. Просто она из недоступного, из области божественного переключивается в наше будущее. Бородатого сказочника начинает заменять научный фантаст. Древний сказочник, что мечтал

летать по воздуху, создавал в воображении ковер-самолет, вряд ли надеялся, что он сам или его сын, внук, даже правнук полетят как птицы. Он верил, что богом человеку предопределено ходить по земле, не летать. Современный фантаст, описывая путешествие к далеким планетам и звездам, рассчитывает, что они сбудутся. Бездна надежд перестала быть уделом сказки.

И уж если сказка перековалась в будущее, то к ней должны быть иные требования. Наше будущее, несмотря на свою фантастичность, реально. Поэтому и современная сказка должна нести реалистические черты.

Мало того, к будущему нельзя относиться безответственно, несерьезно. Описывать будущее как некий розовый рай, населенный блаженными, — значит обманывать самих себя. Наверняка среди грядущих поколений будут конфликты и противоречия, о которых сейчас мы лишь смутно можем догадываться. Не может быть общества без противоречий, без поступательного движения вперед. Мечтать о неподвижности так же противоестественно, как психически нормальному человеку мечтать о могиле. Будут противоречия, столкновения — значит, в среде людей неизбежно будут гордые победы и горькие поражения, свои радости и свои несчастья, удачники и неудачники, рождения и смерти. В этом, наверное, и есть беспокойное счастье бытия.

Но стоп! Могут подумать: все, что здесь сказано, крупная завязка к сказке, которая пойдет дальше. Нет, проблем будущего она не решает: слишком непосильная задача; просто хотелось бы представить далекие будни, не большие. Представить в силу своего ограниченного воображения.

Итак, сказка на современный лад.

В Институте мозга шел странный мировой чемпионат. С разных концов земного шара съехались феномены памяти. Одни декламировали пудовые телефонные справочники, как стихи, другие — антологии поэзии того же веса отбарабанивали, как телефонные справочники. Находились и такие, которые ради спортивного интереса заучивали от корки до корки технические энциклопедии.

Виртуозов запоминания телефонных справочников отмечали научным термином «ассоциативно недостаточны» и отправляли домой.

С особой тщательностью проверяли тех, кто обладал могучей избирательной памятью. Из трехсот человек без труда отобрали десятерых. Из этого десятка уже после двухмесячных упорных испытаний осталось трое. Из троих после некоторых колебаний выбрали одного, абсолютного мирового чемпиона памяти. Им оказался Александр Барте́ньев, двадцатishестилетний кандидат физико-биологических наук из Москвы.

С верхушки молоденького деревца скворец, черный, как монах со старинной гравюры, глядел с чванливым высокомерием на долговязого человека. Неожиданно скворец сорвался в воздух...

По солнечной дорожке, на которой лишь кое-где расплескана жидкая тень, бежала девушка-лаборантка — трепещут полы слепящего халатика, трепещет помайскп яркая листва на деревьях, и блестят в улыбке плотные зубы.

— Он зовет вас... Скорей!

Он, директор Института мозга, прославленный академик Шаблин, звал к себе чемпиона памяти Александра Бартењева.

Бартењев поспешно зашагал к дверям главного корпуса. Рядом с ним нетерпеливо бежала лаборантка.

2

Журналисты описывали наружность Шаблина: «Атакующий лоб, остро отточенный, как клинок, профиль...» На портретах он выглядел худощавым брюнетом с обычным лбом, большим носом, с зазывной хитрецей в узко посаженных глазах.

В просторном, даже чересчур просторном кабинете, куда ломилось умытое весной солнце, встал из-за стола поджарый человек в мятой рубашке, пузырящихся на коленях брюках — своего рода щеголь из признанных. Родоначальником этого щегольства — смирение паче гордости — по нечаянности стал Альберт Эйнштейн, носивший растянутый свитер и потертую кожаную куртку. Высокий, прямой Александр Бартењев в своем повом, тщательно пригнанном костюме, от носков туфель до макушки начищенный, отутюженный, приглаженный, выглядел рядом со знаменитым ученым как принц крови — величественный, торжественный и... робеющий.

Цепкое пожатие сухой, крепкой руки, цепкий взгляд в самые глаза, в глубь их, на дно.

— Сядем.

За время, проведенное в этом институте, Александр видел его несколько раз, дважды слушал его лекции, но только сейчас его поразила энергия сухощавого, словно наэлектризованного, лица.

При жизни возведенный в великого, в одинаковой степени физик и химик, физиолог и гистолог, глубокий теоретик и тонкий экспериментатор. Его «Исследование белка первичной клетки» потрясло весь научный мир, когда Бартењева еще не было на свете, а Шаблину исполнилось едва столько же лет, сколько сейчас Бартењеву.

Кабинет прост, пустоват, даже аскетичен. Рабочий стол, с перламутровым отливом телеэкран на нем, маленький круглый столик в углу, мягкий диван обнимает его...

Бартењев разочарованно оглядывался.

О кабинете Шаблина ходили по белу свету легенды: будто бы здесь под своим личным присмотром видный ученый хранил искусственный человеческий мозг.

Электронных мозгов создано достаточно, но мозг из выращенных в лабораториях первых клеток — единственный экземпляр в мире.

— Вы любите путешествовать? — неожиданный вопрос.

— Не очень, — ответил несколько ошарашенный Бартеьев.

— Насколько я знаю, вы интересовались древними рукописями, океанской фауной, проблемой гравитации и еще чем-то...

Александр нахмурился.

— Сам знаю, это моя беда.

— Напротив, любознательность похвальна.

— Можно всю жизнь остаться в любознательности профессионалом, во всем остальном — дилетантом.

— А если я, соблазненный вашей любознательностью, предложу вам место в нашем институте?

— Вы же знаете, профессор, работать в вашем институте — для каждого большая честь.

— Отлично. Сообщите, что вы знаете о звезде Лямбда.

— Лямбда Стрелы?

— Именно о ней.

Вопрос не только легкий, но и до смешного наивный. Для жителей Земли после Солнца по существу на небе более знаменитого светила, чем эта слабая звездочка; любовью школьник из первого класса подробно расскажет о ней. И потому, что детский вопрос задается ему, как-никак победителю в чемпионате энциклопедистов мира, Александр растерялся: «Нодвох?» Как всегда, когда бывал озадачен или нужно слегка напрячь свою безотказную память, он бережно коснулся правого виска сложенными в щепоть пальцами. И этот привычный жест его успокоил, память сработала, перед глазами выросла страница астрономического справочника. И по этой «мысленной» странице Александр стал читать деловитым, бесстрастным, как стиль самого справочника, голосом:

— Лямбда Стрелы — звезда четвертой величины, спектральный класс «жэ ноль», расстояние от Солнца — 36 световых лет 150 световых дней, с допустимой ошибкой в ту или другую сторону на 35 световых часов. Температура на поверхности на 300 градусов больше, чем у Солнца. Светимость в полтора раза больше. Масса...

— Хватит! Хватит! — замахал сухой рукой Шаблин. — Убьете меня своим профессиональным речитативом.

— Зачем вы это спрашиваете, Игорь Владимирович?

— Предлагается путешествие... Да, не удивляйтесь, к Лямбе Стрелы. Да, да, вам...

Расширяющееся от острого подбородка ко лбу, в четких морщинах лицо, тронутые сединой жесткие волосы, темные, колющие глаза... Хочется вытянуть из этих глаз упрятанную искорку, уличить в насмешке, но взгляд прям, серьезен, даже суров. С ума, видимо, спятил старик.

Александр передернул плечами.

3

Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова...

Жесточайшая война середины XX века родила радар, радар родил мирный астрономический радиотелескоп. Человек не только стал видеть Вселенную, но и слышать ее. «Уши» оказались более чуткими, чем «глаза», космос на слух охотнее открывал секреты.

И появилась соблазнительная возможность подслушать, не бросят ли сигналы жители других звездных систем. Не одна же Земля во Вселенной укачивает племя разумных существ, наверняка не мы одни создали высокую цивилизацию.

В конце 1960 года Национальная радиоастрономическая обсерватория Соединенных Штатов Америки начала «прощупывать» две звезды, очень похожие на наше Солнце, — Тау Кита и Эпсилон Эридана, удаленные от нас на одиннадцать световых лет. Но звезды молчали.

В те же годы в Москве, в Государственном астрономическом институте имени Штернберга, стали прислушиваться к туманности Андромеды.

Слышен был шум и треск мертвой природы. Казалось, люди Земли одиноки в необжитом мироздании.

Одиноки?.. Примириться? Может, где-то страдающие от одиночества разумные существа тоже слушают и ждут клича. Так возьмем роль вселенских глашатаев на себя!

На разных материках начали строить грандиозные передаточные станции, распростертые к небу антенны открыли прицельный огонь по звездам, напоминавшим паше Солнце... Откликнитесь!

Взывать и ждать отклика от звезд — неблагодарный труд. Пока-то долетит весточка, пока-то вернется ответ, пройдут столетия, а может, тысячелетия, тот, кто спрашивает, будет лежать в могиле.

И шло время. Космические лайнеры прокладывали

трассы на Марс и Юпитер, всюду искали признаки жизни. Марс разочаровал: жалкие мхи, несколько видов насекомых. В глубинах гигантской атмосферы Юпитера, в сумеречной, парной темноте, в океанах аммиака, похоже, таилась какая-то загадочная жизнь, ничем не напоминающая земную.

Шло время. Земля взывала к звездам. Звезды молчали.

И вот старейшая Серпуховская радиообсерватория получила сигналы на волне в 21 сантиметр. Аппарат принял их, равнодушно записал на ленту колючие зубцы — именно так выглядит «голос» Вселенной, знакомый и уже надоевший голос мертвой природы. Но среди тесного частотного зубцов астрономы заметили едва уловимую неправильность, какую-то робкую накладку в виде тупых выступов. Как археологи из праха откапывают черепок по черепку, чтоб потом составить старинную вазу, которая расскажет о жизни давно исчезнувшего народа, так и астрономы штришок за штришком из мусора космических шумов вылущили сигналы: выступ на ровной линии, чуть дальше — два выступа вместе, потом — три, четыре, пять... до десяти, а затем снова — один, два, три... Странные сигналы! Но странные ли? Наоборот, привычные. Именно такие сигналы посылали люди с Земли, сообщая Вселенной свою десятизначную систему как позывные...

Их кто-то вернул, кто-то произнес земной пароль.

Не все сразу поверили в этот пароль. Раздались голоса: а не отражение ли земных радиоволн, не космическое ли это эхо?

Но сигналы продолжали идти, их уже улавливали почти все радиообсерватории мира. Простые позывные и более сложные сообщения, требовавшие расшифровки.

Сомнения рассеялись: из глубин Галактики слышен был осмысленный голос. Конец безмолвию, конец одиночеству.

Голос шел из созвездия Стрелы, от звезды, помеченной на астрономических картах греческой буквой «лямбда». Она была едва видима на потном небе простым глазом, примерно так, как видна слабенькая звездочка на изгибе ковши Большой Медведицы.

Сразу же во всем мире была установлена «Служба Лямбды Стрелы».

Мгновенно родились две новые отрасли пауки — астрономическое дешифрование и лямбдоведение.

Каждый день приносил открытия: в системе Лямбды Стрелы всего семь планет, жизнь процветает только на

второй от светила. Эта планета кружится примерно на таком же расстоянии от своего «солнца», как и Земля, их год почти равен нашему, а сутки длиннее в два раза. Она заметно массивнее Земли, атмосфера ее гуще, климат немного жарче.

В сообщениях из космоса эта планета означалась двумя короткими импульсами, то есть «Вторая в системе», у людей же она сразу получила имя Коллега, ее жители — коллегнаны.

Земля слышала Коллегу. Коллега слышала Землю, но об оживленной беседе нечего было и думать. На первых порах эта беседа напоминала разговор двух глухих. Что поделаешь: ответ на вопрос приходилось ждать больше семидесяти лет!

Но ответов и не ждали, приблизительно знали, что именно должно интересовать их, а потому сообщали, что могли, как могли. Сначала посылались и принимались примитивные сообщения, год за годом они усложнялись — от десяти точек, означавших десятичную систему, до радиуса Земли, от простейших уравнений до сложных формул, объяснявших высшее строение человеческого тела. В течение первого семидесятилетия создавались независимо друг от друга два звездных языка, два кода — наш язык и язык коллегнап. В течение второго семидесятилетия эти языки постепенно сливались в один общий, объемистый, которым можно было уже передать химический состав протоплазмы и конструкцию межпланетного лайнера, свойства электронных оболочек в атомах и экономическо-социальное устройство общества.

Сейчас шло третье семидесятилетие, или, как называли, третий коллегнанский век.

Связь с планетой Коллега казалась людям фактом, подернутым вековой пылью истории. Каждый из жителей Земли родился тогда, когда голос из созвездия Стрелы давным-давно звучал, к нему относились как к чему-то обыденному.

Время от времени вспыхивала «коллегнанская мода». С эстрад можно было услышать даже песенку: «Коллегнаночку любить хочу...» Женщины носили прически «стрела в облаках», шили юбки «лямбда», мужчины брились бритвами «Коллега», тридцать шесть лет — расстояние от Солнца до знаменитой звезды — называли «небесный взраст».

Писатели-фантасты (и не только фантасты) посылали героев своих романов в гости к коллегнанам, где они учи-

лись коллегиапской мудрости, храбростью и паходчивостью спасали благородных и кротких жителей славной планеты от всевозможных космических бед. Установилось ходячее мнение, что коллегиапе отличаются необычайной добротой, миролюбием, душевной щедростью. Люди приписывали небесным собратьям то, что они больше всего ценили на Земле.

Писатели с легкостью перекидывали героев через пространство в тридцать шесть световых лет, ученые же признавали свое бессилие. Фотонная ракета! До сих пор она миф, чем дальше, тем несбыточнее. Нужны мощнейшие магнитные поля, которые бы смогли удерживать в себе, как в закупоренных бутылках, запасы антивещества, служащего топливом фотонной ракете. Хранить его в огромных количествах практически невозможно, проще устроить завод по выработке антивещества. Целый завод! И нужно как-то поддерживать специальное, размерами в десятки километров газовое зеркало, которое бы отражало лучистую энергию, иначе она превратит всю ракету в пар. А особая защита от микрометеоритов и метеоритов!.. А защита от атомов водорода, рассеянных по всей Галактике, которые, налетая на корабль, становятся колоссальным потоком космических лучей, способных мгновенно убить все живое! Словом, масса такой ракеты равнялась бы массе целого континента, даже больше, и, чтобы разогнать этот «материк» до скорости, близкой к световой, нужна энергия, намного превышающая энергию всех электростанций энергетически высоко оснащенного земного шара.

Даже среди самых отъявленных фантастов, не говоря уже о скептическом ученом мире, идея фотонной ракеты начала терять своих сторонников еще в прошлом веке.

И самая ближайшая звезда — Проксима Центавра недоступна, а что говорить о Лямбде Стрелы, путь до которой чуть ли не в десять раз длиннее!

Все это Александр Бартепьев прекрасно знал и потому не столько с недоверием, сколько со страхом глядел сейчас на Шаблпна. Что с ним?

4

то

Шаблпн спокойно встал пз-за стола, взял стул, сел напротив — колени в колени, глаза в глаза.

— Не пугайтесь, я не сошел с ума.

— Странная шутка, Игорь Владимирович.

— Это не шутка.

— Н-не понимаю...

— Для того и собраны были вы все сюда, чтобы подобрать подходящего космонавта. Выбор пал на вас.

— Космонавта?.. Ни больше ни меньше — к Лямбде Стрелы?

— Ни больше ни меньше...

Александр в смятении поглаживал висок, увиливая от пегнувшегося взгляда Шаблина, и все же старался мельком заглянуть в глубину его глаз, еще надеясь уловить насмешку.

— Фотонная ракета?.. Строилась в секрете?.. — спросил он.

— Фотонная?.. Гм... Неужели есть еще стародавние бароны Мюнхгаузены, замораживающие звук рожка, чтобы насладиться его пением на досуге?.. Нет, мы попробуем изобрести граммофон.

— Значит, граммофон изобретен?

— В какой-то степени да.

— Так на чем же я полечу?

— Верхом на радиоволнах. Удобно и довольно быстро — каких-нибудь тридцать шесть лет — и вы там.

— Ничего не пойму!..

— Собственно, полетите не вы, а вапша душа.

— Душа-а?!

Шаблин взял со стола обширный лист бумаги, протянул.

— Не догадываетесь, что это?

Весь лист сверху донизу занимала многоэтажная, со спадами и взлетами, с бесчисленным частоколом башен и контрфорсами — величественное архитектурное сооружение — химическая формула.

— Ну?..

— По-видимому, формула какого-то белкового соединения...

— Больше того, это формула клетки вашего мозга.

— Н-не понимаю...

— Как вы думаете, можем мы ее передать па Коллегу?

— Передаем куда более сложные вещи. А если б они нам передали формулу клетки мозга какого-нибудь коллеганца? Смогли бы мы создать в своих лабораториях ее живую, функционирующую копию?

От оглушающей догадки Бартеньев почувствовал дрожь в коленях.

— Вы, кажется, собираетесь...

— Да, собираемся.

— Передать клетка по клетке состав человеческого тела?

— Попадание неточное. Весь человеческий организм?.. Двадцать тысяч миллиардов клеток?.. Многолько. Да и посудите, так ли уж нужно передавать почки, селезенки, легкие, скроенные по земной мерке. Там они будут плохо служить. А нам нужно, чтоб наш посол на планете Коллега не лежал в ватке, а действовал, ездил, изучал жизнь. Нет, мы не собираемся передавать вас со всеми потрохами...

— Мозг?..

— Да, передадим только ваш мозг, ваш интеллект, вашу душу. А там пусть они всадят ее в тело какого-нибудь стройного коллегнапина.

— И это возможно?

— А почему нет? Их жизнь держится на тех же двадцати столбах, на двадцати аминокислотах. У них та же левая асимметрия...

Александр стискивал ладони коленями.

— Мозг! Но и это чудовищно много... Больше десяти миллиардов клеток в одной только коре...

— Ничего не попишешь, телеграммка получится несколько длинноватой. Не так уж и страшно. Справимся. А потом, зачем передавать все клетки, запрограммируем и передадим только то, что отличает вас, Александра Бартеньева, от всех других: ваши индивидуальные особенности, вашу память, ваши знания, привычки — все ваше без остатка, выраженное в молекулярно-химических изменениях ваших клеток.

— Что потребуется от меня?

— Только одно: натренироваться и предоставить свой мозг, чтобы мы его смогли сфотографировать со всеми подробностями.

— А потом?

— Потом эту фотографию переложим на математический код, отправим на радиостанцию, они запустят ваш интеллект в дальнейшее путешествие, так сказать, в радиоволновой упаковке.

— И я останусь с вами?

— Такой же невредимый, как и сейчас. Вас, поверьте, не убудет. Если я сниму мерку с этого стола, он не станет менее качественным.

— У меня окажется духовный двойник?

— Да, лет так через сорок, за биллионы километров, на планете Коллега.

— Невероятно!

— Но, согласитесь, удобнее путешествия не придумаешь.

— Почему именно мой мозг? Наверняка можно найти более достойных...

— Нужно, чтоб посол на Коллегу носил под своим чепцом — простите за вульгарное сравнение — обширнейшее складское помещение, куда бы мог спрятать максимум сведений о жизненном укладе, об искусствах, о науках, о привычках коллегнан. Да и с Земли в подарок коллегнанам тоже кое-что нужно захватить. Никаких записей, никаких дневников с собой не возьмешь — только память. А свойства памяти можно сохранить почти без потерь.

— Он вернется обратно?

— Разумеется. Командировка... Мы передаем, там восстанавливают, год живет среди коллегнан, с его нагруженного новыми информацией мозга снимают копию, пересылают нам, мы восстанавливаем и учимся от него живому разговорному языку коллегнан, слушаем лекции об их быте. Мы?... К сожалению, я-то, уж во всяком случае, не протяну еще семьдесят с лишком лет. Да и вам, пожалуй, трудно рассчитывать на встречу.

Шаблин встал. До сих пор его лицо было насмешливо-воодушевленным. Чувствовалось, что прославленному ученому доставляет детское удовольствие наблюдать ошарашенность Александра Бартењева. Сейчас черты лица отяжелели, в глазах пропал блеск.

— Знаете, кто самый главный враг человеческого разума? — спросил он сурово.

— Отвечают обычно: сам человек.

— Ерунда: внутрисемейные неурядицы по-семейному утрясем. Верю. Хотя я не социолог, на моей обязанности воевать с внешним врагом, с окружающей природой.

— Кто же тогда все-таки враг? — спросил Бартењев.

— Пространство! Нет ничего более неподатливого на свете.

— Как так?

— Человечество похоже на былинного богатыря, у которого высохли ноги. Чувствует силу — раззудись, рука, развернись, плечо, — мог бы показать свою удаль, а приходится сидеть сиднем на печке или ползать по горнице, в лучшем случае выползти во двор, по-стариковски погреть-

ся на солнце. Богатырю — по-стариковски!.. От дальних галактик свет идет шесть миллиардов лет, а человечество и всего-то живет какой-нибудь миллион. Более или менее разумным оно стало всего шесть тысяч лет назад. Шесть миллиардов и шесть тысяч — век горы и век однодневки. Но за свой кудрый век человечество узнало о существовании и тех галактик и о масштабах пространства, а вместе с этим узнало и горькую истину — оно приковано к своей печке. Все можем победить, но только не пространство. Чем больше будет крепнуть наш разум, тем сильнее мы станем ощущать отчаяние перед непобедимым, равнодушным, не замечающим нас врагом. Отчаяние...

В темных глазах угрюмо тлеет мрачный огонь, резкие морщины стали жесткими, неприятными. Бартеьев с удивлением разглядывал человека, страдающего оттого, что недоступно до бессмысленности сумасшедшее господство — господство над всем мирозданием. Прославленные историей великие честолюбцы Юлии Цезари, Александры Македонские, Наполеоны — жалкие щенки по сравнению с этим необузданным узурпатором, яростно сожалеющим о своем бессилии.

Шаблин протянул руку.

— До завтра... Завтра в десять утра быть у меня — ознакомлю с планом подготовки к космическому путешествию вашей души.

Бартеьев почтительно простился и вышел.

С высокого, крупитчато искрящегося сахарной белизной под ногами институтского подъезда Александр окинул взглядом плоский парк. Институт молодой, деревья, главным образом дубки, посадили недавно, все они не толще руки у запястья. Вокруг института было немного неуютно, как в необжитой квартире. В центре пестрела громадная клумба...

За парком размашисто виляла река, на темной воде крошечные, яркие, как осыпавшиеся лепестки цветов, скутера. Сочная зелень вековых уютных рощиц, солнечного цвета крыши зданий и в синем небе напористо летящий энтномонтер — водяным радужным кольцом окружили прозрачные крылья кургузое тельце этого самолета-насекомого.

Завтра начнется подготовка к полету в немыслимые занебесные тартарары. И странно, что не пужно прощаться с этой обжитой Землей.

После того как Бартеньев ушел, Шаблин включил телеэкран на столе.

Пожилая женщина с царственной осанкой, в белом халате отвернулась от аппаратуры, загромадившей стол.

— Сейчас беседовал с Бартеньевым, — заговорил Шаблин. — Приметил: он при разговоре постоянно хватается за висок. Что это? Быть может, некоторая недостаточность кровеносного питания?

Женщина спокойно покачала головой.

— Вы, Игорь Владимирович, если чем-нибудь озадачены, извините, лезете чесать затылок.

Шаблин рассмеялся.

— Осадили...

— Значит, он? — спросила женщина.

— Он. Известите об этом официально всех, кого нужно.

5

Александра Бартеньева готовили к «полету».

Нет, его не упрятывали в барокамеру, не закупоривали на недели и месяцы в тесные одиночки от мирского шума и суеты, не бросали какой-нибудь сверхмеханизированной катапульты...

В нескольких минутах ходьбы от института стоял коттеджик, на застекленные стены его напирала темная зелень густого сада — уютное гнездышко, мечта молодого человека. В нем лампы сами услужливо вспыхивали, ступеньки крыльца заботливо слизывали пыль с подметок, вешалки с поклоном подавали пальто и шляпу, и каждое утро сладчайший голос автомата «здоровохрана» произносил:

— Доброе утро. Александр Николаевич! Вы спали хорошо, пульс был нормальный, дыхание ровное и глубокое, деятельность мозга не превышала допущенного уровня. Приступайте к утренней зарядке...

Казалось, вырази Александр желание, чтоб ему почесывали перед сном пятки, немедленно бы появился автомат и исполнил все с машинным прилежанием.

Одна комната обставлена на сугубо деловой лад: кресло, стол, большой телеэкран, вмонтированный в стену, матовая доска густого зеленого цвета с набором мелков — почти не усовершенствованная правнучка классных досок, на которых когда-то дети, изнемогая от напряжения, писали: «Маша варит кашу».

Ровно в девять Александр сажился за стол перед телеэкраном и ждал, когда его посетит какой-нибудь избранный «дух». И «дух» появлялся, телеэкран мягко вспыхивал. Плотный человек с властным взглядом неумолимого подвижника, для которого ничего не существует, кроме его науки, говорил сочным баритоном:

— Здравствуйте, молодой человек. Приступим... Тема сегодняшней лекции — «Абстрактный спектральный анализ». Попрошу вас подойти к доске и изобразить мне уравнение Шредингера...

И лекция начиналась.

Каждое утро перед телеэкраном.

Рыхлая старушка, отдаленно напоминавшая по внешности гоголевскую Коробочку, великая бабушка мировой океанологии, использовавшая за свою долгую жизнь дно всех морей и океанов, сообщила о последних исследованиях морской флоры и фауны.

Профессор Эрнато Марчарелли, неистовствуя на экране, потрясая кулаками, хватаясь в отчаянии за черную, встрепанную, как только что вылупившийся, не успевший обсохнуть вороненок, голову, прочитал курс всемирной истории, бурно переживая при этом каждый социальный катаклизм.

Выдающийся архитектор Паннах, сухонький человек, застегнутый на все пуговицы, с бронзовым лицом и кротким взглядом смолисто-черных глаз, разбросавший по свету сотни городов, обрисовал кратко состояние современного зодчества.

Математики и физики, конструкторы и астрономы, химики и биологи, энергетик и экономисты, литераторы и художники — что ни имя, то громкая слава современного человечества — проходили чередой перед экраном.

К концу каждого курса лекций Александр Бартепьев беседовал со своими преподавателями как специалист.

Ничего не разрешалось записывать, все нужно только запоминать. Лик планеты в прошлом и настоящем, лик планеты и дух человечества должны были вписаться под череп.

Однажды экран не вспыхнул, а вошел Шаблин.

— Прошу прощения, что запоздал на минуту. Итак, начнем...

Он тоже был в числе лекторов.

Его лекции частенько переходили в свободные беседы. И тут Шаблин начинал говорить не о победах, а о досадном бессилии науки, которое для ученого всегда трагедия.

— Мы можем только копировать мозг. Слепо! Всякие попытки усовершенствовать нарушали неуловимую для нас гармонию. Получалась каша из нервных клеток. Мы не боги, а жалкие плагиаторы матери-природы.

— Но если умеем повторять, значит, духовный мир каких-то людей можно сделать бессмертным? — возражал Александр.

— Увы! Для того чтобы вырастить копию мозга, необходимо как основу использовать несформировавшийся мозг человеческого зародыша. То есть чтоб дать вторую жизнь кому-то, пришлось бы перебежать дорогу другому человеку.

— Повторить, скажем, такой ум, как ум Эйнштейна, — стоит пойти на это.

— Вся беда, что Эйнштейны неповторимы.

— Как так?

— При всяком подражании неизбежны малейшие потери и отклонения. Передать привычки, характер, наконец, память мы можем, даже с речительством. А гениальность, таинственную, почти неуловимую категорию мышления, — нет! Никакой гарантии, что получится второй Эйнштейн с его привычками, его характером, но не гениальный, а просто заурядно способный. Словом, на бессмертие в широком масштабе не рассчитывайте. Человечество будет прибегать к копированию мозга только в таких исключительных случаях, как забрасывание посла в недоступные миры.

— Есть ли надежда, что коллегиане раньше пришлют нам своего посла? — спросил Александр.

— Навряд ли. Некоторые данные дают право предполагать, что они отстают от нас в этом вопросе... Хотя возможно всякое... Не будем обольщать себя праздной надеждой. До них еще не дошло наше сообщение, что посылаем душу землянина. Дойдет лет через тридцать, а там они будут готовиться к встрече... Словом, трезво рассуждая, я не жду их посла раньше, чем ваш дух вернется обратно.

— Через семьдесят лет?

— Возможно, и позже. Подводит нерасторопная природа-матушка.

— Они отстают, вы сказали?

— По свежим данным. А их свежесть — сорокалетней давности.

— Не получится ли так, что бросим душу во Вселенную, как в мусорную корзину?

— Вас от этого не убудет, дружочек.
— Если б успех зависел от того, убудет меня или нет!..
— Оживет ваша душа, гарантирую.
— Даже гарантия?
— Да.
— Докажите.
— Душа-то ваша вырастет перед ними не сейчас. Через тридцать шесть лет прилетит. А это срок немалый, их наука шагнет вперед. Да еще наши данные, собственно, подсказывающие принципы материализации...

— Положим...

— Вы хотите сказать, что и это еще не гарантия?.. Что ж, допустим, и через тридцать шесть лет они окажутся невеждами. Маловероятно, по допустим. Однако данные-то будут записаны и наверняка сохранены как ценность. Пройдет еще лет десять, тридцать, сто — и рано или поздно секрет откроют, ваша душа обретет плоть. Правда, она будет старомодна немного, но даже при самых благоприятных условиях свеженькой ее не доставишь. Тридцать шесть лет путешествия — за это время мы не будем сидеть сиднем, ускачем вперед, переданные нами сведения, увы, покроются пылью.

Маленький коттеджик, упрятанный в густой зелени, стал самым маленьким университетом из всех, какие когда-либо существовали на Земле. Слушательский состав — один человек. Ни в одном из университетов мира не читало лекций столько светил. Ни в одном из университетов не было такой способной аудитории.

После рабочего дня к коттеджу подплывал лимузин. В нем сидели жизнерадостные, мускулистые ребята, они же наблюдающие за Александром врачи. Тащили на велосипедные прогулки, на греблю. По воскресеньям компанией улетали к морю — погулять на яхтах. Распорядок прежде всего. Перегруженный мозг должен отдыхать. Иначе автомат «здравохрапа» своим сладеньким голосом подымет тревогу.

6

Вечером шел с реки. После двухчасовой гребли он выкунался, холодная вода прогнала усталость.

Шагал по узкой тропинке, немного расслабленный, счастливый тем тихим, бессмысленным, почти биологическим счастьем, у которого нет иной причины: ты живешь, и тебе в эту минуту ничего больше не надо от жизни.

А вечер был темный — сказывалась близость осени, — и горели крупные косматые звезды. Среди них, нарядных, тянет свой долгий звездный век звезда Лямбда, галактическая старушка, еле видимая отсюда из-за своей ничтожности.

И не хотелось думать о неприветливой Вселенной с затерянными в холодной пустоте сгустками бушующей плазмы, жидкими разливами туманностей, сплывшими планетами, перегретыми чужими солнцами. Чего тебе не хватает на Земле, человек? К чему вся Вселенная, когда лучшего рая, чем твоя собственная планета, ты не найдешь?

И пугливо трогал ветерок лицо, и с обескураженным шепотом падал в кроне берез одинокий лист-неудачник, не дождавшийся листопада. И было немного печально и хорошо на душе, и как ни хорошо, а чего-то не хватало.

Тропинка подымалась по склону холма. Это был суровый и голый холм. Пыльный, угрюмый старик среди цветущих садов, зеленых рощ и тучных полей — место, отданное современниками прошлому.

Почти каждый вечер проходил Александр по этому холму. На его вершине, осевший в землю, торчком стоит изъеденный временем тупой каменный обелиск. На нем выбита пятиконечная звезда и старинным шрифтом вырублены три фамилии:

Рядовой ОСИПОВ П. Н.

Сержант КУНИЦЫН А. А.

Младший лейтенант СУКНОВ Г. Я.

Ниже надпись:

*Пали смертью храбрых
в боях за Советскую Родину*

И Александр представил себе то далекое время: была зима, и в мерзлой земле темнолицые, обмороженные мужчины вырубали своими примитивными инструментами могилы, закидывали окоченевшие тела Осипова, Кунцына, Сукнова, убитых другими людьми. Жутко и без причины стало почему-то стыдно перед этими предками, закопанными в мерзлую землю. Стыдно за себя, не знающего, что такое голод и холод, что такое боль тела, развороченного грубым куском стали. Стыдно перед теми, о которых ска-

заны эти варварски гордые слова: «Пали смертью храбрых».

Он не спеша поднялся.

Сверху, от старинного камня, донесся голос.

Этот голос был чист и ясен, а слова тяжелы и жестоки, как слова на старинном надгробии.

Женский голос в глухом месте, в навалившейся ночи читал:

Привыкли мы, хватая под уздцы
Играющих коней ретивых,
Ломать коням тяжелые крестцы
И умирять рабынь строптивых...

Старинное стихотворение — стихийная, необузданная мощь, угловатая, все презирающая гордыня, бесстрашный призыв жестокого человека к жестокости. Старинное стихотворение — строчки, оставляющие незаживающие раны.

Мы любим плоть — и вкус ее, и цвет,
И душный, тяжкий плоти запах...
Виповны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
В тяжелых, нежных наших лапах?

Чистый, ясный и безжалостный голос.

Александр подошел...

Стиснутая ночью, невянятно белела узкая девичья фи-гурка. Александр сделал еще шаг вперед, и голос смолк.

В черном небе чиркнула падающая звезда. Они часто падают в это время. Тихо...

И девушка шарахнулась в сторону.

— Не бойтесь! Я не восставший из могилы.

Она остановилась.

— Кто здесь? — Голос придушен страхом, бледный го-лос.

— Человек, как и вы...

— Догадываюсь.

— Можно подойти? Не убежите?

— Попробуйте.

Он подошел.

Ночь смыла с ее лица все черты, темнели только глаза.

— А я вас знаю,— сказал Александр.

— И я вас...

Девочка-лаборантка. Это она пригласила его на первую беседу с Шаблиным.

— Откуда эти стихи?

— Из книг...

— Я их не знаю.

— Разве что-то знать — только ваша монополия?
— В таком месте — и такие стихи!
— В другом они так не звучат... Проводите меня, я боюсь.

И они пошли бок о бок. Хрустел песок под ногами, от ее тела, затянутого в тонкое платье, тянуло теплом, и в темноте был виден ее профиль, загадочный, древний, библейский в эту минуту. Смутной влагой блестели большие выпуклые глаза.

А над головами лениво жила Вселенная, поеживались звезды, вколоченные в знакомые созвездия. И упала звезда — острый, сильный росчерк заблудившегося метеорита. В ее глазах мелькнул колючий отсвет.

— Как сабля... — обронила она тихо.

— Что? — не понял он.

— Сверкнул, как сабля... «И ханской сабли сталь...»
Какие сильные и страшные люди жили прежде! Мы теперь больше надеемся на свои сильные машины, и в нас самих сила умирает за ненужностью...

Ее слова были не новы, они гуляли по свету как сомнительное утверждение: «Человек становится тепличным».

Такие утверждения когда-то питали человеконенавистнические теории: сила воспитывается в столкновениях; с прекращением войн у общества отнят такой решающий стимул развития, как внутривидовая борьба... А общество развивалось, преобразовывалась планета, заселялись океаны, шло освоение солнечной системы, жизнь опрокидывала теории, перечеркивала эти слова.

Но сейчас Александр не возражал: ночь, девушка, дух предков — какие тут теории! И самому хотелось бы стать грубым, «ломать коням тяжелые крестцы и усмирять рабынь строптивых».

— А они умели не только пугать, — произнесла она. — Они умели быть нежными... Не помните?..

И она тихо-тихо стала читать:

Имя твое — птица в руке,
Имя твое — льдинка на языке,
Одно-единственное движение губ —
Мячик, пойманный на лету,
Серебряный бубенец во рту...

Как налетевший дождь, прошумел с глухой тревогой тихий голос и оборвался.

Нет, он не помнил... Память его, прославленная по всему миру память, много прекрасного не увезет с Земли, мно-

го такого, чем можно гордиться. Богаты минувшие века, всего не захватишь.

— А как ваше имя? — спросил он.

— Галя...

И тем же голосом под дождевой шепот:

Камень, кинутый в тихий пруд,
Вхлипнет так, как тебя зовут...

Они стали встречаться. Ей было семнадцать лет, год назад перешла из школы в институт, работала и училась, готовилась стать биологом, старая русская поэзия — просто увлечение.

А липовые рошцы осветились призрачно-лимонным светом, а дубки в институтском парке стояли в ржавом наряде, молоденькие, неокрепшие, но уже солидные, себе на уме, как мужички из сказок.

Над рекой был переброшен паутинный мост. Сверху видно было, как на черной воде корчится от усилий лупа — холодное, жидкое золото, — корчится, рвется и не может сорваться. Прикована.

Он смотрел и думал, что человеческая мысль похожа на это лунное отражение. Неистовствует, рвется вперед, хотя бы во враждебные глубины космоса, где господствует один лишь неприветливый бог — Пустота, облаченный в нищенские лохмотья материи. Сорваться вперед, в неведомое будущее! И постоянно неоправданное недовольство настоящим, даже если это настоящее приветливо, как сама Земля, укутанная синим небом.

В яркие лунные ночи Лямбда Стрелы была почти не видна на небе.

В лунные ночи рядом с Галей он забывал о своей миссии.

Она читала стихи, а он сразу запоминал их. Если и декламировал, то повторял даже ее интонации.

В полночь они шли знакомой тропой мимо обелиска. Она клала луговые цветы к камню. И это она делала со строгим и значительным лицом, словно исполняла жертвоприношение. Все-таки она была чуточку по-девичьи сентиментальна.

Там, где начинается институтский парк, они прощались. Он целовал ее, на губах после этого оставался чистый, молочный привкус. Потом стоял и слушал ее легкие, пугливо гложущие в ночи шаги. И охватывала грусть пополам с радостью: ушла, но завтра-то снова встретятся... И никуда он не улетит, не расстанется с ней...

Он спешил к ней, подпрыгивая от нетерпения на каждом шагу.

На мосту темнела одинокая фигура. Ждет! Уже! Александр рванулся и, вбегая на мост, замер. Стояла не она, кто-то другой.

Этот кто-то шевельнулся ему навстречу.

— Не правда ли, чудесная ночь?

Привалившись к шатким перильцам, стоял Шаблин.

Александр молчал.

— И луна, и звезды, и журчанье воды... Вы, надеюсь, не откажете в любезности побыть со мной несколько минут?

— Да... Конечно...

— Луна, звезды, покой, дремота... Как говорили в старину: «Душа бога слышит...» Помолчим, повздыхаем... Вы что-то оглядываетесь? Вы кого-то ждете?

— Нет... Впрочем, да, жду.

— Напрасно.

— Что?

— Я сказал: напрасно.

— Что-нибудь случилось, Игорь Владимирович?

— Просто она не придет сегодня.

Александр молчал, уставившись в притаившиеся под бровями глаза профессора.

— Не придет. Ни сегодня и ни завтра...

— Что это значит?

Шаблин крепко взял его за локоть.

— Вам никогда не приходилось болеть странной болезнью — ностальгией?

— Что с ней случилось?

— С ней — ничего, а вот с другим человеком могут случиться неприятности.

— С каким человеком?

— С пим.

— С кем — «с пим»?

— С Александром Бартеньевым помер два, который оживет на планете Коллега.

— Ну, знаете!..

— А вы все еще не принимаете его в расчет? Он для вас только лишь отвлеченный научный эксперимент?

— Считать его человеком?.. Мисс? Сейчас?

— Себя-то вы считаете...

— Не могу представить.

— А все-таки представьте. Он будет таким, как вы, точно таким. С вашим умом и с вашей впечатлительностью.

А теперь представьте себе, что вы оживаете в чужом мире, среди непохожих на вас существ, по духу непохожих. Мало того, вы будете понимать, что никогда не встретите ни отца, ни мать, ни сестер, ни братьев. Ведь в то время, когда вы вернетесь обратно, все они будут лежать в могилах. Любовь, привязанности — все умрет. Забытый странник без родины. Вам это нравится? Вам не хочется за это попросить у него прощения?

— Да его же нет! Быть может, не будет совсем. Если и будет, то через сорок лет!

— Для вас — сорок. Для нас с вами. Для него — вчера.

— Но чем я мешаю, если встречаюсь?

— Очень сожалею, что я не успел поменаться, узнал с опозданием. Не усугубляйте: чем дольше это будет продолжаться, тем страшнее. Оборвем сейчас!

— Страшнее?.. Не пойму.

— Лунные ночи, вздохи, нежные взгляды, маленькое божество и большая любовь. Он все это увезет с собой; сорок лет спустя он будет это помнить, как будто бы случилось вчера. И будут глотать мысли, что маленькое божество никогда не встретится, превратится в дряхлую старуху. Убийственные мысли для человека, напрочь оторванного от родины... Перед тем как передать второму «я» все свое, — влюбиться! Может, вы еще медовый месяц проведете?.. Давайте удесятерим впечатление земного счастья, память о котором он увезет с собой. Удесятерим, чтобы страдал от постаньгии, отчаивался от невозвратной потери, чувствовал себя несчастным. А нам нужен энергичный, полный сил посол, не растравленный хлюпик. Не скрою, беспокоюсь за эксперимент, но мне его и по-человечески жаль. Пожалейте и вы. Пожалейте, как самого себя.

— Что я должен сделать?

— Выбросить из головы милую девушку.

— Не могу!

— Должны смочь!

— Не волен в этом...

— Представьте, что вы сами летите. Сами!

— Я все понимаю.

— Не имеете права на такую роскошь сейчас.

— Понимаю... И все-таки не могу.

— Вы с пей не встретитесь.

— Как так?

— Ее здесь нет, не пишите. Сегодня утром по моему приказу улетела.

— Ссылка? Арест?

— Называйте как хотите.

Александр молчал.

— Подумайте, взвесьте и постарайтесь не обижаться на меня... До свидания.

Шаблин кивнул головой, прямой, со вздернутыми плечами, стал спускаться к берегу.

Александр долго стоял, поглаживая пальцами висок.

Плясала луна на воде, пришепывала река, пресно пахло осокой, тронутой осенним тлением.

7

Зима, весна, лето — снова липовые рожицы залиты пронзительно-лимонным светом, и снова снег, и, наконец, зацвел северный анельсин за окнами коттеджа.

Александру обрили голову. Когда гляделся в зеркало, казалось, что его макушка пускает солнечные зайчики.

Появился Шаблин не в обычной куртке, мятых брюках — черный, торжественный костюм, начищенные ботинки, сам он замкнут и величав, словно юбиляр перед приемом высоких делегаций.

— Пошли, — скупно сказал он и озабоченно оглядел бритую голову Александра.

Умеренно большой зал, залитый с потолка мягким зеленоватым светом. В этом зале, как в аквариуме, бесшумно плавали люди в белых халатах. Шаблин среди них в своем черном костюме — мудрый ворон, такой же чужой и, казалось, такой же обреченный, как Александр.

Он подвел Александра к круглому столику, выбросил на его плечо сухонькую, легкую руку, властно пажал.

— Садись. Сейчас будет все готово.

Люди бесшумно двигались, словно исполняли слаженный танец.

На столике перед Александром почему-то стояла рюмка.

Александр оглядывался.

— Я тебе рассказывал обо всем этом устройстве. — Шаблин сегодня впервые обращался к нему на «ты».

Александр кивнул бритой головой.

— Знаю.

Посреди комнаты, как трон, массивное кресло. Над самым креслом с потолка свисает предмет, похожий на хромированную чашу с раздутыми толстыми стенками.

Углубление в этой чаше специально подгонялось под череп Александра. Он сядет в кресло, чаша опустится на голову... Она — чувствительнейший экран, вернее, много тысяч тончайших экранов, один над другим, как слоеный пирог. Это своего рода объектив, способный проникать в глубь мозговых клеток.

А где-то за стенами зала ждет молекулярное запоминающее устройство. Чаша-объектив передает каждую клетку, каждую молекулу в клетке мозга Александра на этот аппарат, и он запоминает. Он станет электронной копией мозга, точнейшим фотографическим негативом, по негативом не проявленным.

И если б человек стал «проявлять» этот негатив, клетку за клеткой, то прошло бы не одно столетие, поколение сменялось бы поколением, пока кропотливый труд был бы закончен. Электронную копию мозга станут допрашивать счетные машины по строгому плану с машинной недантичностью и скоростью многих тысяч операций в секунду. Одни машины — подсчитывать, другие — обобщать: одинаковые клетки — под одну рубрику, изменения, исключения — на заметку... Компактные математические выводы опять же машинами шифруются особым кодом на пленку, которая поступит прямо на астрономические радиостанции.

Человек только даст толчок, а дальше все станет делаться без его вмешательства. Человек даже при желании ничего не сможет изменить, усовершенствовать, как фотограф, проявляющий фотоснимок, не в состоянии изменить сфотографированное изображение.

Все это Александр знал. Знал он и то, что само по себе «фотографирование» мозга в общем не сложная операция, она займет от силы минуту. Сложен процесс «проявления» и обработки.

— Мы готовы, — раздалось в стороне.

На пульте управления призывно мигал глазок.

Шаблин пододвинул к Александру рюмку.

— Выпейте.

— Что это?

— Ничего особенного. Средство, возбуждающее нервную деятельность, главным образом коры головного мозга. Выпейте и почувствуете, как «прочистит мозги».

Александр выплеснул содержимое рюмки в рот, сморщился — не амброзия.

— К креслу!

Он встал и уже через пять шагов, пока шел к креслу,

почувствовал какую-то кристальную, праздничную ясность в голове, движения стали четкими, скупыми, легкими.

Стоявшие вокруг кресла люди, само кресло — белое в зеленъ при зеленоватом освещении, — крупные контакты, провода, чаша, свисающая с потолка, словно рефлектор лампы над операционным столом, — все замечалось с особенной остротой, все имело свой значительный, потайной смысл.

Его усадили, обнажили запястья, грудь, прикрепили контакты. Умелые, тренированные руки хозяйничали над его телом.

У пульта управления стоял мужчина, на зеленоватобледном лице — суровые брови. Он глядел пристально на Александра, а рядом с ним на пульте продолжал призывно мигать глазок.

И Александр подумал, что эти брови, этот мигающий глазок — последнее, что увидит, что запомнит, что увезет с Земли его двойник.

— Есть! — раздалось над ухом.

На голову сверху плотно легла чаша, ее прикосновение было нежным и теплым, как материнская ладонь.

— Есть!

Из-под бровей, вскинутых как птичьи крылья в полете, — пристальный взгляд.

И тут потух свет — полный мрак, полная тишина. Сердце слишком громко стучало в груди.

Что-то щелкнуло. В темноте вспыхнул глазок. Он не мигал, он горел в темноте, словно маленькая луна.

А вслед за этим по комнате разлился свет. Умиротворяющий, зеленоватый, окрашивающий лица людей в бледный, потусторонний цвет. И все засуетились, громко заговорили, кто-то сказал над ухом:

— Поздравляю вас.

И снова умелые, быстрые руки забегали по телу, отстегивая контакты. Обнимавшая голову чаша поднялась, стало холодно голове, словно снял меховую шапку.

— Можете встать.

Александр легко поднялся, соскочил на пол. Человек с разметаанными бровями подошел, зачем-то ласково взял под руку, повел к столику, за которым, сгорбившись, сидел Шаблин. У столика Александр почувствовал усталость, ноги стали ватными.

— Ничего. Реакция после возбуждения. Составчик-то крепенький! — Шаблин ткнул рукой в пустую рюмку. — Через полчаса все пройдет. Усадите его.

Александр опустился в кресло. В зеленоватом свете, заполнявшем комнату, поплыли оранжевые пятна, похожие на спокойный глазок — маленькую луну.

Минут через двадцать он очнулся.

— Кажется, я в состоянии встать.

— Не спешите. Посидим еще,— сказал Шаблин.— А у меня вам подарок...

Тяжелая дверь мягко распахнулась. Солнце ослепило. Он шагнул вперед... Шагнул и замер. В светлом кремовом платье, оттенявшем смуглое, в легком загаре лицо, стояла Галя, прижимала к груди букет цветов.

Кругом были люди, собравшиеся со всех концов института посмотреть на того, чей мозг был только что сфотографирован для небывалого звездного путешествия. Посмотреть на того, кого из века в век станет вспоминать история.

И они не обнялись. Он лишь взял ее под руку и повел через просторный двор, мимо людей. Галя послушно шла, зарыв подбородок в цветы.

8

Шаблин им сказал:

— Уезжайте, здесь не отдохнете: заедят корреспонденты. Я знаю один райский уголок, где можно спрятаться... Возьмите с собой аквалапги.

Райский уголок...

В глуши Тихого океана, далеко в стороне от крошечной группы островов, когда-то торчали из воды рваные черные скалы — макушка давным-давно потухшего вулкана. Быть может, в течение столетий не раз буря заносила к нему случайные корабли, люди видели этот крохотный островок и равнодушно забывали... Несколько толстых кустов, чудом выросших на камне, несколько десятков ящериц, тоже бог весть как попавших на этот жалкий осколок суши. До середины XX века этот островок не появлялся на морских картах, да и после он долгое время значился как риф, который следует обходить стороной.

На нем не было пресной воды.

Но в конце концов люди и его прибрали к рукам, установили электростанцию и агрегат-опреснитель, прозрачные ручьи потекли по скалам, скалы заглянулись зеленой, не какой понало, а избранной: цветы и полезные травы, кокосовые пальмы и хлебные деревья, декоративные ку-

сты и фруктовые насаждения. Павлины спесиво носили хвосты, полыхающие всеми цветами радуги, доверчивые лапы паслись в живописных камерных долинках — воистину райский уголок.

О его существовании знали немногие, только те, кто время от времени хотел уединения.

На острове коротала свой век чета стариков, сморщенных, темнолицых, курчавых. Их сыновья и дочери давно разлетелись по свету, один из них работал в Институте мозга. Старики командовали автоматами, заботились, чтоб стол для гостей был разнообразен, чтоб комнаты сверкали чистотой.

Оглушающая тишина, узкий мирок, тесные границы, но эти границы разрывались, когда на лицо натягивались маски аквалангов и море смыкалось над головой. Коралловые сады, пестрые рыбы и ртутно-тяжелый потолок воды, о который вдребезги разбивается потустороннее солнце. Можно уплыть на десятки километров, открывать страшные провалы, на дне которых вряд ли опускались смельчаки, вынимать из расселин скал жестких лагустов, стрелять из примитивных ружей по тупцам, заигрывать с пощепячи жизнерадостными дельфинами.

Александр и Галя с утра до вечера пропадали в океане.

По утрам аппарат фотопочты выбрасывал на столлик только что принятые по радио газеты и воскресные журналы. Обложки этих журналов были украшены портретами Александра — бритая голова, широкие скулы, почему-то сонливо-отсутствующий взгляд. Известные поэты посвящали ему стихи, в только что выстроенных городах улицы назывались его именем. Командиры лайнеров из космоса присылали ему поздравительные радиogramмы. «Покоритель космоса помер один, звездный Гагарин» — не шутя...

Александр был не прочь оставить тихий остров вместе со всем Тихим океаном, окунуться в шумиху. Но Галя читала газеты с неодобрением.

— Подвиг? Да? А ведь ты к этому подвигу не имеешь никакого отношения.

И тащила его в очередное подводное путешествие.

А где-то за тысячи километров отсюда шло другое путешествие по неоткрытому матерiku, площадь которого не превышала каких-нибудь двух с половиной квадратных метров. Шло путешествие по коре головного мозга Александра Бартењева. Днями и ночами, ни на минуту не останавливаясь, лихорадочно работали счетно-электронные ма-

шины: каждая секунда — сотни тысяч операций. Кусочек за кусочком, клеточка за клеточкой открывался и исследовался необъятный материк.

Машины работали, люди терпеливо ждали результата. Александр ждал весточки от Шаблина.

Однажды они плыли вдоль края пропасти. Словно окисленные, зеленые корявые скалы стремительно скатывались во мрак, таинственный и угрюмый, — океанская преисподняя. Над черной бездной летали рыбы стаи, иногда в глубине мелькало какое-то светлое пятно — и там была жизнь...

Они плыли дальше и дальше, а конца пропасти не видно. Казалось, в этом месте земля раскололась пополам до самого центра. Александр пытался остановить Галю: вернемся, пора. Она отмахивалась.

Наконец дно начало уходить вниз, унося вместе с собой окисленные скалы и страшную пропасть. Да и вода над головой стала темнеть: близок вечер. Плыть вперед бессмысленно.

А Галя плыла и плыла. Сгустился мрак внизу... Он нагнал ее, обхватил ее талию, пошел вверх...

Перекачивались пологие волны. Красное, плоское — раскаленный блин — солнце садилось в них. И багровые отсветы облизывали темные волны, и все еще стояла перед глазами оставленная внизу мрачная пропасть, расколовшая планету пополам, и не видно острова. Волны, волны, перекидывавшие друг другу холодное и багровое пламя уставшего солнца. И казалось, что попали в первобытный океан, в нем нет ни кусочка протоплазмы, из которой бы могла выпестоваться первая клетка, прапрабабушка всего живого. Они вдвоем. Они лицом к лицу с первобытным океаном и неизбежно тонущим солнцем.

Александр нажал кнопку на запястье, вскинул вверх руку. Аварийный аппаратик заработал, разбрасывая тревожные радиосигналы.

А через пятнадцать минут, скача с волны на волну, помигивая ослепительным маячком, подлетел спасательный катерок. На нем не было людей, он самостоятельно нашел заблудившихся в океане.

Они взобрались на него, когда солнце спряталось, оставив на небе скупое закатное зарево.

В темноте на берегу их встретил старик.

— Далеко заплыли? — спросил он буднично.

— Черт те куда...

— Ничего, случается... Случается, заплывают и дальше. Никто не потерялся... Давно уже люди не теряются.

Старик, позевывая, отправился спать.

А Галя проводила его шалым, остановившимся взглядом и вдруг сказала:

— Уедем завтра отсюда.

— Почему? — удивился Александр.

— Улетим скорей... Не хочу.

Уже в комнате перед сном она призналась:

— Мне кажется, что вокруг нас жизнь понарошку.

— Как так? — не понял он.

— В прошлом, чтоб съесть кусок хлеба, человеку нужно было вырубать лес, корчевать пни. Самому, своими руками вырубать и корчевать. Мы даже не знаем, как это тяжело...

— Есть чему завидовать!

— Не знаем тяжести труда, но не знаем и радости отдыха после такой работы. Не знаем, как вкусен этот кусок черствого, грубого хлеба. Недоступно нам!.. А путешествия?.. Для того чтобы добраться от Москвы до Дальнего Востока, нужно было стать героем: шагать сотни километров пешком, почевать в снегу у костра, мерзнуть, голодать... От Москвы до Дальнего Востока... А теперь путешествие, присниться не может, куда-то к дьяволу в зубы за тридцать шесть световых лет! И этот путешественник нежится у моря, ловит лангустов, читает по утрам газеты о своем подвиге, спит в мягкой постели!

— Разве это плохо? Не пойму тебя.

— Мне хочется попадать в кораблекрушения, открывать необитаемые острова, где нет услужливых автоматов, тонуть и выплывать, голодать и выживать, глядеть смерти в глаза...

— Брось институт, поступай в экспедицию, улетающую на какой-нибудь спутник Юпитера — там тебе и смерть в глаза, и уж такие необитаемые острова среди космоса, о каких твои предки и помыслить не могли. Настолько необитаемы, что не встретишь простейшей бактерии.

— Смерть в глаза... А спят-то они все равно в мягких постелях, в комфортабельных каютах, а на необитаемые острова привозят механических лакеев; если и настигает их смерть, то борются с нею не они сами, собственными руками, а их машины... И умирают они большей частью от какого-то незримого облучения, не с пистолетом в руках, а на больничной койке от неудачной пересадки костного мозга.

— Странно, почему-то во все времена люди тянулись к романтике вчерашнего дня. Древние греки в самые счастливые для себя годы боготворили старину, называли ее золотым, безвозвратно ушедшим веком. Во время транс-океанских кораблей и пассажиров турбовинтовых самолетов пускались в плавание на первобытных плотах или же строили каравеллы Колумба, чтоб на них подплыть под сень небоскребов. Очнись, Галя! Что может быть романтичнее этой минуты? Я раздвоился, мне подарены две жизни. Одна покойная, другая невероятная — сплошное приключение. Где будни, а где героическая романтика — попробуй разберись, все смешалось! Плакать о том, что, увы, миновали чудеса прошлого, когда этих чудес куда больше приготовлено для нас в будущем. Плакать о прошлогоднем снеге!

— А все-таки мне жаль трудной молодости человечества,— упрямо повторила Галя.

— А мне жаль, что не смогу прожить еще тысячу лет.

Утром маленький энтомоптер, самолет-насекомое, снял их с острова.

В ближайшем аэропорту они пересели на межконтинентальный лайнер. Пассажиры уже в полете узнали Александра Бартеньева, оглядывались, кто посмелее, подходили, выражали восхищение, трясли руку. Александру же было совестно. Возражения Гали он считал минутной причудой, но все-таки — как не признать! — подвиг достается ему слишком легко. И слишком много о нем шутят.

Во время полета возле его кресла раздался мягкий гудок радиотелефона. Вызывали с земли.

— Алло! Сынок! — слышался голос Шаблина.— Очень хорошо, что ты летишь. У нас уже все готово.

9

Отпечаток «души» выглядел внушительно. Шесть могучих грузовых машин подкатили к кибернетическим корпусам Института мозга. Их до отказа забили пластмассовыми коробками с лентами. Каждая из этих коробок была строго пронумерована.

Шесть машин, шесть сухопутных кораблей — они могли бы за один рейс увезти разобранный по блокам любое здание института. Но сейчас везли только закодированный мозг, тот мозг, который носит под черепом, не ощущая его тяжести, Александр Бартеньев.

Машины мчались к аэропорту. Следом за ними скользил лимузин. В нем сидели Шаблин и Александр.

Четыре транспортных самолета ждали необычный груз. Они должны взять курс в разные концы земного шара, к четырем самым мощным передаточным астрономическим радиостанциям.

Шаблин решил лететь вместе с грузом на ту радиостанцию, которая первой начнет передавать необычную информацию к далекой звезде Лямбда Стрелы.

Высокие горы прижали к морю небольшой южный город — белые дома захлебнулись в зелени. У моря пляж, как цветник, пестреющий яркими тентами.

Горы наверху лысые, кое-где дыбятся старчески сморщенное чело отвесных скал. В одном месте скала поставлена на попá, издавна она носит название «Перст дьявола». Снизу, с улиц уютного курортного городка, с пляжа, эта скала действительно напоминала палец, с укоризной поднятый в небо. На самом деле палец высотой в добрых восемьсот метров. А несколько лет назад на нем расцвел серебристо-розовый цветок, его сетчатая тень покрывает не только весь палец, но и часть горы.

Жители города зовут его «Мальвочка», при виде вздыбленных гор нельзя к нему относиться иначе как панибратски, снисходительно. Только словно невзначай оброненный домик у подножия цветка, робкое белое вкрапление среди камня, заставляет задумываться о размерах «Мальвочки». В ее розетке мог бы поместиться стадион на сто тысяч зрителей.

Это одна из четырех радиостанций, а сам цветочек — зеркало гигантского радиотелескопа, способного забрасывать сигналы в самое сердце Галактики.

Начинался вечер, город внизу тонул уже в сумерках, там кое-где зажигались редкие огни, а здесь скалы занекались в последних лучах солнца.

Над головой, загромождая почти все небо, висело сплетение легких балок и перетяжек, чудовищный ажурный хаос — так выглядела вблизи «Мальвочка». Она была повернута к горизонту, ждала появления неприметной звездочки. одной из тысяч различных звезд — Лямбды Стрелы.

Старший по станции, смуглый, жгуче-черный человек с горбоносым острым профилем и необузданным темпераментом южанина, хлопая себя по ляжкам и бокам, повел Шаблина и Александра к лифту.

— Все готово! Все готово! Прошлой ночью послали

сигналы: начнем передачу через двадцать часов. Осталось десять минут. Ах, великий день! Великий день!

В круглом зале, похожем на диспетчерский пункт электростанции средней руки, старший не выдержал и, как спринтер, помчался по кругу, обнюхивая на ходу приборы.

— Все в порядке! Ах, все в порядке!

Ленты вставлены в аппаратуру, механизмы настроены на задание, проверять нечего, но кипучая натура старшего жаждала деятельности.

Неожиданно он споткнулся на бегу, застыл с трагическим лицом.

— Три минуты! Всего три минуты осталось!

Шаблип спокойно подошел к круглому, как выпуклый иллюминатор батискафа, окошечку. За толстым стеклом тянулась зеленая, дышащая полоска.

— Начали! — возопил старший.

Зеленая полоска подпрыгнула, заплесала. Заприплясывал на месте старший. Поеживаясь, с мученическим выражением черных глаз он зашептал Александру:

— Позывные. Понимаешь?.. «Коллега!», «Коллега!» — вот что передаем...

Шаблип взглянул на часы, бросил значительно:

— Две секунды!

— Ха! Каково? За орбиту Луны перескочили, — подпрыгнул старший.

В распахнутых глазах хозяина станции разлитые зрачки, в них восторженный ужас.

— С Земли подымает голову змей! Понимаешь? — Срывающийся от волнения шепот: — Великий змей! Он будет расти целый месяц. Целый месяц со скоростью трехсот тысяч километров в секунду. Каково? И этот змей — ваш мозг. Ах, черт возьми! Ваш мозг!..

Минутное молчание. Плясала за круглым толстым стеклом голубовато-зеленая нить, окоченевшие стрелки приборов склонились вправо. Вокруг стояла тишина, всеобщая бежающая, величественная, гордая тишина, какая бывает только среди гор, вдали от людской суеты. И не верилось, что над их головами плещет в небо обильная река радиоволн — здесь ее исток, здесь берет она свое начало в черную бесконечность.

Старший на станции не выдержал тишины:

— Сейчас сигналы: «Чрезвычайно важно! Чрезвычайно важно!» Через тридцать шесть лет там, на Коллеге, вздрогнут от них. Ах, великая минута, дорогой мой!

— Две минуты пятьдесят секунд! — сообщил Шаблип.

— Марс! Наши позывные проскочили орбиту Марса! Понимаешь?.. Но не-ет, не скоро они еще выберутся за солнечную систему. Не скоро! Мы за это время, во всяком случае, успеем не торопясь распить бутылочку доброго вина...

Людям нечего было делать, автоматы сами передавали текст с запущенной ленты. Их работа надежнее, чем если бы за такое дело взялся этот импульсивный человек.

И потому Шаблин, отстранившись от приборов, сказал:

— Бутылочку доброго вина?.. Дело. Обмоем.

— А какое вино! А? Какое вино!.. Я вам не подсуну имитацию старости. К черту чудеса химии! Настоящее старое вино!.. Его, быть может, закопали мои предки, когда полетел Юрий Гагарин. А?..

— Ну уж...

— Хорошо, не Гагарин. Пусть нет. Когда первый человек ступил на Луну, устраивает?.. Опять не верите?.. Ну, хорошо, немного позднее, но только немного. Головой ручаюсь.

Они спустились вииз.

Вино было действительно очень хорошее, впрочем, Александр не особенно разбирался в старых винах.

Через шесть часов первые радиосигналы достигли орбиты Плутона, последней планеты в солнечной системе.

Примерно в это же время «Мальвочка» перестала посылать сигналы. Эстафету перехватила вторая радиостанция, находящаяся в Атлантике. Для нее взошла на небосклоне звезда Лямбда Стрелы.

Через шесть часов возьмется за передачу третья станция, потом четвертая, снова придет очередь сигналить «Мальвочке»...

Не прерываясь ни днем ни ночью, эта передача будет длиться месяц с лишним. Секунда за секундой станет расти от Земли в космос великан, сотканный из радиоволн.

Уже его голова за пределами солнечной системы, а тело еще не родилось, хвост появится через месяц. А там короткая передышка — и снова повторение от начала до конца. Для контроля, для гарантии, чтоб ничего не было упущено.

И еще одна контрольная передача... И еще... И еще...

Обстоятельно, не спеша будет отрываться двойник «души» Александра Бартеньева от Земли, которую в веках называли брэнной. И этот двойник человеческой души окажется таким же необъятным и величественным, как и все космические явления.

Шаблин в этот день решил отдохнуть. Он и Александр купались в море, жарились на пляже, толкались по городу, обедали в курортных столовых, не спешили вылететь обратно.

Вечером в углу парка им удалось занять столик.

Столик-автомат, как скатерть-самобранка, угощал их освежительными напитками, местный городской оркестр любителей — танцевальной музыкой, а море, мягко шумящее внизу под дамбой, — прохладным ветерком.

— Что еще надо в жизни? — Шаблин сидел размякший, довольный, в сорочке с расстегнутым воротом; узкое лицо, тронутое за день загаром, разглажено. — Что еще надо? А?

— Быть может, музыку получше? — подсказал Александр.

— Только не это! Живо поставят какую-нибудь ультра-радиолу. А ты погляди, как стараются! Одно удовольствие. Вот та девочка со скрипкой — носик в поту. А их шеф!.. Зачес под Бетховена, а руки длинные, деревянные, никак не сладит с ними. Прекрасен род людской в своей наивной самоуверенности повторить великое.

В другом месте на них давно бы уже обратили внимание. В другом месте, но не в этом курортном городе, где, как в солидном аэропорту, люди меняются каждый день, каждый час, прибывают и улечиваются, внезапно возникают и, не успев проявить характера, растворяются в небе. В таких текучих муравейниках притупляется привычка присматриваться друг к другу.

Убивают время два субъекта — молодой и пожилой, — благодушный дядюшка в непрезентабельной мятой рубашке и почтительный племянник с франтовато короткой прической а-ля звездный космонавт — мир им в их скромном уединении.

За соседним столиком тесная компания, не слушающая трудолюбивую музыку сборного оркестра любителей, шумно спорит. И конечно, спор идет о «душе» Александра Бартеньева, которая сейчас отправляется в путь к планете Коллега. И конечно, среди других раздается решительный ораторский глас, отстаивающий свою, сугубо «оригинальную» точку зрения.

— Для чего живет человек? Черт возьми! Нельзя же из века в век увиливать от этого саднящего душу вопроса. Для чего?! Не украшайте идеалистическими коленцами, и тогда ответ прост: живет, чтоб жить, чтобы существовать! Только для этого, никакой другой сверхвысокой цели

нот, выдумки! А для того чтобы жить безбедно, по возможности счастливо, вовсе не надо рваться куда-то в преисподнюю, к Лямбдам, Дельтам, Альфам, Вегам. Наоборот, нужно все силы бросить на устройство того насиженного места, где ты живешь. Еще не все довольны жизнью на планете, еще солнечная система не до конца обжита, а поди ж ты, тянет на задворки созвездия Стрелы... Вынесем оттуда новые знания... Да на черта новые, когда старых, дедовских, истин пока не реализовали!

Говорил крепкий парень с упрямо посаженной на широкие плечи крупной головой. Говорил напористо, с той силой убежденного в святой правоте фанатика, с какой, наверное, старообрядческие подвижники древней Руси посылали в огонь верующих. И физиономия у парня не тупая и ожесточенная — открытое, грубоватое лицо человека, невольно подкупающее своей искренностью.

— Как он вам правится? — кивнул Александр на оратора.

— Неплох, — ответил Шаблин. — Во всяком случае, свои доморощенные мысли нахально пролает любому в лицо. Хотел бы я схватиться с таким на кулачки.

— Этот из безудержных утилитаристов, а они, имейте в виду, упрямы, считают себя солью земли.

— Были ими, — подбросил Шаблин.

— Когда?

— В каменном или бронзовом веке.

— Почему именно тогда? — удивился Александр.

— Не настаиваю на точной датировке. Наука еще не указала на веку, по которой можно было бы определить, где кончается их царствование.

— А кончилось ли? Не будет ли оно продолжаться под разными названиями до скончания веков?

— Наши космические корабли рвутся к планете Плутон не за пряностями, не за золотом, как в свое время рвались каравеллы Колумба к Америке. Узнать, пощупать руками, что это за таинственная планета. Узнать — вот что важно, а уж приспособим ли мы ее под что-либо, там видно будет. Такие утилитаристы не царствуют, а влачат сейчас жалкое существование.

— А все-таки рассчитываем приспособить, все-таки в глубине души надеемся — авось пригодится даже Плутон.

— Конечно, и галактики в созвездии Лебеда могут многое подарить практике. Еще в старину говорили: «Нет ничего практичнее, чем хорошая теория». Но изучаем мы не только из практического расчета. В нас живет потребность

познать новое. Потребность как голод, как сон, без нее нет человека. Когда люди насытятся знаниями и скажут: «Хватит!», считай — смерть. Цель жизни, смысл ее — познай непознанное! Вот лозунг рода человеческого. Этому юному трибуну невдомек, что его утилитаризм — атавистическая отрыжка, наследство животных, самых законченных утилитаристов.

А юный трибун за соседним столиком потягивал спокойненько напиток, забыв, видно, о своем приговоре тем, кто неразумно рвется от Земли к далеким звездам.

Александр молчал, а Шаблин снова расслабленно заulyбался.

— Славный вечер... Как, однако, хорошо побездельничать!

Сипло вздыхало море внизу под дамбой.

Дирижер оркестра с шевелюрой Бетховена, с горбатым носом ученого попугая выудил из кучи своих музыкантов хрупкую девицу с безучастным лицом.

— Дорогие друзья! — внушительно заговорила бетховенская шевелюра. — В честь исторического события — посылки человеческого интеллекта к звезде Лямбда Стрелы — наш коллектив подготовил новую песню...

— Скромничает! Наш коллектив... Сам состряпал... — ухмыльнулся Шаблин.

— Исполнит эту песню солистка нашего ансамбля Нонна Парк!

Дирижер повернулся спиной к обществу, вознес длинные руки.

Реклампированная солистка с прежней фарфоровой безучастностью, округлив глаза куда-то, в затканый ночью морской простор, дождалась первой, вьедливо вкрадчивой ноты из оркестра и запела тоненьким-тоненьким голоском:

Твоя душа, душа-а слетела
С Земли, идущей на вкраж...

Александр засмеялся. Шаблин вдруг помрачнел:

— Что смеешься?..

Помолчал, вслушиваясь, обронил тихо:

— Это страшно, а не смешно.

Резко поднялся:

— Пошли отсюда.

Светлей, светлей,
Чем луч от Вегги-и,
Ты чертишь путь
В крошечной мгле...

Топе́нький-топе́нький, паивпо бессмысленный голосок...
Они вышли из парка.

— Тут уж на кулачки не схватишься,— заворчал Шаблин, морщась.— Глупость, как удушливый газ, ударом не отбросишь, па лопатки логикой не положишь. Ничего нет страшнее человеческой пошлости!

Александр, посмеиваясь про себя, спросил наивно:

— Когда-то вы, Игорь Владимирович, мне сказали: пет ничего страшнее пространства. Чему верить?

— Здесь тоже пространство. Между современностью и этим маэстро с лвиной гривой — расстояние по крайней мере в пятьсот лет, не световых, обычных... Им уже не догнать наш век, а живут рядом — прискорбный парадокс, несусветная путаница.

10

Исчезли с обложек журналов портреты Александра Барте́льева. Его физиономия с глазами, спрятанными под лоб, с широким, несколько мясистым носом и плоскими скулами сменилась сначала ресницами и жемчужной улыбкой вырвавшейся на вершину славы киноактрисы, а затем первным профилем драматического тенора.

Он с Галей поселился в том же коттеджике, в каком тренировал свою память к «полету». В комнате для занятий была устроена гостиная; вместо рабочего стола появился круглый стол, за которым по вечерам собирались гости, среди них — Шаблин. Роскошный телеэкран, откуда светила наука читали Александру лекции, остался на прежнем месте; теперь на нем появлялись лишь кинофильмы, театральные постановки, концерты — все то, что входило в программу обычных телепередач.

Институт мозга интересовался проблемой телепатии. Испоко́н веков легенды и мистика окутывали все, что было связано с этим словом. Уехавшая из дому дочь, неожиданно заболев, ложилась на операционный стол, а мать за много километров от нее испытывала непонятные для врачей приступы боли. Умиравший, перед тем как испустить последний вздох, слышал негромкий звон серебряной чайной ложки о стакан, а в ту же секунду этот же звон около себя слышал его приятель, находящийся на другом конце города. Все это граничило с чудесами, казалось сверхъестественным и, разумеется, сдобривалось изрядной долей низкопробного шарлатанства. Только в первой полови-

не XX века паука робко попыталась искать объяснения. Для начала была выдвинута гипотеза об излучении радиоволн мозгом.

В 1958 году американская атомная подводная лодка «Наутилус» взяла на свой борт некоего лейтенанта Джонса и отчалила от берега на две тысячи километров.

С берега Джонсу делали «внушения», он дважды в день рисовал одну из пяти «загадочных» фигур. Итог — 70 процентов «угадывания». Обычные электромагнитные волны не смогли бы проникнуть сквозь толщу океанской воды и железный корпус лодки. Передача была, но как, через что, каким путем?.. В конце концов ученых стала волновать не столько сама передача, сколько те таинственные волны биологического происхождения, которые не удавалось уловить никакой аппаратурой.

Люди научились искусственно синтезировать белки, создавать в лабораториях живые ткани, вплоть до самых сложных — тканей коры головного мозга, а секрет странных волн оставался нераскрытым. Торжественно шествующая вперед наука здесь — увы! — уткнулась в тупик, застряла на столетия.

Давно была выдвинута гипотеза, что эта необычная способность досталась человеку по наследству от животных, даже больше того — от насекомых. Шаблин придерживался того же взгляда.

Он предложил Александру Бартеневу проверить эту гипотезу.

— Прежде всего, — заявил Шаблин, — выкинь из головы какую-либо романтику. И уж не рассчитывай, что быстро раскусишь орешек. Сотни ученых, и не такие, как ты, зубы сломали. Наскоком не возьмешь, нужно ползком. Долгий и неблагодарный труд. Неблагодарный потому, что никто не может гарантировать, увенчается ли он успехом. Никто!

Александр, поразмыслив, согласился взять эту работу на себя.

В одном из закоулков институтского городка был устроен обширный террариум, куда свезли безобидных ужей и ядовитых кобр, щитомордников, эф, гремучих змей, семиметровых анаконд.

Если способность испускать особые волны на самом деле досталась человеку от низших животных, то эта таинственная способность должна проявиться на змеях, недаром же за некоторыми из них с давних времен держалась прочная слава — гипнотизируют свои жертвы.

Человек, чье имя было связано с прославленным космическим «полетом», стал возиться с самыми земными из земных тварей.

Внешне жизнь шла размеренно и даже скучно. В восемь утра Александр Бартенев уже шагал через институтский парк к своему террариуму, засиживался в лабораториях допоздна, вечерами дома изводил Галю разговорами о «ганглиозных клетках», «колбочках Краузе», о новом проявлении вторичной биосвязи у алмазной змеи.

Галя работала в одной из его лабораторий — готовила препараты, занималась классификацией, слушала рассуждения Александра и с нетерпением ждала, что вот-вот они ухватят кончик путевой нити, который приведет их к неразгаданной тайне.

Но шли дни, один на другой похожие: застекленный обширный террариум, разделенный на отсеки, змеи, змеи — то оставленные под наблюдением в условиях, близких к естественным, то помещаемые в сильные электромагнитные поля; змеи, змеи — живые и мертвые, препарированные и пожирающие кроликов.

И не было видно конца работы, и неизвестно — закончится ли она успехом.

Весной вокруг их дома — снежная метель. Нет, не неистовствующая, а застывшая метель из сонного царства старой сказки. Белые хлопья под теплым солнцем, белые хлопья, повисшие над влажной землей, мечтающие упасть на нее и непадающие. Весной вокруг их дома цвел сад, и, казалось, не было на свете более уютного места.

А под крышей уютного дома — неуютная вязкая тишина, и радостная кипень цветущих деревьев кажется насмешкой.

День похож на день, не рассчитывая, что какое-нибудь событие нарушит однообразное течение времени. Течение времени... Слова, ставшие шаблоном. И Галя постоянно задумывалась: а куда оно, ее время, течет? Где цель? Куда идут дни, недели, месяцы, годы, десятилетия? Надо просто жить. И нет страшнее несчастья, чем счастье в покое.

А рядом жил счастливый человек, не замечающий дней. Счастливый, значит не понимающий ее, значит чужой. И по вечерам Александра встречали на пороге серые в синеву глаза, устремленные внутрь себя. И Александр сникал, съеживался, сразу же начинал ощущать вязкую тишину, которая затопила дом от подвалов до крыш.

«Быть может, любила не меня, а ту половину, которая улетела с Земли?» — думал он иногда.

Этот год, который должен бы считаться медовым, на-верно, был самым тяжелым в их жизни.

Родился сын, и кончилась тишина в доме.

Родился сын. Его назвали Игорем в честь Шаблина.

Шаблин, заглядывая в гости, носил па руках своего тезку, неумело восхищался им, как и всякий мужчина, который боится, чтоб его не упрекнули в сюсюканье.

— Ошибка: не ученый — певец растет. Какой голос! А? Бас!

У Шаблина было два взрослых сына, оба работали на космических научных станциях, от обоих приходилось жить в отрыве, а мог бы из Шаблина получиться хороший дедушка.

Как-то вечером Галя завела свою обычную песню:

— Мне жаль прошедшей молодости человечества. Завидую тем, кто жил на пенстопанной планете... По-своему прекрасное время, создающее мужественные на-туры...

Шаблин внимательно слушал, Александр с любопытст-вом ждал, что он ответит. Он один из выдающихся героев современности, влюбленный в свой век, еще больше влюб-ленный в будущее, ему ли па девический лад восхищаться романтикой прошлого!

К удивлению, Шаблин не стал спорить, лишь усмех-нулся и сказал:

— Я тебе, красавица, подарю одну старинную вещь. Кто-то мне преподнес ее, не помню... Обязательно по-дарю.

На следующий день он принес небольшой сверток, про-тянул Гале:

— Вот, держи.

Галя развернула:

— Что это?

В ее руках был грубый кусок металла, какой-то при-митивный сплав, перелитый в примитивную форму, — вы-щербленная полая ручка, короткий ствол с наростом на конце.

— Очень похоже по форме па пистолет, — сказал Алек-сандр. — Но не пистолет. В стволе даже нет отверстия.

— Правда, похоже... Я видела пистолеты в музее. — Галя с удивлением вертела в руках непонятную штуку.

— Пистолет, но не настоящий, — подсказал Шаблин.

— Не настоящий?.. Для чего же он?

— Какой-нибудь военный фетиш? — предположил Александр.

— Ладно, все равно не угадаете. Это детская игрушка. Когда-то очень распространенная...

Шаблин заглянул Гале в глаза, как он один мог заглядывать — в глубь глаз, на самое их дно.

И у Гали дрогнули губы.

— Детская?..

— Да, для мальчиков.

Галя положила на стол перед Шаблиным исковерканный детский пистолет.

— Тебе, поклонница старины, почему-то не нравится мой подарок? — спросил Шаблин.

— Нет, не нравится.

— А я-то думал, ты сохранишь для своего сына.

— Возьмите обратно!

Галя подошла к кровати Игоря. Он гугукал, пуская пузыри.

А где-то в межзвездной пустоте, растянувшись на целый световой месяц, мчались полки радиоволн, несли вперед законсервированную душу Александра Бартеньева, с недавних пор счастливого отца, будущего преуспевающего профессора.

С каждой секундой — триста тысяч километров; далеко позади семья планет, неторопливо плавающих вокруг Солнца... Далеко позади... А стройные полки радиоволн даже не прошли одной десятой пути, их путешествие только еще началось.

Когда оно кончится, сыну Александра Бартеньева, сейчас бессмысленно таращащему глаза на мир, исполнится тридцать четыре года, и, наверно, у него будет свой сын.

Полки радиоволн к звездам Лямбда Стрелы... И стремительно текущая жизнь на маленькой плапетке Земля...

11

Игорь Бартеньев рос. У него была отцовская цепкая память. В четыре года он на лету, походя, схватывал стихи, которые читала мать:

Имя твое — птица в руке,
Имя твое — льдинка на языке...

В двенадцать лет на конкурсе трудной задачи, устроенном местным клубом математиков, он занял первое место.

Увлекался астрономией и шахматами, рисованием и авиаспортом, геометрией и художественной фотографией. Мать беспокоилась: «Недостаточно целеустремлен». Отец при этом думал: «Весь в тебя». Думал, но не говорил вслух: побаивался отповеди. А Шаблин успокаивал: «Растет нормальный человек».

Невысокий, узкоплечий, девичья хрупкость в фигуре уживалась с мальчишеской пружинистой гибкостью; лицо тоже слишком нежное для мальчишки, на щеках под бархатистой смуглотой тлеет ровный, здоровый румянец; глаза матери — большие, настороженные, постоянно чего-то ждущие. Эти глаза часто замирали на каком-нибудь привычном предмете, тысячу раз виденном. Пробегал по саду и вдруг застывал перед деревом, которое ничем не отличалось от других деревьев. Стоял, внимательно разглядывал, обходил кругом, даже щупал ветки, а после этого сыпал неожиданными вопросами:

«Почему каждое дерево растет по плану? Почему береза похожа на березу, дуб — на дуб, сосна — на сосну? Почему она не может вырасти комом, в виде скалы или в виде семечка, только большого?»

Объясняй ему после этого секреты наследственности, которые не до конца-то еще разгаданы наукой.

А в шестнадцать лет этот мальчик, способностями которого восхищались педагоги, сын известного Александра Николаевича Бареньева, тот, к воспитанию кого приложил руку сам Шаблин, вдруг сбежал из дому. Он связался с компанией «незанятых»...

Казалось, мир достиг совершенства. Вековая борьба за общечеловеческое равенство увенчалась успехом. Нет угнетения, нет насилия, даже само слово «демократия» давным-давно вышло из обихода. Кто станет говорить о жажде, если никогда не появляется потребность пить!

И прошли те времена, когда люди с некоторым содроганием глядели на быстро развивающуюся науку и технику: не вырвется ли раскрепощенная сила ядра, не покалечит ли жизнь?

Настала новая, рабовладельческая эра, только теперь рабами людей были не другие люди, а покорные машины. Что угодно человеку-господину — прикажи, любая прихоть будет исполнена.

Прикажи!.. И это самое важное и самое трудное человек-господин взял на себя. Мысль и воля, силы и нервы,

бессонные ночи, глубочайшие изыскания и тончайшие опыты — все было направлено на то, чтобы отыскивать возможности, куда приложить железную силу подневольных машин. Каждый приказ машине должен нести новое, неоткрытое; повторить уже однажды сделанное машина, обладающая памятью, способна и сама, без человека. Приказ стал творчеством.

Казалось, мир достиг совершенства. Но абсолютного совершенства не существует в природе. Совершенство, к которому ничего нельзя прибавить,— это застой, это смерть. Мир жил, развивался, значит, он недостаточно совершенен, он может стать еще совершенней. В этом великое счастье бытия.

Река течет меж берегов. Река течет от истока к устью, а никак не вспять. Но вместе с этим узаконенным течением вперед неизбежны завихрения; случается, что брошенную щепку может понести вспять.

Человечество стремительно двигалось вперед и... создавало свои завихрения.

Машина-раб к твоим услугам, за тебя она сделает черную работу, даже умственно черную! Казалось, нужно малое — сумей приказать ей, и она исполнит все. Но приказать нужно с умом, иначе машина повторит человеческую глупость, мало того — удесятрит ее с машинной педантичностью. Приказ стал творчеством!

Особые системы воспитания, сам дух творчества, который пропик во все стороны жизни, развивал способности в таланты, таланты в гениев. Никогда еще планета не несла на себе столько пронизательных, высоких, разносторонних умов.

Но не все рождаются одинаково способными, не каждый от природы талантлив. Неодаренные люди, допущенные к машинам с их слепой покорностью, с их могучей исполнительской силой, могли стать опасны для общества. И общество, предоставляя им право жить в роскоши, доступной всем, ограничивало их деятельность.

Ум не признает совершенства; тот человек умен, кто непримиримо критичен к себе; глупость, как правило, самомнительна и самоуверенна, в претензиях не знает границ. И люди без дарований, но с непомерными претензиями хватались то за одну, то за другую творческую работу, срывались, негодовали: «Нас не понимают! Не ценят!»

В последнее время такие обиженные откровенно возвестили о себе: «Мы незанятые! Нас презирают, прези-

раем и мы всех, весь мир, в том числе и саму жизнь. Зачем жить? Зачем плодить будущие трупы, жертвы неумолимой смерти?»

«Незанятые» не мылись, не причесывались, отращивали бороды: «Не желаем пользоваться благами жизни!» Большинство из них, однако, не собиралось расставаться с «постылой» жизнью, и только какие-то фанатики-одиночки выдерживали принцип: время от времени их трупы находили на городских площадях, в постелях, в ваннх комнатах...

Случалось, что молодой человек, способный, восприимчивый, чья жизнь могла стать подарком для общества, при первой неудаче впадал в отчаяние: «Не приспособлен, не знаю, что делать,— один путь...» И уходил к «незанятым». А там проповедники житейской бренности задрманивали ему голову...

К ним-то и сбежал Игорь Бартеньев.

В течение двух месяцев его не могли разыскать. Мать слегла.

Явился сам, как и полагается, встрепанный, опустившийся, в кричащей, живописной рвашине. Опустившийся, но не одичавший, только взгляд перешедших от матери серых, чуть навывкате глаз чуточку тяжелей, да втянулись щеки, и в лице угловатость сменила прежнюю мягкость. Прогнали мыться. Мать плакала. Александр Николаевич решил устроить семейный суд, попросил прийти Шаблина.

Старому ученому шел семьдесят восьмой год, но держался он еще все прямо, седую голову носил высоко, лицо потемнело, сморщилось, а в каждой морщинке — прежняя наэлектризованная энергия.

Был осенний день, резкий ветер за слезящимися окнами срывал с деревьев последние, расквашенные дождем листья. В камине веселыми языками горели импровизированные поленья. Александр Николаевич по праву главы семьи взял на себя роль председательствующего. Все приготовились к суду долговому и обстоятельному. Но суд вышел короткий.

— Рассказывай, что толкнуло? — спросил отец.

Игорь, чистый, раздумавшийся, тщательно причесанный, но с каким-то непривычным выражением голода на возмужавшем лице, спокойно ответил:

— Удивительней всего, что никого из вас на это ничто не толкнуло.

Мать удивленно вскинула покрасневшие от неспрошенных слез глаза. Александр Николаевич, заметно раздавшийся за последние годы, затянутый в свой строгий профессорский костюм, скрипнул стулом и не нашелся что ответить. Шаблин неожиданно хмыкнул, и глаза его молодо заблестели среди прокаленных временем морщинок.

— Коллегианами интересуемся, а под боком... Три человека здесь, всех троих уважаю. А никто из вас не бывал среди них. Даже вы, Игорь Владимирович.

Шаблин снова то ли хмыкнул, то ли кашлянул.

— Милый мой,— сказал он негромко,— тебе кажется, что открыл дверь в космос. Да, из нас никто не бывал, но многие из уважаемых нами людей бывали, интересовались, пытались исправить положение.

— И что?

Шаблин опять неопределенно хмыкнул, не ответил.

— Не в состоянии! Бессильны! Вы это хотите сказать, Игорь Владимирович?

— Нет, этого я не сказал. Что-нибудь придумаем. Но не всякий орех сразу раскусишь.

Игорь замолчал и насупился.

— А о матери ты подумал? — спросил сурово Александр Николаевич.— Ты погляди на нее!

— Мама должна простить меня...— И вдруг голос Игоря сломался, натянуто зазвенел: — Это такое несчастье, это такая беда!.. Этого не должно быть! Неужели мы не можем?!

У матери было измученное, всепрощающее, испуганное лицо. Александр Николаевич впервые видел ее испуг: «Вот и сын силу забирает».

— Хорошо, иди,— отпустил он с прежней натянутой суровостью.— Мы тут без тебя потолкуем.

Игорь не стал доказывать свое равноправие, не напомнил о том, что уже достаточно взрослый, поднялся, тонкий, легкий, с опущенной головой.

— А что я говорил? — сказал не без торжества Шаблин.— Что я вам говорил всегда? Растет нормальный человек, качественный... Признаемся: всем нам было немного стыдно перед ним.

— Да, стыдно,— тихо ответила молчавшая Галя.

С этого дня Шаблин уже не как дед, а как товарищ сошелся с Игорем.

Часто можно было их видеть вдвоем, друг против друга — стар и млад. У Шаблина из пухового ворота вязаной куртки торчит тощая, жилистая шея, сухие, темные руки брошены на острые колени, на спеченном лице величаво-серьезное выражение. У Игоря возбужденно-потемневшие глаза, румянец пятнами и в отточенном профиле напряжение.

О чем толковали они между собой? Наверно, о вечной теме — о жизни. Один о ней мог судить потому, что се уже прожил. Другой судил по тому, что предстояло прожить. Не удивительно, что нашли общий язык.

Прошел год, и в этот год Шаблин неожиданно сдал. Та же вызывающе прямая выправка, та же твердая походка, но черные глаза опаливают нехорошим жаром, и при этом какое-то судорожное метание зрачков, словно старик каждую секунду ждет: кто-то его ударит сзади. И изрытое кремневое лицо, и глубоко ввалившиеся виски...

Возле Института мозга стал появляться крижистый человек в безупречно гладком костюме, с плоским монголоидным лицом и плечами кулачного бойца. Это был известный невропатолог. Шаблин стал прибегать к помощи тех, кто смотрел на него, как на бога. Бог ищет защиты у верующих в него — дурной признак.

12

Опыты над змеями, над насекомыми, над собаками, опыты при самой тонкой аппаратуре, экспедиции, поднятые архивы — осада велась по всем правилам современной науки почти восемнадцать лет, но крепость оставалась неприступной. А возможности все исчерпаны, пора ставить точку.

За это время Александр Николаевич Бартенев стал видным профессором, старая слава «космонавта Лямбды Стрелы» как-то потускнела, его имя мало-помалу получало вторую известность.

Труд Бартенева составил три объемистых тома — материал для будущих исследователей. Он, как классификация Линнея, будет ждать появления своего Чарлза Дарвина. Александр Николаевич с некоторой грустью листал свои опубликованные работы. Кто-то возьмется за них, какой светлый гений! Быть может, это будет юнец, обладающий не столько знаниями, сколько дерзостью мысли. Ох, эти знания!.. Александр Николаевич часто испытывал их

тяжесть. Едва он задумывался над какой-нибудь проблемой, как его уникальная память услужливо подсовывала: а такой-то ученый авторитет по этому поводу говорит то-то, а другой — другое, третий — третье. И невольно становишься рабом чужих мнений...

Все-таки вышедший труд решили скромно отметить на семейном вечере.

На столе стояли вина с Кавказа, были открыты окна в сад, гости пили и спорили. Нет, спорили не о работе Александра Николаевича — ее обсудили, приняли, признали ценность. Некий Кальминус на другом полушарии опубликовал статью, где, почтительно адресуясь к открытиям академика Шаблина, утверждал, что в скором времени человечество окончательно победит смерть.

Шаблин обозвал Кальминуса кретином. Черные, узко посаженные глаза сегодня сильнее обычного опалили присутствующих мрачным огнем, сухое лицо отливало старой медью, голос был надтреснут, и в нем проскальзывала непривычная раздраженность.

— Ваш Кальминус, или как там его, ни черта не понял из моих выводов!.. Бессмертия не существует в природе. Вас это огорчает? А представьте себе мир, состоящий целиком из стариков. Мир необновляющийся, застывший. Это же стоп в движении материи. Это общая смерть. И смерть, извольте заметить, тягучая, медленная, как от проказы...

В это время в комнату вошла Галя с блюдом свежей клубники. На ней было просторное белое платье, открывающее немного полноватые, но красивые руки. Вошла она плавной поступью, с той неуловимой горделивой осанкой цветущей женщины, у которой давно позади тревожные сомнения, — довольна своим обжитым миром. Гости невольно повернули головы в ее сторону, и она улыбнулась всем покровительственно и понимающе: «Что ж, знаю, что нравлюсь... благодарна вам...»

А Шаблин продолжал:

— Я старик, но при виде человека, находящегося в определившейся молодости... Вот при виде ее... ее... ее...

Глаза Шаблина беспомощно вспыхнули, как у затравленного кролика, он с подавленным ужасом глядел на Галю, держащую поднос с клубникой. У Гали медленно-медленно, как испаряющаяся роса с травы, исчезла улыбка с лица. Шаблин страдальчески сморщился.

— Что со мной?

Все молчали, переглядывались.

— Странно, очень странно... Представьте, я забыл ее имя... ее... ее...

Шаблин содрогнулся всем телом и отвернулся.

— Все ясно,— сказал он хрипло.

И, подняв опавшее, обмякшее лицо, попробовал пошутить:

— Вот вам и бессмертие... Мне весточка с того света...

Никто в ответ не обронил ни слова.

В полночь гости разошлись. Окна закрыли, так как из сада тянуло ночным холодом и сыростью. Шаблин не спешил уходить.

— Пусть придет Игорь,— попросил он.

Галя сходила за сыном.

Он пришел сонный, с румяным от нагретой подушки лицом, со спутанной шевелюрой.

— Ты меня звал, крестный?

Шаблин невесело улыбнулся:

— Не тревожься, ничего со мной не случилось. Просто хочу с тобой посидеть. С вами, со всеми...

Крестным Игорь величал Шаблина только наедине, впервые при родителях назвал его не по имени и отчеству. Шаблин оценил это.

— Налейте мне еще вина.

Он пригубил рюмку и заговорил:

— Вот и день прошел... День... У человека в жизни каких-нибудь тридцать тысяч дней. Из них тысячи четыре уходит на зеленое детство да столько же на старость. Мир велик, а жизнь мизерна... Едва уловимая искорка во Вселенной — я! Блеснул — и нет. А во время этого мимолетнейшего блеска успевает родиться нечто такое громадное, которое может осознать и саму Вселенную, и самого себя, и ничтожную краткость собственного существования, и бессмыслицу в устройстве материи. Да, я, научившийся мыслить, вдруг должен превратиться в труху — бессмыслица! Какая-то неувязка в самой природе...

За окном тихо шумел сад. Шумел порывами, словно деревья вели вялую, необязательную беседу. Бросят ленивую, влажно шуршащую фразу и замолчат надолго.

Ссохшийся в суровую мумию старик бесцветным голосом говорил о проклятии, нависшем над каждым человеком. Об этом думал и библейский Екклезиаст в своих царственных покоях и какой-нибудь изможденный Иван, Непомнящий Родства, упавший на землю во время пере-

гона каторжников. Думали миллиарды прошедших по планете людей. Их давно уже нет, и шумят сады под окнами, как прежде шумели, не радостно и не горестно, даже не равнодушно. Просто шумят, потому что существуют.

А перед стариком сидел юноша, красивый и здоровый, сидел, слушал, глядел с настороженным, недоверчивым страхом. Он не понимал этих речей, и они были страшны для него своей непонятностью. И те двадцать с лишним тысяч дней, которые суждено ему было еще прожить, — для него вечность, более необъятная, чем застойная, близкая вечность Вселенной.

— Мучает... Признаюсь... — ронял тихо слова Шаблин. — И лечишь меня от этой муки ты, Игорь.

— Как так?

— Взгляну на твою розовую физиономию, и становится стыдно: не имею права отрывать свое собственное «я» от тебя, от твоего сына, который еще не родился, от всех, кто есть и кто будет. Индивидуализм — патология человеческого мышления. Эх, если б это могли уяснить себе люди, насколько стало бы им проще жить!.. Ну, я пойду. Пора...

Александр Николаевич поднялся с места.

— Подзову машину.

— Не надо. Я пешком...

— Сыро на улице.

— Не беспокойся, мне не суждено умереть в подворотне.

Угрюмовато-спокойный взгляд через плечо, кивок головы. Дверь закрылась за стариком.

На столе осталась рюмка с недопитым вином.

Утром в спальне нашли его мертвым. На столе лежала тетрадка дневника со страницами, исписанными твердой рукой.

Первые листы ничем не отличались от научного исследования: цифры, химические формулы, выкладки со сносками, доказывающие необратимость распада нервных клеток в мозгу. Далее сухое, пространное доказательство, почему невозможно омолодить дряхлый мозг и почему человечество не имеет права искусственно повторять интеллект. Видно, что в последние дни Шаблин мечтал о бессмертии, исступленно искал его и пришел к выводу: невозможно.

В дневнике нашли краткое завещание:

«На выборах на должность директора института свой голос отдаю за Александра Николаевича Бартеньева.

Есть у нас более способные ученые, но они (быть может, по причине личной способности) недостаточно объективны, волей или неволей будут ограничивать растущие таланты, подавлять их самостоятельность. Возможно, этим существенным недостатком грешил и я в свое время. Бартеньев лишен его.

Маленькая, чисто сентиментальная просьба: похороните меня возле старой могилы на холме, рядом с солдатами. Каждый по-своему воюет за жизнь.

Ш а б л и н ».

В самом низу приписка:

«Игорь, милый мальчик, если ты свяжешь свою жизнь с нашим институтом, то запомни одно: ищи бессмертия не одного человека, а всего человечества. Фраза общая, даже тривиальная, но тривиальное-то обычно забывается».

Его похоронили на холме, вместо памятника лег упруго-горбатый, огромный камень, изборозженный извилинами,— монументальная копия мозга. Никакой надписи. Потомки и без того запомнят, кому принадлежит эта могила.

Со всех концов света летели люди, везли цветы. В цветах утонул не только каменный мозг, но и солдатский обелиск, покоящийся под собой рядового Осипова, сержанта Куницына, младшего лейтенанта Сукнова. Не умолкала траурная музыка.

А пока на Земле совершались эти события, в глубине Галактики растянувшиеся полки радиоволн достигли середины пути.

Вымахали дубки в институтском парке. В жаркий полдень на дорожках — прохладная тень, при набегавшем ветерке играют в пятнашки солнечные зайчики.

Каждое утро, в восемь часов, через парк к главному зданию института неторопливо вышагивал высокий, сутулившийся человек. В том, как он выступал, в том, как он был одет — традиционный профессорский костюм, темный галстук по безупречно белоснежной сорочке,— сказывалась стариковская чопорность, которая у многих приходит

преждевременно, вместе с высоким положением в обществе.

Александр Николаевич Барте́ньев — бессменный руководитель Института мозга, капитан того корабля, на который поставил парус покойный Шаблин.

Неожиданно этот могучий корабль, вооруженный сотнями лабораторий, переменял паруса, взял несколько иной курс. И не капитан был повинен в том.

Случай, быть может как-то предопределивший поворот, произошел еще при жизни Шаблина, когда шестнадцатилетний мальчишка сбежал из дому и два месяца бродил по городам в живописно пестрой рванине «незанятых».

Педагоги, руководители предприятий, вся общественность вместе с печатью, кино, телевидением действовали: разрабатывались новые методы воспитания, по-новому организовывались трудовые процессы, использовалось все, все, кроме насилия; многое было достигнуто, но никак не удавалось заставить природу, чтобы она щедро одарила каждого человека без исключения.

Игорь Барте́ньев получил звание кандидата наук.

В один прекрасный день он явился в директорский кабинет, тот самый, в котором когда-то сидел Шаблин. Его теперь занимал Александр Николаевич. Игорь явился не один, за ним ввалилась целая компания таких же, как он, молодых ученых: спортивные костюмы, спутанные шевелюры, с затаенным вызовом поблескивающие глаза, и на лицах у всех одинаковое жестковато-упрямое выражение — соловьи-разбойники. А Игорь держится атаманом: невысокий, подобранный, одет со щеголеватой небрежностью, на челе — печать правдоискателя.

— Мы предлагаем новую программу научных исследований. Просим ознакомиться.

— Очень хорошо. Рассмотрим на ближайшем ученом совете.

— Нам необходимо, чтоб институт на своей территории построил детский сад.

— Детский сад?

— Да, вмещающий двести детей.

— Но вы ученые, а не воспитатели.

— Попробуем быть теми и другими. Попробуем воспитывать то, что не заложила природа.

— Вы хотите «перекроить» человеческий мозг?

— Да, так сказать, на ходу. Постараемся создать такие условия в детском организме, которые бы способство-

вали росту клеток, выполняющих функции ассоциативного мышления.

— А не кажется ли вам, молодые люди, что вы запели давно забытую песню социологов-пессимистов: человек несовершенен, его не исправишь, не перевоспитаешь самой жизнью, нужна грубая хирургия?

— Нет! — возразил Игорь. — Наше вмешательство как ученых бессмысленно без того воспитания, которое ведется сейчас в обществе. Мы хотим только одного: ускорить воспитание, сделать людей более восприимчивыми к воспитанию, воспитать способность к творчеству!

— Хорошо, посоветуемся...

— Ваш долг... — Игорь называл сейчас отца на «вы»: он не сын, а официальный представитель группы молодых ученых, отец — не отец ему, а директор института. — Ваш долг — отстаивать нашу точку зрения.

— А если при внимательном ознакомлении я не соглашусь с вами?

— Тогда будем считать, что вы забыли посмертное завещание Шаблина — помогать молодежи.

Шах королю, ничего не скажешь. Именем покойного Шаблина... Шаблин по-своему наметил русло научных работ, эти молодцы правят в сторону. Именем Шаблина... И все-таки...

И все-таки на том месте, где когда-то стоял застекленный террариум и Александр Николаевич колдовал над гадуками и анакондами, был разбит сквер, вырос развеселый теремок — новая лаборатория «Детский сад». В самом центре научного городка, где, казалось, сам воздух пропитан премудрыми тайнствами, под детский визг завертелись пестрые карусели, закачались легкомысленные качели, и трехлетние карапузы с серьезностью ученых мужей стали лепить из песка пирожки.

Семь лет велась работа. За эти семь лет дети из детского сада перешли в школу. И тут-то группа Бартеневая-младшего решила выступить в печати.

Их коллективная статья напоминала революционную декларацию:

«Умственное неравенство людей, последнее неравенство в обществе, можно ликвидировать!

Это не значит, что все люди станут похожими друг на друга, как штакетник забора. У каждого останутся свои пристрастия, свой вкус, свои привычки, у каждого жизнь будет складываться по-своему и на свой лад формировать человеческую натуру. Если колосок пшеницы, выросший

на одном поле, под одним небом, при одних и тех же дождях, что и другие колосья, имеет свои особенности, то что уж говорить о многообразной человеческой личности.

Начнется яростное, но благородное соревнование в творчестве. И это уже не будет борьба ума и косности. Понятия — победитель и побежденный — останутся в силе, но отщепенцы в обществе исчезнут навсегда!..»

И мир от этих слов загудел, как улей, на который упало яблоко. Никому не известные имена молодых ученых стали склоняться во всех концах Земли. Старым профессорам пришлось потесниться за своим столом. И новые голоса раскололи чинную академическую тишину. Александр Николаевич прислушивался к ним. Попробуй-ка теперь не прислушаться!..

Капитан корабля?.. Ой ли... В лучшем случае — выпел на ладье молодых аргонатов.

Как вместительна человеческая жизнь! Как она концентрирует время! Великая армия радиоволн, запущенная к Лямбде Стрелы, уже неслась далеко за пределами солнечной системы, когда Игорь бессмысленно таращил из пеленок глаза, пускал пузыри. И вот он уже вырос, возмужал, стал видным ученым, а полки радиоволн, выстроенные до его рождения, все еще мчатся по пустыням Галактики.

Сквозь рассеянную холодную пыль, сквозь разреженные до неощутимости газы, мимо обжигающих звезд, омывая планеты, недостойные их внимания, летит невидимая душа молодого Александра Бартеньева. Теперь уже близок обетованный край, скоро конец затянувшегося похода.

Александр Николаевич ознакомился со свежими данными, поступившими из одной лаборатории. Раздался сигнал телеэкрана. Кто-то просил о встрече.

Молодой человек с добродушной складкой рта и выражением дежурного благоговения отрекомендовался как репортер широкоизвестной газеты.

— Вы, наверно, знаете, почему мы осмеливаемся вас потревожить?

Да, Александр Николаевич знал. Ровно через неделю первые радиоволны, несущие его тридцатилетней давности интеллект, должны — по расчетам — упасть на планету Коллега. Он знал это и был спокоен: ну и что ж, ведь опять ждать у моря погоды еще по крайней мере столько же, а практически наверняка больше. Не дожить... Зато его собеседника интересовало это, вопросы сыпались как горох.

— А как по-вашему: примут коллегиане информацию или нет?..

— А сколько времени у них займет восстановление мозга?..

— А не пошлют ли они встречную информацию такого же типа?..

Кто бы смог ответить на эти вопросы?

— Тогда скажите от себя несколько слов нашим читателям.

— Пусть молодые читатели вроде вас, милый мой, лет сорок спустя гостеприимно встретят моего заблудшего двойника, а читатели моего возраста пусть смирятся с тем, что никогда не узнают ответов на те вопросы, которые вы мне задали.

— Хотелось бы услышать что-нибудь оптимистическое, Александр Николаевич.

— А разве я сказал недостаточно оптимистично?.. Нет? Тогда извините и прощайте. Мне нужно работать.

Такие разговоры он вел каждый день по нескольку раз. И вот день...

Прозрачное, остро свежее осеннее утро, с инеем на курчавающейся травке, с кистисто застывшими ветвями голых деревьев в бледном небе... В этот ли день или в следующий? Но если и случится, то только на рубеже этих двух дней.

Попадут ли волны на антенны коллегиан, или они обметут их планету, как и те, что встречались раньше на пути, обметут и умчатся вдаль без возврата? Блуждай тогда в бездонном мире, неприкаянная душа, блуждай, пока не рассеешься, не исчезнешь, так и не воплотившись в самое совершенное в мироздании вещество — человеческий мозг. Сама по себе душа мертва, ибо только материя может быть живой.

И, как всегда по утрам, Александр Николаевич вынул из аппарата фотогазету. На первой странице — два портрета, два лица, молодое и старое, наголо бритое и с седой шевелюрой. Портрет двадцативосьмилетнего парня и портрет старца на седьмом десятке — един в двух лицах. А рядом крупно сообщение: «СЕГОДНЯ КОЛЛЕГИАНЕ НАЧАЛИ ПРИЕМ ИНФОРМАЦИИ МОЗГА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА БАРТЕНЬЕВА!!»

«Начали прием...» Никаких сомнений. Впрочем, эти слова писал молодой оптимист.

Галя, родная, привычная, со знакомыми до боли мор-

щинками у голубеющих глаз, вошла к нему, улыбнулась. И морщинок на узком лице стало еще больше.

— Не знаю даже, поздравлять тебя или нет?

— Поздравь на всякий случай. Будем верить.

Кивнула головой.

— Будем... Если нет, то мы с тобой вряд ли узнаем. Будем верить! Поздравляю. Надень черный костюм, в институте сегодня торжественный вечер.

— До вечера еще далеко... Да и зачем парад?

— Все равно надень, пусть знают, что ты вернешь. Он надел.

А вечером выступал с воспоминаниями. И на него смотрели из зала жадные молодые глаза, жадные от нетерпеливого желания. Эти молодые люди, быть может, даже больше его самого желали победы, так как рассчитывали дожить до возвращения. Эта уверенность заразила его. Рассказывая о подготовке к «полету», о «запуске души», он был почти убежден: первая половина дела сделана. И он говорил:

— Тридцать шесть лет назад, в ту минуту, когда передавались позывные «Чрезвычайно важно!», один человек мне сказал: «Придет время, и там содрогнутся от этих сигналов». Время пришло, товарищи! Быть может, именно в эту минуту испытывает восторженный ужас радиоастроном планеты Коллега!

И зал грохотал аплодисментами.

А дома он снял с себя торжественный черный костюм и вместе с ним уверенность, словно черный костюм, как военный мундир, призывал к долгу — верить.

Все пошло по-старому. Каждое утро, в восемь часов, неторопливой, стариковской походкой проходил он под заматеревшими дубами к институту.

Сокрыто непроницаемым мраком то, что делается за пронастью шириной в тридцать шесть световых лет. Во всяком случае, для него. Молодым счастье. Да, счастье: узнают неведомое.

И так прошло еще пять лет. Пять неторопливо-спокойных лет...

«Противоположность зла — добро, а противоположность жизни — смерть; противоположность человека благого — нечестивец, а противоположность света — тьма;

взгляни на деяния бога — все они по два находятся друг против друга...»

Светил починчок над изголовьем; за окном начиналась непробиваемо темная мартовская ночь, а стены хлестала метель, быть может, последняя метель этой зимы. И ветер снаружи завывал по-древнему; под такие завывания, должно быть, складывались когда-то при свете лучины тягучие русские песни.

Александр Николаевич перед сном любил полистать какую-нибудь книгу. В этот вечер он открыл «Премудрости» Бен-Сира, довольно-таки давнее издание с обширными комментариями.

Ветер проносился мимо, не в силах хоть чуть-чуть нарушить теплый и покойный уют просторной спальни, со стенами, задрапированными тяжелыми шторами, с полом, устланным толстым ковром, и ночником, парящим в полумраке синей птицей. Несмотря на завывания, здесь стояла застойная тишина, шелест пожелтевшей страницы казался слишком громким.

Приятно было с высоты современности наблюдать, как копошилась человеческая мысль две тысячи с лишним лет тому назад, как беспощадно и слепо нащупывала истину, как в бессильном отчаянии взывала к богу. Приятно... Наверно, в представлении этих древних такое удовольствие мог получать только сам всемогущий господь, наблюдавший из своего недоступного поднебесья людскую суету. Приятно на минуту ощутить себя богом.

Вдруг Александр Николаевич вздрогнул — без причины. Так иногда вздрагиваешь, когда погружаешься в сон. Может, он уже засынал? Нет. Только что прочитал слова: «...все они по два находятся друг против друга...» Тело почему-то охватил легкий жар, испарина проступила на лбу. Неожиданно в темноте спальни раздался странный, нежный квакающий звук. Страшно... Тишина. Воет ветер за стеной, и стонет голый сад. Ощущение такое: он словно переродился за эту секунду, стал иным, новым, чем-то непохожим на себя.

Сбросил ноги с постели на ковер. Скрытые под потолком лампы, как всегда, услужливо осветили просторную комнату. На подвижной вешалке висит, спадая мягкими тяжелыми складками, халат: на ковре — ночной столик, тапочки; часы на стене показывают без пяти одиннадцать. Нет ничего кругом, что могло бы издать квакающий звук. Да и звук этот ни на что не похож. Александр Николае-

вич мог бы поклясться: никогда в жизни не слышал такого.

«Нервишки пошаливают!..» Ничего себе объяснение для ученого, который почти всю жизнь занимался проблемами нервной деятельности. Но другого объяснения не придумать.

Александр Николаевич снова лег в постель, верхний свет потух, снова запарил ночничок синей птицей.

Взял в руки книгу, нашел прочитанное место:

«Противоположность зла — добро, а противоположность жизни — смерть; противоположность человека благого...»

Странно... Его охватывает какое-то беспокойное нетерпение, почему-то тянет встать с постели, куда-то идти, что-то делать... Куда? Зачем? Что случилось? Может, в институте беда? Может, Галя почувствовала вдруг себя плохо? Она побаливает последнее время...

На ночном столике несколько кнопок. Александр Николаевич нажал одну. Аппарат у постели Галины Зиновьевны бесстрастно, вкрадчивым голосом начал докладывать:

— Сон глубокий. Пульс нормальный. Деятельность мозга...

Александр Николаевич выключил аппарат. У Гали все благополучно, да и в институте ничего не может случиться.

Но-прежнему тянет встать, какое-то нетерпение.

Звук... Нежное кваканье, но какое-то осмысленное. Длилось всего секунду...

И ударила в голову сумасшедшая мысль: «А что, если?.. Мой мозг и его мозг одинаковы. Если и возможна связь... Что, если там, на Коллеге, начал жить он!»

Стало холодно от этой мысли.

А потом стыдно...

Кто он — мнительный неврастеник или ученый? Он же прекрасно знает, что святой дух не может переносить ощущения, их переносит что-то материальное — электромагнитные или какие-то другие волны. Но какие бы они ни были, эти архитаинственные волны, не могут же они двигаться быстрее обычных радиоволн. Даже если предположить невероятное: двойник жив, сообщает о себе, то услышишь его через те же тридцать шесть лет, ни больше ни меньше. Ожил сейчас — дудки! Но тогда что с ним?

И нет ответа, кроме обывательски убогого: «Нервишки пошаливают...»

Он встал с постели, накинул халат, прошел в другую комнату, сел за стол и записал все: ощущения, звуки, год, месяц, число, время — двадцать два часа пятьдесят пять минут — время первого толчка.

На следующий день Александр Николаевич попросил сделать самую тщательнейшую проверку его здоровья. Для виду жаловался на головные боли. Научные сотрудники посмеивались: «Наш дед стал мнительным». Исследования показали: сердце не в очень хорошем состоянии, слегка пошаливает печень, можно желать лучшего от кровеносной системы, но нервная система совершенно здорова, память по-прежнему необычно емкая, цепкая. Память, вошедшая у людей в пословицы.

Все время он испытывал какое-то возбуждение, все время его тянуло куда-то ехать, что-то делать, появился прилив молодой энергии, а по ночам он плохо спал.

Как-то раз проснулся от парной духоты. Жара и вязкая влага окутывали тело. Скинул одеяло, сел: в спальне, как всегда, было прохладно, воздух чист и легкий.

Он попробовал и сам вызывать эти ощущения.

Шел рабочий день. Александр Николаевич сидел в институте один, в кабинете. Солнце косо било в обширные окна, перечеркивало пластиковый паркет. Стол, заваленный бумагами, фотографиями, пленками, на подвижной подставке экран телеаппарата, кресла, диваны, а с улицы доносится весенний крик грачиной стаи. За последние десять лет грачи густо заселили институтский парк, навешав на подростковые дубы тяжелые шапки гнезд. Обстановка, не способствующая галлюцинациям.

Положив руки на стол, глядя перед собой в бесстрастную поверхность выключенного телеэкрана, Александр Николаевич заставил себя думать только о своем двойнике, о планете Коллега. Прошла минута, другая... Матовый, ничего не выражающий экран, крик грачиного базара за окном, но в то же время настойчиво возникают в воображении какие-то неожиданные гигантские призраки, окутанные плотной мглистостью. И он словно окунулся во мглу. Мгла не обычная, не серая — какая-то очень светлая, перенасыщенная светом, напоенная им. Темные громады размыто-правильной формы чем-то напоминают одноплодно чередующиеся колоссальные кристаллы, их ломаная линия движется в одну сторону. Александр Николаевич скорее угадывал, чем чувствовал, густоту воздуха, его влажную липкость, но это было даже приятно, он как бы купался в ней. Гиганты утонули в сияющей

мгле, растворились, но снизу поползла какая-то сумрачная, угрожающая, тяжелая туча. Ползла от почвы, ширилась и росла, растрепанная, бесформенная... Нет, не туча, похоже — заросли, можно разглядеть широкие, почти черные листья с мокрым блеском, можно услышать их жесткое, клеенчатое шуршание... И пет неба, пет далее — золотистый туман над головой, золотистый туман над вершинами странных растений, атмосфера, в которой, кажется, как в воде можно плавать. И Александр Николаевич вздрогнул: знакомый квакающий звук!

Матовый телеэкран, солище, наискось хлещущее в кабинет, загроможденный бумагами и пленками стол, и с воли — земной из земных — взбудораженно весенний грачинный переполох.

Может, матовая поверхность телеэкрана и вызвала в воображении туманные картины. Но эти кристаллы-колоссы, эти деревья с их жестким, кожаным шумом, наконец, этот уже знакомый звук. Никогда прежде ничего подобного не приходило в голову...

Среди бела дня — бред с открытыми глазами. Бред, вызванный по желанию... Он сам не верит. Однако странный бред.

Он хотел посоветоваться с Игорем. Но Игорю некогда интересоваться небом, он слишком увлечен Землей.

Совсем недавно Барتنев-младший, профессор Института мозга, стал стучаться в двери киностудий, в мастерские видных художников, к режиссерам театров, к известным поэтам.

В разных концах Земли живут два человека. Один счастлив, другой несчастен. И если счастливому сказать: с таким-то стряслась беда, тот-то страдает, — счастливый чаще всего останется равнодушным. Трудно проникнуться тем, что далеко, незнакомо, не проходит перед глазами, и никаким увеличением количества «мыслительных» клеток под черепом не сделаешь его отзывчивее. Разве не случается, что видный ученый менее отзывчив, чем самый заурядный человек?

Но вот между счастливым и несчастным встает художник. Он способен заразить и счастьем и несчастьем. Чем талантливей он, тем сильнее его влияние, — гений добивается того, что чужая беда становится твоей собственной. А переживший беду, принесенную художником, человек меняется, становится тоньше, внимательнее. Говорят: искусство — форма общения. Если так, то самая наивысшая, какая только доступна человечеству. С помощью искус-

ства можно сродниться с тем, кто живет на другом полушарии. С помощью его становятся близкими занесенные из средневековья страдания Гамлета. Пространство, время, разница характеров не помеха.

Игорь Бартенев считал, что если б древнюю идею справедливости с ученым видом объясняли только философы, то мир выглядел бы гораздо непригляднее.

Пришло время буквально каждого из людей Земли заставить жить искусством, дышать им. Ум воспитывается, нужно воспитать и душу, и уж тогда сопереживающее друг с другом человечество освободится от каких бы то ни было болезней, зашагает в бессмертие.

Игорь Бартенев стучался в двери режиссеров и художников, музыкантов и писателей. И эти режиссеры, художники, писатели выдвинули идею «Театра без зрителей». Идея эта не родилась, она была поднята из праха веков, как неудавшаяся в свое время, отвергнутая, напроць забытая.

Театр без зрителей...

Сценой этого театра выбрали кусок казахских степей. Здесь будут играть полтора миллиона актеров. Большинство из них никогда не ступало ногой на сцену, даже на любительскую.

Три недели без перерывов и антрактов, три недели днем и ночью должно длиться эпохальное представление «Гражданская война в России».

Массовое творчество началось задолго до «поднятия занавеса».

Все должно быть так, как было в минувшее время — время героев и злодеев, бескорыстных фантазеров и корыстолюбивых узурпаторов, высоких идей и низменного политиканства, время «Интернационала» и разухабистого «Эх, яблочко!..», время тифозных вшей, голодного брюха, взведенного курка и страстно-возвышенных декретов на оберточной бумаге.

Историк критиковал художника, художник советовался с инженером. Философ объяснял актеру мировоззрение его героев, а сам учился у актера актерскому мастерству. Изобретатели ломали головы над тем, как устроить, например, снаряды, которыми можно было бы стрелять из пушек, чтобы взрывались, но не могли никого ранить.

Среди степей воздвигалась часть старой Москвы с мощенными булыжником тесными улочками, обшарпанными стенами дряхлых особняков, разломанными заборами, лохматящимися плакатами, требовательно взывающими: «Ты!

Записался добровольцем?» Часть старой Москвы с Красной площадью без привычного Мавзолея Ленина под торжественной кирпичной стеной Кремля. Легендарный Ленин жил и работал за этой стеной в скромном кабинетике, у дверей которого стоял часовой-рабочий...

Ленина должен был играть всемирно известный режиссер Фогт-Дантон, а Герберта Уэллса, фантаста-скептика,— артист Гаврилов.

С того и должна начаться эпопея, что Герберт Уэллс под охраной безупречно услужливого матроса едет через всю взбаламученную, растерзанную Россию в Москву. Впереди у него встреча с Лениным...

А для того чтобы затянутый благополучным жирком писатель-фантаст ехал, строится старомодная железная дорога. Специально воссозданы паровозы. Прокопченные, мазутно-грязные, расхлябанные машины-ископаемые, выплевывая из труб угарный дым, потянут обшарпанные вагоны-теплушки мимо загаженных станциوشек с копотнокрасными водокачками. Станции будут забиты пестрым народом: бабы с сидорами и мужики с сундуками, тяжелыми, как атомные реакторы, обросшие, голодные, грязные, озлобленные солдаты с винтовками, слинявшие дворяне, выгнанные революцией из родовых имений, угрожающе-анархистского вида матросня, увешанная маузерами, гранатами, пулеметными лентами. И завяжутся драки у вагонов, и на крышах поедут одетые в рванину люди, и недоступные воображению беспризорники станут цепляться за буфера.

А кругом будет жить молодая Советская Россия. В специально скопированных бревенчатых избах, с изгородями у околиц, коровами, телегами, лошадьми, собаками, мужиками дремучего вида и бабами. Деревни тех времен — нищета и затаившееся сытое благополучие, забитость от темноты и волчья ненависть от страха за свою шкуру, батраки и кулаки, спрятанный хлеб и отряды продразверстки, заседания комбедов и выстрелы из-за угла, брат на брата подымающий топор во имя классовой ненависти.

А по полям пойдут окопы, и обутые в лапти красноармейцы станут бросаться в штыковую атаку на таких же мужиков-лапотников, одетых в английские шинели. Комиссары в кожаных куртках и офицеры в золотых погонах, полководцы, выросшие из рядовых, и опустившиеся, дегенеративные генералы царских времен, кавалерийские атаки и многокилометровые переходы, полевые пушки и

тачанки с пулеметом на задке... В тачанках будет разье-
езжать и шайка батьки Махно, разудалая и озлобленная.

Из этой клокочущей жизни и свяжется такая же пе-
страя и клокочущая постановка, распадающаяся на тыся-
чи конфликтов, связанных одним — осмыслением отдален-
ных веками тектонических сдвигов в обществе.

Видные писатели, философы, историки создали об-
ширный сценарий, своего рода грандиозную задачу, ста-
вляющую исполнителей перед необходимостью образного
анализа событий. Этими событиями будут двигать режис-
серы, они участвуют в игре, как люди, облеченные вла-
стью, — революционные вожди и видные белогвардейские
генералы, комиссары и контрреволюционные организато-
ры. Они обязаны придерживаться лишь общего развития
действия, частности сами собой должны проявляться.

Все должно быть так, как было, — быт, одежда, нравы
людей... И прошла дискуссия: а как с питанием? Три не-
дели актеры Театра без зрителей должны играть голод-
ный народ. Тут хотели сделать уступку, по актеры дружно
взбунтовались. Играть так играть всерьез. Проникать в
дух времени так проникать до конца — никаких компро-
миссов. Три недели! Страна голодала годами!

И специалисты стали выяснять, как печь ржаной хлеб
с мякиной, чтоб оставался неспрочечным...

Красноармейцев, солдат, казаков, мужиков, просто
представителей деклассированных элементов играло мно-
жество кинооператоров, вооруженных неприметно малень-
кими, сверхпортативными кинокамерами. Они обязаны
были схватывать эпизоды игры, как схватывают хронике-
ры-документалисты. Наверняка окажутся заснятыми сот-
ни километров пленки. Смонтированные операторами
фильмы поступят на конкурс. После того как жюри кон-
курса определит лучший фильм и удачливый оператор по-
лучит признание, ему предоставят право назвать имя лю-
бого кинопорежиссера. Вместе с этим кинорежиссером он,
оператор-нобедитель, должен составить, пользуясь мате-
риалами всех фильмов, один общий фильм.

И этот фильм пойдет на экранах всех континентов,
его будут показывать по телевидению. Театр без зрите-
ля получит миллиардного зрителя. Театр ли? Эх, песни
нельзя же назвать песней.

Весь мир был увлечен этой затеей. Желавшие играть
составили целые армии, по своей численности, пожалуй,
превосходящие те, что когда-то сражались в гражданскую
войну. Седовласые профессора выражали желание стать

мешочниками, капитаны космических лайнеров — кочегарами допотопных паровозиков.

Игорь Бартенев выбрал для себя роль матроса-большевика с крейсера «Аврора».

Уже много дней в казахских степях рвались импровизированные снаряды, скакали конники, носились тачанки. А каждое утро Александр Николаевич Бартенев шагал к институту, нес в себе не остывающее ни на минуту ощущение потайной связи с легендарной планетой, кружащей возле далекой звезды Лямбда Стрелы.

Миражи находили на него во время бодрствования, только в покойные минуты. Во время сна ему снились обычные, земные сны.

Как-то он присел на скамейку перед домом. Был тихий предвечерний час, солнце, налитое усталостью и ленью, спадало к горизонту.

Он сидел и водил прутиком под ногами, старался ни о чем не думать, наслаждаться отдыхом. И неожиданно для себя он заметил, что прутик в его руках вывел на утопанном песке четыре отчетливые буквы, складывавшиеся в странное слово:

ИМЯТ

Что это такое? По привычке пальцы потянулись к виску. Александр Николаевич напряг память: «Имят?..» Знает ли он это слово? Но память на этот раз — быть может, впервые в жизни — отказывалась ответить. Такого слова он не помнил. Но тогда почему ему взбрело в голову написать именно эти четыре буквы?

Решительные шаги. По дорожке шел странный человек в плотной, черной, слишком теплой, не по сезону, одежде. Широкие штанины мели песок, на голове шапочка блином, па туго затянутом грубом кожаном поясе плоская коробка неправильной формы, она была человека ноляжке.

— Здравствуй, отец!

И тут только Александр Николаевич узнал — Игорь в старинной одежде моряка, небритый, помятый, потемневший от солнца и пыли.

На осунувшемся лице незнакомое, пугающее суровое выражение, запавшие глаза загадочны. Обдав каким-то кислым запахом, Игорь осторожно обнял отца, тяжело опустился рядом.

— Как это в ваше время говорилось: укатали сивку крутые горки,— сказал отец.

Игорь с силой провел ладонью по грязновато-рыжей, словно подпаленной щетине на щеке.

— Расстрелян белогвардейцами час назад. Вот как...

— Рад видеть воскресшим.

— В теплушках вповалку ездил, на угле в паровозном тендере спал, жрал конину, сваренную на костре.

— Конину! Ну, это слишком.

Из дому выбежала мать.

— Ого! Серьезный вопи!

Рядом с поднявшимся сыном, выглядевшим сейчас кряжистым и сильным в своей воинственно грубой одежде, мать казалась слишком сухонькой, какой-то воздушной.

— Не заболел ли?

Отец подсказал:

— Расстреляли его. Не может пережить.

Игорь махнул рукой.

— Пройдет... Ванна, а потом постель... Минутку еще посижу возле вас и пойду.

У Галины с возрастом ссыхалось лицо, а глаза становились больше и ярче. Сейчас в синеве ее глаз — пытли-вое, озабоченное внимание. Неожиданно мягко попросила:

— Ты же что-то хочешь рассказать. Рассказывай.

Игорь словно ждал этой просьбы, стал рассказывать откуда-то с середины, отрывисто и путано:

— Нас повели к оврагу... Двадцать пять человек... А мы до этого сидели в каком-то хлеву. Да, да, в хлеву не в переносном смысле — в буквальном... Грязь, смрад, навоз. Четыре стены, обмазанные рыжей глиной. Пять шагов па пять, а пас — двадцать пять человек, один на другом, ни лечь, ни сесть, стоишь на одной ноге. Пить не дают... Вывели, начали прикладами толкать... До оврага километра четыре, босиком, по колючкам... Выстроили вдоль оврага. Выстроили, а напротив меня казак, рыжий, плечистый, борода от самых глаз растет. Взглянул я в эти глаза над бородой и, знаете, поверил! Вот такой подымет ружье и убьет. Понимаете, поверил! Овраг... Трава жесткая, в пыли, осыпавшаяся глина — этакий кусок планеты, оставшийся с сотворения мира. Подымет на меня винтовку — и конец. Тут, у оврага. Одного казака играл знакомый гистолог, как-то на симпозиуме в Варшаве беседовал. Встретились мы с ним глазами. Я на него гляжу, он — на меня. И не выдержал он. Вижу, морщится, морщится, как ребенок, вдруг — хватъ об землю свое ружье и закричал: «По всем чертям! Почему я должен корчить из себя эту

сволочь!» Погоны с плеч рвет. А командир их, подьесаул, что ли, называется,— какой-то профессиональный актер. Он отвечает за игру. Он обязан пустить нас в расход, то есть расстрелять... Что вы думаете, не растерялся, сукни сын, ткнул издалика пальцем, крикнул: «Взять!» Набросились, руки заламывают, а мой гистолог рвется, пена на губах... И вдруг слышу, кто-то за мной хрипло так, пересохшей глоткой: «Вставай, проклятьем заклейменный!..» И все запели... И я тоже... «Вставай, проклятьем...» И ненависть, ненависть во мне. Какая ненависть! Никогда такой не переживал. Особенно к этому проклятому подьесаулу. И чувствую, всерьез чувствую, что я и есть проклятьем заклейменный... Что у меня прежде была такая сволочная жизнь, что и смерти-то не боюсь...

Игорь вытер пот с лица рукавом бушлата, облизал потрескавшиеся губы.

— Я, наверно, долго еще буду удивляться...

— Игра порой врезается в память сильнее, чем жизнь.

— Нет, не игра, а именно жизни удивляться нашей, этой вот... Летел сюда и глядел, словно у меня новые глаза...— Игорь помолчал с минуту, подумал, сообщил: — Об этом подьесауле думаю. Тот актер, когда снимет его шкуру, станет, наверное, годами душу свою чистить... От брезгливости... Хотя актер, им это привычно...

По узкому околышу тусклым, как древняя инкрустация, золотом надпись — «Аврора». Ленточки спадают на плечи. Тяжелый пистолет в деревянной колодке, свисая на ремнях, касается полустертого подметками слова «имят». И шероховатая жесткость сукна и дикарски неуклюжие, грубые швы на одежде. И пахнет от Игоря потом, пылью, здоровым немывтым телом, так, наверное, остро, плотски пахли дикие стенные кони.

— Да-а... «Проклятьем заклейменный...» Надо идти к себе...

Игорь поднялся с усилием, неуверенно двинулся, заметая следы непомерно широкими штанинами,— невысокий, но прочно сшитый грубыми швами.

Отец и мать молча проводили его глазами.

О странном слове Александр Николаевич вспомнил снова только перед сном, в постели. «Имят...» Что бы это могло значить?

От двери донесся шум.

— Ты не спишь?

Стремительно вошла Галя — лицо розовое, глаза круглые.

— Ты ничего не говорил сейчас?

— Нет.

— Не читал ничего вслух?

— Да нет же. В чем дело?

— Значит, мне послышалось...

Она уселась у него в ногах — лицо все еще было естественно, по-молодому разруганно, мелкие морщинки разглажены, в глубине потемневших глаз — возбужденный огонек.

— Я вдруг вспомнила... Совсем, совсем забытое... Не знаю, помнишь ли даже ты... Вспомнила реку, мостик и почему-то отражение луны на воде. Жидкое такое, беспокойное, прямо на течениях... Ты помнишь это?

— Помню.

— Вспомнила, как я тебе читала стихи... И вот слышу... Совсем явственно, просто нельзя ошибиться — твой голос. Ты повторяешь: «Имя твое — птица в руке...»

— Имя твое! — подскочил в постели Александр Николаевич. — Имя-т! Вот оно что!

— Значит, ты читал все-таки?

— Не-ет.

— Думал о нем?

— Нет.

— Но что же? Право, я слышала...

— Это он! — вырвалось у него.

— Кто он?

— Галя! — Александр Николаевич схватил жену за руку. — Тебе покажется нелепым, но это он! Я его чувствую! Постоянно!.. Он там ожил.

Александр Николаевич ждал испуга, ждал, что она забеспокоится: «Ты, кажется, нездоров. Тебе нужно лечиться».

Но она лишь тихо сказала:

— Вот как...

— Но пойми — это невероятно!

— Да, невероятно, — без убеждения согласилась она. По голосу же чувствовалось: очень хотела этой невероятности, готова сразу верить ей.

— Сегодня, перед тем как явился Игорь, пу, всего за секунду до его прихода, я сам для себя неожиданно написал на песке четыре буквы: «ИМЯТ». Имя т-вое... Написал и ломал голову: что бы это значило?.. Нет, чушь! Ерунда. Невероятно!

— Да, да, невероятно.

— Луна под мостом! Как я ее хорошо помню! А он? Галя! Он ведь тоже...

И глаза Гали потухли, и лицо сразу сникло, стало старым.

Она поднялась.

— Пожалуй, нам пора спать... Нет, не меня уже любит, а ту... Мне-то теперь шестьдесят лет... Спокойной ночи...

Она ушла, унося на поднятых острых плечах легкий ночной халатик, спадавший прямыми складками вдоль ее бесплотно сухонького тела.

Ушла, но верила и не слишком удивлялась.

15

Прошел год с того момента, когда Александр Николаевич ощутил первый толчок вечером в спальне. По условию — только год должен находиться на планете Коллега его двойник.

Год прошел, а Александр Николаевич продолжал его чувствовать.

Быть может, эта своеобразная реакция вызвана лишь умозаключением, что примерно в такое-то время должен «ожить» двойник?

Быть может, ощущения его вовсе не космического происхождения, а земного?

Он его продолжает чувствовать, но разве это доказательство, что связи не было?

Мог же посол Земли по каким-нибудь причинам задержаться там?

Мог и просто остаться навсегда. С его мозга лишь снимут информацию и пошлют на Землю. Живи спокойно до самой смерти среди коллеган.

Стояла снежная зима с незлыми морозными перепадами. И деревья обрастали пышным инеем, и в черных перелетениях ветвей раскидывались гравюрночеканные сады, и верхушки берез как очоженевший на морозе дым, и утопанные дорожки вкусно хрустели, и по ним в багряных мундирчиках прыгали снегири. Александр Николаевич не спеша шел по кружевной заиндевевшей аллее и радовался, что хотя ему уже пошел семьдесят первый год, но силы еще есть — наверняка это не последняя в его жизни зима. Он еще увидит счастливую путаницу опущенных ветвей, колючую искристость по голубым сугробам.

Прожитая долгая жизнь казалась значительной, но в ней был один недостаток — занятость. Некогда было оглянуться кругом, заметить радостные мелочи — хотя бы этих надутых снегирей на снегу. Он скоро откажется от директорствования в институте — хватит, стар! — станет свободнее и уже не пропустит те маленькие подарки, которыми жизнь оделяет ежедневно. И будут лопаться почки весной, и придут еще ласково-теплые вечера созревшего лета, и осенью — ясная грусть, лимонно-чистый свет липовых рощиц. Хороша жизнь, черт возьми!

Внезапно, словно от поворота ключа, тоской сжалось сердце. Оглушающая тоска сразу, без переходов после легкой радости. И захотелось вдруг упасть на заснеженную землю, кататься по ней, иступленно ласкать и плакать от великой любви к деревьям в иное, к расколовшемуся на искры солнцу на взбитых сугробах. Только что минуту назад все это казалось собственностью. Твое! Никто не отнимет! Теперь — утрата.

Это о н! Опять е го власть!

Как просто страшные и невероятные вещи объясняются его влиянием. Тот, Второй, тоже чувствует его, земного Александра Николаевича. До него донеслась радость: березы в белом кружеве! А кругом чужая, беспросветно туманная, парная планета! И мощный приступ посталгии полетел в ответ.

Дома Галя угадала по лицу:

— Снова?

Он кивнул:

— Да.

— Что-нибудь страшное?

— Он там очень несчастен, Галя... Нечеловечески...

— Значит, ты теперь веришь в него?

— Нет... Не смею... Я, наверно, просто схожу с ума.

— Почему бы не предположить, что это возможно?

— Запрещает...

— Кто?

— Наука, Галя. Вся паука во главе с Эйнштейном.

— В свое время Ньютон многое запрещал Эйнштейну.

— Если б я мог доказать! Если б мог!.. Ты понимаешь, получается... я... я... должен уничтожить пространство!

— Эйнштейн объявил, что при скорости света время останавливается. Значит, при каких-то обстоятельствах время как таковое перестает существовать, и этому давно никто не удивляется.

— Ты хочешь сказать, что может уничтожаться и пространство?

— Почему бы и нет, при особых обстоятельствах,— спокойно сказала она.

«Почему бы и нет» — просто, ясно. А это значит — мир из слаженного, понятного станет снова туманным, загадочным, пугающим. Это значит — потрясение, революция в сознании человека. Это значит — хаос в науке.

А если все-таки Земля вертится?.. Если дерзнуть... Почему бы и нет, как предположение, как до поры до времени туманная гипотеза...

Долгое время человек открывал лишь законы мертвой природы: движение тел, взаимное притяжение излучения, электромагнитные поля. А так ли давно под пристальное изучение попала живая материя, так ли давно заглянули в глубь клетки, открыли секреты белка, поняли тайну размножения? А самая сложная, самая высшая материя — мыслящая, — за нее только что взялись всерьез. Уж наверняка она огорошит ученых какими-то сногсшибательными неожиданностями, наверняка откроются новые дали, а вместе с тем и новые, мучительные для науки загадки.

— Почему бы и нет?..

Но если так, то и нет предела величию человека, величию разума. Расстояния между звездами в десятки тысяч световых лет, расстояния между Галактиками в миллионы, в сотни миллионов, даже в миллиарды световых лет, можно будет укладывать в короткую человеческую жизнь. Пространство — самая неприступная крепость — выкинет белый флаг. Мыслящие существа объединятся, в неторопливом ленивом укладе Вселенной забьется новый темп жизни, и кто знает, быть может, ему-то и суждено господствовать в далеком будущем.

Шаблин мечтал об этом. Мечтал, но не верил.

Страшно от этой вселенской дерзости, но почему бы и нет?..

Через три дня, сидя дома за своим рабочим столом, Александр Николаевич почувствовал легкую дурноту, уронил голову на бумаги...

Спал он не больше часа. Проснулся, удивленно оглянулся кругом.

— Однако... Что бы это могло значить?

Он не чувствовал себя больше больным, дурнота прошла, но вялость ощущалась в теле, словно вынули какую-то пружину.

На столе неоконченные записи. Он стал их перечитывать. Они уже не волновали его, как прежде.

Он попытался внутренне сосредоточиться на своем двойнике и почувствовал, что вместо того, странного, таинственного четвертого измерения,— стенка.

Александр Николаевич впервые ощутил себя очень старым. Встал, волоча ноги, прошел в комнату жены.

— Галя, его нет...

— Умер?

— Не знаю... Сам умер, покончил самоубийством, просто исчез... Ему было очень плохо в последнее время. Очень плохо...— С горькой сморщенной улыбкой добавил: — Ну вот, я опять нормальный человек.

Перед ним сидел сын. Коротко подстрижен, по-спортивному подтянут, и только некоторая округлость в плечах да еще горделивое независимое выражение лица говорили о зрелом возрасте: Игорю исполнилось уже сорок лет. Сейчас он слушает отца, и в глазах сочувствие и настороженность.

Игорь должен верить, и верить настолько, чтобы взять на свои плечи исследования, подтверждающие возможность мгновенной биологической связи на бесконечно далекие расстояния. Он, Александр Николаевич Бартеньев, слишком стар, ему не под силу возглавить громадную работу.

Но настороженность в глазах...

— Скажи прямо,— наконец рассердился отец,— слишком странно, спогшибательно. Не так ли?

— Странностями живет наука,— возразил Игорь.— Не странно — сложнее.

— То есть?

— Твои наблюдения или должны совершить революцию в науке, или...

— Или они не имеют никакой ценности, просто старики сходят с ума.

— Да, будет выглядеть примерно так,— спокойно согласился Игорь.— Но до революции наука просто не созрела, не изболелась, чувствует себя здоровой. Слишком мало фактов, которые нельзя объяснить, скажем, теорией относительности.

— Поставим широкие эксперименты — появятся новые факты.

Игорь заговорил мягко, но в его мягкости — негнущийся железный скелет:

— Отец, ты же знаешь, что такое широкие эксперименты... Надо хотя бы в миниатюре повторить то, что произошло с тобой. Воссоздать не одну, а несколько копий мозга, забросить их в разные концы солнечной системы. Уж не говоря о том, что наш институт придется увеличить вдвое, потребуется еще новая отрасль промышленности... И все это потому, что люди должны безоговорочно верить ощущениям одного человека. Ощущения, которые никто, кроме тебя, не может пока подтвердить.

— Подтвердить может только он. Тогда меня уже не будет на свете,— невесело сказал Александр Николаевич.

— Он — это ты. Тебе, быть может, выпадет необычное счастье — возродиться после смерти. Счастье, которым люди осмеливались наделять лишь богов.

— Что-то грустно, сын, мне становится от этого счастья.

— А я бы его хотел для себя.

Александр Николаевич понимал: Игорь по-своему прав. Что он может привести в доказательство? Лишь личные, весьма туманные впечатления, в которых сам не уверен. Замахиваться на революцию в науке... А потом ему уже идет восьмой десяток, в его годы трудно рассчитывать на победу.

Остается только уверовать, что появится тот, второе его «я». Тому, второму, когда он приобретет плоть на Земле, исполнится всего двадцать девять лет, он будет полон молодой энергии. И доказывать ему станет легче, на его вооружении — свои собственные наблюдения и наблюдения земного Александра Барتنьева.

Да сбудется небывалое счастье, да возродится он!

Зеленые дубы в парке стоят счастливые своей зрелой силой: корявые стволы, сплетающиеся толстые ветви, внизу у корней сырость, тянется молодая лопушистая поросль.

В центре парка, у полыхающей цветами клумбы,— укромное тенистое место с тяжелыми каменными скамьями под деревьями. Лет двадцать назад прошла мода на

монументальное, резное, под старину. Мода изменилась, а каменные скамейки остались. Они позеленели, обветрились, приобрели вид неподдельной старины. Такие тенистые углы, наверно, встречались в королевских садах XVII—XVIII столетий. В жаркие летние дни здесь можно видеть сухонькую старушку и ширококостного старика в мягкой шляпе.

Галина Зиновьевна болела. Она никогда не отличалась крепким здоровьем, а в последние годы перенесла несколько тяжелых операций, частенько теперь повторяла со вздохом:

— Ах, как хотелось бы дожить до его возвращения! Нужно дотянуть до девяноста пяти лет, ну, чуть больше... Тогда бы я умерла спокойно.

Александр Николаевич слушал ее и думал, что, пожалуй, и на самом деле она всю жизнь больше любила ту его половину, которая улетела с Земли. И это не огорчало его.

Весной, на восемьдесят первом году своей жизни, Галина Зиновьевна окончательно слегла.

Цвел сад за окном — метель снежно-белых цветов застывшие висела над распаренной землей. А дом был погружен в сумрачную тишину. Люди старели, а мир за окном оставался по-прежнему молодым.

Приехал Игорь, бледное лицо, глаза кажутся черными. Быстро прошел в комнату, где лежала мать.

В Америке в этот день собирался международный конгресс ученых и общественных деятелей. Бартеньев-младший должен был открывать его. Неподалеку от дома, сложив невесомые крылья, как припротоивившийся к прыжку большой серебряный кузнечик, ждал энтомоптер. А в межконтинентальном аэропорту дежурил скоростной самолет, готовый перебросить через океан знаменитого ученого.

Александр Николаевич, четыре ночи проведенный без сна, сидел в кресле в углу гостиной, напротив экрана телевизора, не в силах пошевелиться. Мысли в ужасе шарахались от главного, от неизбежного, кружились, как мухи, вокруг случайных вещей... Вот телеэкран... Давным-давно висит он в этой комнате... Давным-давно — Александр Николаевич был молод — видные ученые приветствовали его из этой потускневшей теперь рамы: «Доброе утро... Тема сегодняшней лекции...» В те годы такой экран считался новинкой, последним словом техники, сейчас, увы, старомоден, другие бы хозяева выбросили его на свалку... «Доб-

рое утро... Тема сегодняшней лекции...» Тогда-то и познакомился с Галей...

Вошел Игорь. Глаза пугающе тусклы, губы слинявшие, безжизненные. Подошел к отцу, погладил плечо, хотел сказать что-то и... отвернулся. Александр Николаевич ничего не спросил.

Сутулая спина Игоря, острые лопатки, седина в волосах. Вот и дожил Александр Николаевич до того дня, когда увидел седину в голове сына. Все можно побороть, но только не беспощадность времени.

Игорь, тяжело согнутый, словно седеющая голова тянет к земле, подошел к экрану, набрал номер. Экран медленно-медленно заполнился светом, сначала размытым, ничего не выражающим, затем проступили тени, вывелись цветные пятна, они крепли, приобретали четкий рисунок.

Зал — огромная чаша, накрытая прозрачным куполом, на который навалилось темное небо. Здесь утро, там вечер. Люди, люди, люди в пестрых одеждах, сидящие ряд пад рядом.

— Алло! — хрипло бросил Игорь. — Говорит Бартевьев.

Зал исчез, появилось изображение человека с профессорской голубовато-седой шевелюрой.

— Игорь Александрович, как у вас?..

— Я не смогу явиться... У меня...

Молчание.

— Извинитесь за меня перед всеми.

Человек с экрана смотрел подавленно.

— Все поймут ваше горе, — сказал он тихо.

И снова зал, гигантская чаша, заполненная до краев лучшим из лучшего, что есть на свете, — выдающимися умами мира.

Вдруг ряды колыхнулись; все люди, все до единого поднялись с мест. Тишина...

Всемирный конгресс почтил вставанием память жепщины, самой обычной женщины. Она не сделала ни одного открытия, не удивила народы ни взлетом дерзкой мысли, ни всплеском яркой фантазии. Единственная заслуга ее жизни — родила одного из самых достойнейших членов этого высокого собрания, кого ждали, в ком нуждаются.

Тысячи выдающихся людей почтительно стояли, подавленные тишиной и величием минуты.

С этого дня в парке, возле клумбы, на каменной скамье, он стал сидеть вечерами один. Несколько громоздкий, не лишенный старческого величия, часами оставался наедине со своими мыслями, перебирал день за днем долгую жизнь, в общем-то счастливую.

Однажды к нему подсел молодой человек. Легкий костюм плотно облегал широкие плечи; сдержанной раскраски галстук под тон сорочки — вкус к одежде — и крепкий румянец, растворенный в густом южном загаре, говорили, что этот человек дорожит маленькими прелестями жизни. Но в его цветущем лице застыло какое-то несолидное, птичье раздражение.

Он обратился:

— Я должен бы начать с того, с чего все начинают, — представиться. Но мое имя ровным счетом ничего не скажет вам.

И старик приподнял шляпу.

— Чем обязан?

— Я очень недоволен собой, — сообщил незнакомец.

— Бывает...

— Мне двадцать пять лет, а ничего еще не сделано в жизни.

— Двадцать пять лет — это не так и много, смею вас уверить.

— Самое главное — не надеюсь что-нибудь сделать.

— Напрасно.

— Я спортсмен. У меня железное здоровье.

— Охотно верю.

— У меня к вам предложение.

— Слушаю.

— Потребуйте, чтобы ваш интеллект пересадили на меня.

— Зачем? — спросил старик без удивления, почти равнодушно.

— Затем, чтоб получился полноценный человек. Не уносите ваш интеллект в могилу.

— Вы же знаете, что это невозможно. Вместе с моим одряхлевшим мозгом ваш организм получит и мою незавидную старость. Вы только на шестьдесят лет станете ближе к могиле.

— Я это знаю, — нетерпеливо дернул плечом незнакомец. — Но в архивах института лежит запись вашего мозга, сделанная тогда, когда вам было всего двадцать восемь лет.

— Положим...

— Попросите, чтоб перенесли его на меня. Я же готов.

Старик не сразу ответил, смотрел в землю, сложив на коленях сцепленные пальцы со вздутыми суставами.

— Вы согласны? — переспросил незнакомец.

— Нет.

— Почему?

— По многим причинам.

— А именно? Ведь это же будете вы! Вы, а не я! Молодой и сильный, способный снова работать.

И опять старик задумался, вздернув плечи, опустив к земле голову.

— Как скучно было бы на Земле, если б люди повторялись, — сказал он.

— Разве плохо, если будет повторяться хорошее?

— Стереть все, что я нажил, все эти десятилетия труда, счастья и горя, эти знания и опыт. Просто стереть, а потом начинать сначала, да еще со старомодным, отставшим больше чем на полстолетие мозгом. Бессмысленно, молодой человек.

— Стереть? Простите, но смерть все равно сотрет.

— Но вместо меня появится на земле кто-то новый, ни на кого не похожий.

— А если вместо вас появится какой-нибудь бесполезный болван?.. Вроде меня...

— Не считайте людей по единицам, считайте их поколениями. Я же верю: поколение от поколения рождается умнее.

— Умнее, потому что со временем копятся человеческие знания!

— Нет, не только поэтому. Мозг младенца-неандертальца качественно был более восприимчив, чем мозг младенца-питекантропа, так же как мозг современного младенца отличается весьма заметно от двух предыдущих... В общем и целом вместо меня появится человек, чуточку превышающий меня по своим природным данным.

— Значит, вы не согласны?

— Нет. Вы обратились не по адресу. Вполне возможно, через некоторое время появится второй Александр Бартедьев... С Коллеги... Такое возрождение имеет смысл, тут уж я не протестую. Посудите, стоит ли плодить на свет еще одного Александра Бартедьева. Не многовато ли их будет?

— Вы не согласны?

— Нет.

— Прощайте.

— Всего вам хорошего, мой друг. Старайтесь быть не похожим ни на кого. Цените свою индивидуальность...

Незнакомец ушел, а старик глядел в землю, изредка покачивая головой.

17

Он скончался девяноста двух лет.

Его похоронили в институтском парке, посреди клумбы, в окружении могучих дубов. На монолитной плите была краткая надпись:

БАРТЕНЬЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Он не бог, но он возродится!

Через восемь лет астрономические радиообсерватории, работающие на связи с планетой Коллега, приняли сообщение:

«Информация коры головного мозга жителя солнечной системы принята полностью».

И после этого из года в год по несколько раз однотипные сообщения: «Работы по воссозданию мозга посланца солнечной системы ведутся успешно».

Один год, другой, третий — пять лет: «Работы по воссозданию мозга ведутся успешно».

Люди ждали...

По истечении пяти лет в разгар лета на северном полушарии дежурные аппараты многих астростанций просигналили: «Внимание! Чрезвычайно важно!» И хотя автоматы космической связи могли бы без помощи людей принять депешу, астрономы бросились к контрольным лентам.

На лентах появились какие-то странные знаки, совсем непохожие на тот сложный код, по которому велись переговоры с коллегами. Точки, тире, тире, точки... И сразу узнали: «Да ведь это же азбука Морзе!»

«Мои братья! Мои сестры! Люди Земли!»

Говорит Александр Бартеньев! Говорит Александр Бартеньев с планеты Коллега системы звезда Лямбда Стрелы!

Мне дана жизнь. Никаких отклонений от нормы не наблюдается. Восхищаюсь искусством коллег, горжусь нашей наукой. Коллеги радуются вместе со мной. Пока

общаюсь с ними через звездный код. Изучить их языки не представляет трудности.

Хотел бы обнять каждого из вас.

Александр БАРТЕНЬЕВ».

А вслед за этим снова звездный код. Взяли слово коллегиане. И впервые от планеты Коллега летели не сухие научные сведения, не деловитые запросы, а эмоции. Система кода не слишком-то была приспособлена к их передаче.

Весь год шли сведения от Александра Бартењева — научные сведения. Только изредка всплеск наболевшей души, скупо переданный все той же азбукой Морзе: «Очень скучаю по Земле. Часто вижу ее в тихие минуты».

В конце назначенного срока — год с момента возрождения — новое сообщение:

«Снята копия с моего мозга, ведется обработка. Информацию начнут передавать в самое ближайшее время. Коллегиане мне предлагают остаться у них. Можно будет держать постоянную связь. Намерен согласиться».

Через месяц сигнал: «Чрезвычайно важно!»

В радиоастрономические обсерватории стали поступать первые сведения из обширной радиограммы о мозге Александра Бартењева, нагруженном новыми знаниями, новыми впечатлениями.

Институт мозга получил обработанные данные...

Институт мозга разослал объявление:

«Нужен доброволец для прививки интеллекта Александра Бартењева. Непременные условия: возраст — 25 лет, идеальное здоровье...» Подробное описание: группа крови, классификация нервной ткани и т. д. и т. и.

И добровольцы, пожелавшие забыть свое собственное «я», превратиться в Александра Бартењева, взяли в осаду Институт мозга.

Из первой же сотни придирчивая медицинская комиссия отобрала некоего Георгия Миткова, атлетически сложенного гимнаста из Софии.

С планеты Коллега от Александра Бартењева была принята неожиданная, странная радиограмма:

«Меня пытаются лечить, уничтожив память о Земле. Не хочу! Не могу! Знаю, что скоро умру... Надеюсь, что возрожусь...»

Несколько дней спустя новое, еще более странное сообщение: «Видел зиму. Кончено. До встречи на родине!»

Это была последняя весточка от космического Александра Бартењева. После нее с Коллеги передали математическим кодом сухое сообщение, что посланец солнечной системы перестал существовать.

А в спортивном зале Института мозга молодцовато вертелся на брусках Георгий Митков, статный парень с худощавым лицом, украшенным суровыми бровями. Он с хладнокровием тренированного спортсмена ждал, когда его позовут на операцию, после которой он забудет свое имя, свои привычки, свой характер и станет Александром Николаевичем Бартењевым.

Целых четыре года сотни лабораторий Института мозга, более тысячи научных работников создавали комочек вещества объемом, едва достигавшим 1500 кубических сантиметров. Десятки заводов и фабрик, конструкторских бюро по первому требованию разрабатывали, поставляли новую аппаратуру.

Целых четыре года — не так уж и много. Природа бы выращивала такой мозг почти три десятилетия.

Все эти годы Георгий Митков жил в институте, у него постоянно брали анализы, его изучали со всей скрупулезностью, на какую только была способна современная наука. Ткань нового мозга должна быть подогнана под его ткань, иначе организм подымет бунт, со всей энергией, усиленной железным здоровьем этого человека, чужое, инородное тело будет отвергнуто, белые кровяные тельца атакуют мозг, череп превратится в воспаленный гнойник.

Когда Георгий Митков вошел в операционный зал, ему исполнилось двадцать девять лет, примерно столько же, сколько прожил во плоти Александр Бартењев помер два.

Все случилось по заранее рассчитанному плану: четыре года подготовки, сорок пять минут — операция... После операции больного накрыли прозрачным футляром, совершенно изолировавшим его от внешней среды. Он лежал под простыней, в пластмассовом шлеме, со спокойным лицом, как сказочная спящая царевна в хрустальном гробу.

А вокруг этого странного саркофага неподвижно стояли люди в халатах — молодые и старые, мужчины и женщины, с одинаковым выражением напряженности и подавленного ожидания на лицах. Они стояли и смотрели на приборы, показывающие дыхание, ритм сердца, состав крови, деятельность уснувшего мозга. Стояли десять минут, полчаса, час, ждали, не начнется ли воспалительный процесс.

Профессора молчали.

Наконец поджарый, морщинистый старичок с молодцеватой выправочкой и властным взглядом невылипивших глаз произнес: «Пока все в порядке».

И люди облегченно вздохнули.

Прозрачный саркофаг вместе с аппаратурой мягко двинулся с места, беззвучно распахнулись перед ним двери операционной.

Люди в халатах несколько минут шагали следом, потом стали расходиться по коридорам.

Саркофаг въехал в темную комнату и остановился. Двери плотно закрылись. Двери закрылись на две недели. Целых две недели больной будет спать, заботливые аппараты станут кормить его, прибирать за ним, следить за малейшими отклонениями в организме, сообщать о них людям. А людям вход запрещен.

Директор института, тот самый сухонький старичок с гладко зализанными седыми волосами на черепе и покоящимися среди морщинок властными невылинявшими голубыми глазами, включил телеэкран. На нем проступил прибор — ритмично выплясывала зеленая ломаная линия, указывающая, что мозг пациента возбуждается.

— Открыть шторы! — приказал директор.

— Не будет ли шока? Солнце на улице. Слишком большая неожиданность, — возразил кто-то невидимый.

— Солнце? Тем лучше. Пусть радуется возвращению. Я сам войду к нему.

В изолятор через широкое окно вливалось солнце, дробилось на зеркальных частях аппаратуры.

Прозрачная крышка саркофага откинута в сторону. Над ложем больного поднята рука, она ловит солнечные лучи.

— Вы проснулись? — негромко спросил директор, не отходя от порога, и сразу же строго одернул: — Не ворочаться!

Сначала раздался квакающий звук, потом голос:

— Речь! Своя речь!.. Нет, нет, я не повернусь... А вы подойдите.

Директор, мягко ступая, подошел.

— Как чувствуете себя?

Рука ловила солнечный свет.

— Солнце! Солнце!.. Там было очень туманно. Ни разу не видел их светила... Я на Земле?

— Да.

— И рука... У меня человеческая рука.

Рука сжалась в кулак, согнулась в локте, вздуваясь, пробежали под кожей мускулы.

— Ого! Мне судьба ходить в роскошных мундирах. И там меня нарядили отменно. По их вкусу... правда...

Рука начала ощупывать плечо, выпуклую грудь.

— Богатыря раздели... Что я буду делать с такой горой мускулов?

Счастливым смех.

— Скажите, кому я обязан этим? — Рука погладила поверх простыни тело.

— Его звали Георгий Митков.

— Георгий Митков?.. Спасибо тебе, брат.

На подушке под шлемом суровые брови Георгия Миткова, худощавое лицо с крепкими челюстями и крупным носом. Но в этом знакомом лице случилась уже какая-то перемена, что-то неуловимое иное легло на черты.

— Профессор, мне вас плохо видно. Встаньте поближе... Вот так... Профессор, что это? Почему вы плачете?.. Все хорошо, профессор. Ах, как хорошо оказаться дома!

18

Высокий, статный с горделивым разворотом широких плеч, из просторного ворота сорочки — крепкая, как столб, шея. А походка не прежнего Георгия Миткова, не упругая, легкая, а вяловатая, вдумчивая. Знакомая походка...

— Воробьи! Глядите, воробьи! Ах, черт!

Он удивлялся всему: воробьям, облакам на голубом небе, косой тени от здания.

— Это что ж... те самые дубы?.. — Сразу же погрузился: — Когда улетал с Земли, они были чуть выше меня.

Но грусть на минуту.

— Бабочка!.. Ай-яй! Вы не представляете, как у нас здесь красиво! И зима впереди. Зима! Снег увижу!

Последнее, что он видел в прошлый раз на Земле, — бледное от зеленого света крупное лицо со вскинутыми, как птичьи крылья, бровями да мигающий глазок аппарата. А потом на секунду тьма, только на секунду, и снова свет — рассеянный, дымчато-мягкий, уже не земной.

Тот человек с крупным лицом и вскинутыми мрачными бровями уже давно умер.

Умерли, пожалуй, все, кого он знал, умер Шаблин, умер и... Не стоит об этом думать. Прошло восемьдесят два года.

Этот старичок, что ведет его к себе домой,— директор Института мозга Игорь Александрович Бартенев. А его же самого зовут Бартепьев Александр Николаевич. Этот старичок, по сути, его сын.

Над прямыми острыми плечиками — морщинистая шея, жалкие косички волос из-под круглой профессорской шапочки,— восемьдесят лет ему. И двадцатидевятилетний Александр Бартепьев вглядывается в того, кто может считаться его сыном.

— Заходите.— Сын-старик распахнул дверь.— Пройдете в кабинет. Нам нужно кое о чем поговорить. До открытия пресс-конференции есть еще время.

В кабинете Александр Бартепьев стал оглядываться.

— Вы знаете,— произнес он,— мне кажется, я здесь бывал.

— Вы не могли здесь бывать. Дом этот выстроен, когда мне было двадцать пять лет. То есть после вас.

— И все-таки я здесь многое помню... Этот стол, это окно... И вас, как ни странно, помню. Не юношей, по еще достаточно молодым. И почему-то вы вспоминаетесь в какой-то старинной одежде: мятый черный костюм, кожаный пояс, пистолет на боку, плоская шапочка с лентами. Даже швы у одежды помню — грубые, неуклюжие. Могло это быть?

Морщины на подвижном лице Игоря Александровича натянулись, стали четкими и жесткими.

— Одну минуточку...

Старик вышел, чеканя по паркету скупые шажочки.

А Александр продолжал оглядываться. Он многое узнаёт, чего не должен бы знать. Он вспоминает худенькую женщину с большими удивленными глазами и с мягкими морщинками на лице. Она появлялась там перед ним в покойные минуты, и покой всегда кончался. И уж тогда хватали за душу другие воспоминания, реальные, на которые он имел право.

Вспоминался мост пад рекой, корчащаяся, рвущаяся с места луна на черной воде. Вспоминался жиденький парк, молоденькие деревца и она в слепяще белом платье... И запах ее волос, и блеск ее глаз в темноте, и колющий отсвет падающей звезды в зрачках... «Ханской сабли сталь».

Игорь Александрович вернулся с альбомом, обтянутым потертой кожей.

Альбом стар, как сам семейный уклад. Александр протянул к нему руки.

— Батюшки! Альбом-то бабушки.

— Отец привез...

— А-а...

— А вот это узнаете? — Игорь Александрович протянул фотографию.

— Да... Именно таким и представлял.

На фотографии — старомодный матросик в лихо посаженной на ухо бескозырке, с маузером на боку.

— Именно таким.

— Играл в Театре без зрителя матроса с «Авроры». Это было. Это было... Да-да, как раз в тот год, когда вы разъезжали по Коллеге.

— Он вам сообщал что-нибудь? — спросил Александр.

— Мой отец?

— Да.

— Вот для этого-то я вас и пригласил.

Игорь Александрович достал из стола папку.

— Заметки отца. Его завещание... Просил передать вам. Если вы подтвердите то, что он записал, на научном небосклоне грянет гром. Возьмите.

Александр принял папку.

— Хорошо... А сейчас... Я бы попросил...

— Все, что угодно.

— Я бы попросил показать фотографию вашей матери.

Игорь Александрович вскинул взгляд — голубой, острый, понимающий, вскинул и опустил, порывшись в альбоме, достал большую карточку.

Цветной портрет, снятый недюжинным художником-фотографом. Тонкая рука свисает с подлокотника, сдержанно-серые глаза и успокоенно-вдумчивый взгляд в себя. Нет, не та, которая когда-то читала варварски сильные стихи у старого солдатского памятника:

Имя твое — птица в руке,
Имя твое — льдинка на языке,
Одно-единственное движение губ,
Имя твое — пять букв.

Для него только год назад читались эти стихи. Год назад всего! Помнил их, повторял про себя. Что знал, открыл коллегам, все отдавал с радостью. Великое счастье поделиться тем, что знаешь. Но эти слова он прятал, это было его, личное, вряд ли чужой мир понял бы их, как он понимал.

Камень, кинутый в тихий пруд,
Вскликает так, как тебя зовут...

Год назад, а ее давно уже нет в живых... И все люди теперь кругом новые. Все знакомое, все родное отошло в прошлое. Вернулся на родину. А на родину ли? Его родина на восемьдесят с лишним лет позади, не вернуть ее. Странник, заблудившийся во времени.

Нет ее в живых, а она была единственная, она-то не повторится!

Александр глядел на портрет, пальцами, сложенными в щепоть, поглаживал висок.

Игорь Александрович невольно содрогнулся: «Отцовский жест!» Не умом, а всем нутром он только теперь почувствовал, что перед ним стоит его, им похороненный отец, с другим лицом, в другом теле, но его отец, моложе старика-сына на пятьдесят лет.

Он включил телеэкран. В узкой рамке — сад, наполненный крикливо-веселыми цветами и солнцем.

— Галочка, где ты? — спросил Игорь Александрович.

— Здесь, дедушка.

— Приготовила — я просил?

— Да дедушка.

— Неси.

Через минуту озорно-звонкий стук каблуков под дверью, робеющий голос:

— Можно?

— Входи, входи.

Сначала в дверях огромный букет цветов, жаркие астры, от них влажно-землистый запах по всей комнате. Из-за букета вынырнуло лицо — мягкий овал подбородка, тонкий нос, тень от потупленных ресниц, под ними влага глаз, таящая непобедимое любопытство.

— Да что ж ты стоишь? Отдай!

Ресницы вскинулись, глаза открылись — и куда же делось любопытство зверька? — постновато-доверчивые глаза, без хитрости, вся душа нараспашку.

— Возьмите.

Обронила слово, уронила ресницы, смущенный румянец пополз по щекам.

— Спасибо.

Неуклюжие, широкие, сильные руки задели ее пальцы. Оба одновременно вздрогнули.

— Спасибо, — повторил он, не зная, что сказать, как поблагодарить.

— Иди, Галя. И мы сейчас выйдем.

Галя... Мелькнули темные волосы, плечи, покрытые загаром, захлопнулась дверь. Остался оглушающий своим

горячим цветом букет и сложный запах влаги, земли, травы, той потайной ароматной прохлады, которая всегда держится у корней. Эта не похожа на ту. Ну и что ж? Нет повторения, но прекрасное не умирает на Земле. Ничего не теряется совсем.

А старик-сын от житейской мудрости не заметил смущения своего слишком молодого отца, сказал:

— Возьмите этот букет, он вам пригодится сейчас.

Столетние дубы, корявые, в тупых наростах стволы — наглядное воплощение пролетевшего времени. Столетние дубы и массивные скамейки, густая тень и нервно дрожащие солнечные пятна.

Под деревьями в этом глухом углу паркалюдно: вооруженные до зубов фоторепортеры, операторы кино и телевидения, ученые.

Посреди пестрой цветочной клумбы — могильная плита. Александр остановился над ней:

БАРТЕНЬЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Он не бог, но он возродится!

Александр опустил букет горячих астр на гладкий, нагретый солнцем камень, на могилу, в которой, собственно, лежал он сам. А со всех сторон щелкали нацеленные на него аппараты.

Постоял, кивнул головой и пошел к институту, где с разных материков собрались ученые, корреспонденты, общественные деятели слушать его первую лекцию.

Находка

Часть первая

1

Старший инспектор рыбнадзора Трофим Русанов, по прозвищу Карга, возвращался с Китьмаревских озер.

Стояла гнилая осень, машины не ходили. Пришлось шагать напрямком, восемнадцать километров до Пушозера через лес — не впервой.

На берегу Пушозера живет знакомый лесник. Он перевезет его на другой берег — на веслах каких-нибудь километра два и того меньше, а там — обжитой край, не эта дичь несусветная. Там — село Пахомово, гравийная дорога среди лугов и полей до самого райцентра.

День, заполненный промозглой сыростью, так и не разгорелся. С самого утра тянулись унылые сумерки. Сейчас, к вечеру, он не угасал, а скисал.

Тупой равнодушной свинцовостью встретило Трофима озеро. Хилые облетевшие кусты, темный хвостец у топких берегов и где-то за стилой, обморочно неподвижной гладью — мутная полоса леса на той стороне.

В сыром воздухе запахло дымом. Трофим сначала заметил черный раскоряченный баркас, до бортов утонувший в хвостце, и через шаг, на берегу у костра, — людей в брезентовых плащах и рыбацких, мокро лоснящихся робах.

«Должно быть, пахомовские. Ловко подвернулись — сразу и перебросят через озеро, долго ли им...» — Трофим направился на костер. Его заметили, к нему повернули головы...

Но по тому, как полулежавший рыбак резко сел, по тому, как напряженно застыли остальные, по их замкнутым лицам, настороженно направленным глазам он по-

чувствовал: «Эге! Пахнет жареным...» Как у старой охотничьей собаки, которой уже не доступен азарт, появляется лишь вошедшее в кровь мстительное чувство при виде дичи, так и Трофим Русанов испытал в эту минуту злорадный холодок в груди: «В чем-то напаскудили, стервецы. Ишь, рожи вытянулись». Исчезла в теле усталость, расправились плечи, тверже стал шаг, и лицо само по себе выразило сумрачную начальническую строгость.

Он не умел задумываться, но взгляд на мир имел твердый — не собьешь. Нужно соблюдать закон, а так как из года в год приходилось сталкиваться, что рыбаки-любители норовили пользоваться запрещенной снастью, рыбаки из артелей сбывали на сторону рыбу, в колхозах приписывали в сводках, в сельсоветах за пол-литра покупались справки, то он сделал простой и ясный вывод — все кругом, все, кроме него, Трофима Русанова, жулики. Он мог целыми неделями не ночевать дома, спать в лодке, прятаться в кустах; высматривать, выслеживать — лишь бы уличить в незаконности. К нему прилипла кличка Карга, ему порой высказывали в глаза, что о нем думают, а Трофим отвечал: «Не хорош?.. Коли б все такие нехорошие были — жили б, беды не знали. Эх, дрянь парод, сволочь на сволочи...»

Он подошел к рыбакам. Трещал костер, над огнем, перехваченный за ушки проволокой, висел чугунный бачок, в нем гуляла буйная пена. К дыму костра примешивался вкусный, вытягивающий слюну запах наваристой ухи.

— Здорово, молодцы! — поприветствовал Трофим.

Пожилой рыбак — из жестяно-твердого брезента торчит сморщенное щетинистое лицо — отвел в сторону слезящиеся от дыма глаза, ответил сдержанно:

— Здорово, коли не шутишь.

— А запашок-то царский...

Парень — исхлестанная ветром и дождем широкая физиономия, словно натерта кирпичом, вымоченно-льняная челка прилипла ко лбу, глаза голубовато-размыленные, с наглым зрачком — пододвинулся.

— Садись, угостим, раз позавидовал.

Трофим был голоден (днем на ходу, под елкой перехватил кусок хлеба), от запаха сладко сжималось в животе, но он с непроницаемо-сумрачным лицом нагнулся, приподнял палку, переброшенную через рогульки, взгляделся в уху.

— Так, так... Сиг.

Рыбаки молчали.

— Ты — бригадир? — спросил Трофим старика в брезентовом плаще.

— Знаешь же, чего и спрашиваешь, — с ленивой неприязнью ответил тот.

— Климов, кажись, твоя фамилия?

— Ну, Климов...

— Значит, мне на тебя придется документик нарисовать... Чтоб рассмотрели и наказали.

— Короста ты.

— А оскорбления мы особо отметим. Не меня оскорбляешь, а закон.

— Не дури, отец, — вступился парень. — Велика беда — рыбешку в уху сунули. Мед сливать да пальцы не облизывать!

— Вот-вот, мы по пальцам. Подлизывай то, что положено. Сегодня в котел, завтра — на базар. Знаем вас. Ну-кося.

Ценные породы — семгу, сига — рыбакам-любителям запрещалось ловить совсем. Рыболовецкие же артели обязаны сдавать государству каждую пойманную семгу, каждого сига. Таков закон. Но кто полезет проверять артельный котел. То, что после улова в уху шли не окунь, не щука, не лещ или плотва, этот вездесущий плебс озерных и речных вод, а благородные, — считалось обычным: «Мед сливать да пальцы не облизывать». Даже инспектора рыбнадзора снисходили: пусть себе, — но не Трофим Русанов. И он знал, что, если составить форменную бумагу, пустить ее дальше, — отмахнуться будет нельзя. Каждого, кто отмахнется, попрекнут в попустительстве. Знали это и рыбаки. Они угрюмо молчали, пока Трофим, присев на корточки, огрызком карандаша выводил закорючки на бланке.

— Значит, все, — поднялся он, смахивая ладонью вытравленную дымом слезу из глаза. — Так-то, по справедливости.

Старик, продернув щетиnistым подбородком по брезентовому вороту, произнес:

— Молчал бы. А то обгадит да покрасуется — по справедливости.

Парень недобро сощурил наглые глаза.

— Может, теперь сядешь, незаконной ушицы отведаешь? Накормим.

Слова старика не задели Трофима — привык, не без того, каждый раз — встреча с ощупкой, расставание со злобой, и, если б не парень с его ухмылкой и прищуром,

он бы с миром ушел. Но парень издевался, и Трофим решил показать себя — пусть знают. Еще шире развел плечи, свел туже брови под шапкой, нутряным, спокойным голосом объявил:

— Нет, парень, ушицы этой и ты не отведаешь. Не положено.

Шагнул к костру, сапогом сбил с рогулек палку, перевернул бачок. Костер разъяренно затрещал, густой столб белого дыма, закручиваясь, пошел вверх. Сытный запах, казалось, залил мокрый унылый мир с чахоточными елочками, перепутанными кустами, хвостцом и замороженно застойной водой озера.

— Не положено. Шалишь.

Рыбаки не двинулись. Старик холодно, без удивления и злобы глянул Трофиму в лоб. А парень, опомнившись, вскочил, невысокий, нескладно широкий в своей прорезиненной куртке и сапогах до паха, лицо в парной красноте, кулаки сжаты.

— Но-но...— Трофим тронул приклад ружья.

Парень стоял, мутновато-светлыми, бешеными глазами разглядывал Трофима.

Тот был выше парня, едва ли не шире в плечах, лицо обветренное, не в морщинах, а в складках, глубоких, крепких, чеканных, вызывающих по первому взгляду уважение,— бабы тают от таких по-мужички породистых лиц. Топорщится замызганный плащ поверх ватника, рука лежит на прикладе.

— Брось, Ванька, не пачкайся,— посоветовал негромко старик.

Парень перевел дыхание.

— Одеть бы бачок на морду — да в воду.

— Брось, Ванька...

— Эх, дерьмо люди,— с презрением процедил Трофим.— Ни стыда, ни совести. Набеззаконничают да еще петушатся... Да что с вами толковать лишка. Дело сделано. Увидимся еще, чай.

Он подтянул на плече ремень ружья, повернулся и зашагал по берегу — шапка сдвинута на затылок, плечи разведены, в походке внушительное достоинство человека, только что совершившего нужное, благородное дело.

Шесть рослых и сильных мужиков молча смотрели ему вслед.

А средь тлеющих головней скворчало мясо свалившейся в костер рыбы, мутноватый дым тек в сером воздухе, и стоял запах, как возле печи перед праздником.

Лесник Гурьянов Анисим жил рядом — крепко рубленный, приземистый дом на юру, стожок сена, огороженный от лосей, усадьба с раскисшими от осенних дождей грядками и добротная банька на отшибе.

Хозяин — высокий, костлявый не только нескладным телом, но и длинным лицом, глаза голубые, большие, с непонятной робкой горечью — бабы, тонкие губы вечно сведены, словно вот-вот изумленно свистнет. Он сильно побаивался Трофима Русанова, может быть, потому, что не безгрешен, — живет в глухоте, сам себе во князях, может при случае лося порушить, хотя должен следить, чтоб другие не баловали, и уж, конечно, если запретная семга сядет у него на крюк, выбрасывать в озеро не станет. Трофим его презирал. «Дрянъ народ» — относил без оговорок и к леснику.

Анисим, морща в улыбке сведенные губы, хлопая желтыми ресницами, позвал к столу:

— Не богато пыне наше застолье, ну, да чем бог послал.

А жена Анисима, тяжелая баба, пол скрипит, когда ходит, была откровеннее — скупю кивнула гладко забранной головой, постно поджала губы, ни «милости просим», ни «ешьте на здоровье», в гробовой немоте наставила чашек на стол, ушла с глаз долой.

Чтоб умаслить нежданного гостя, Анисим выставил на стол початую бутылку, морщась в застенчивой улыбочке, предложил:

— С устатку-то славно... С кой-то поры первачок остался.

Трофим выпил, почувствовал теплоту, с теплотой радость и довольствие собой: он кремень, а не человек, должны бы понимать — не ради корысти прижимает, жди — поймут. Так как никого другого под рукой не оказалось, стал распекал Анисима:

— Кто в этом краю начальник? Ты!

— Оно, видно, рукой не достанешь, — улыбнулся Анисим. — Десяток зайцев по лесу шныряют — команду.

— Не может земля без закона жить. Под носом у тебя рыбаки в котел сегов натолкали. Где закон? Нету его. С кого спрос? С тебя... Сегодня я прекратил безобразия, завтра-то меня здесь не будет...

Анисим кротко поглядывал в потное окно, к которому

жалась беспросветная лесная темень, омраченная сыростью затянувшейся осени, проговорил безнадежно:

— Сегодня-то уже, видать, не попадешь на тот берег... Где там, хоть глаз выколи.

И Трофим понял: готов хоть сейчас, на ночь глядя, сесть за весла, сплавить его подальше от дому. Не любит, а улыбается, самогончик выставил — эх, люди, ни в ком нет прямоты.

— Утром едем, да пораньше, — сказал Трофим. — Куда ты меня примостишь?

Невнятный свет разбавил угрюмую черноту ночи до зыбкой синевы. Едва-едва различались тщедушные, искалеченные ветром ели. То ли туман лип к лицу, то ли моросила водяная пыльца.

— Экое утро помойное, — вздыхал Анисим.

Он был в плаще, туго стянутом ремнем, в ушанке со спущенными ушами, маленькая голова, широкий зад — похож на осу, готовую при неловком движении переломиться пополам. Трофим Русанов, выспавшийся, плотно подзакусивший, с легкой ломотцей в теле после вчерашней «пробежечки», довольный тем, что сегодня-то будет наконец дома, шагал следом, умиротворенно молчал.

Как и всюду, берег озера был топким — сначала тянулась жесткая неувядающая осока, потом темный хвостец, и только вдалеке просвечивала чистая вода. Ступили на лаву, связанную на живую нитку, — пара жердей да держись за воздух. Нескладный Анисим привычной ощупочкой выступал впереди. Вдруг он остановился, словно споткнулся, стоял с минуту, поводя туго облегающей голову шапкой.

— Вот так раз...

— Чего там?

— Лодки-то нету.

— В каком таком смысле?

— Да смыслу-то, паря, не вижу.

Лодки не было. Среди густого хвостца — смолисто-черная плешинка воды: место, где лодка стояла. В сторону озера хвостец помят, намечена проточина. Этим путем обычно выбиралась к чистой воде лодка. Анисим и Трофим балансировали на жидких жердях.

— Пошли, как бы не обвалилось, — посоветовал Анисим.

На берегу они присели на плоский валун, веками осе-

дающий в заболоченную землю. Закурили, озадаченно вглядываясь в томящееся в мутном осеннем рассоле озеро.

— Может, сам куда завел спьяна да забыл? — с надеждой спросил Трофим.

— И в молодости до того не напивался.

— Не черти же лодку уволокли. Здесь людей не бывает.

— Бывают. Сам видел.

— Рыбаки? Пахомовцы! — Трофим и раньше об этом догадывался.

— Ты им, видать, круто насолил.

— Ах, бандиты! Да я им!..

— Обожди стращать. Пораскинь, как выберешься. Окромя моей, на этом берегу ни одной лодки больше нет.

И Трофим замолчал. Он только теперь понял, что попал в переплет.

Пушозеро не широко, но длинно — путаной, изгибистой подковой влезает в леса, из конца в конец километров двадцать пять добрых. Обогнуть его не так-то просто. В лесах прямо не пройдешь — от озера тянутся заливы, по-местному — лахты; в озеро впадают речки, не широки, но глубоки: выплавь перед морозами не переберешься, но самое тяжелое — болота. С одной стороны тянется Волчья топь, она поразмашистей самого озера. Трофим, считай, всю жизнь прожил тут, а не знает, где кончается эта топь. Заберись в нее — не вылезешь. С другой стороны тоже болото — Мокрецы. Хороши «мокрецы», когда в нем есть места — ступишь ногой на травку, и ухнешь вниз, никто во веки веков не найдет. За два дня едва ли переберешься на тот берег — жилы вытянет. А село Пахомово рядом, из-за леса колокольная маячит на том берегу. Всего-то на веслах не спеша — час от силы. Ни одной лодки! Знали, чем укусить, подлый парод.

— Может, плот, — неуверенно предложил Трофим. Уж очень не хотелось двое суток блуждать по лесу.

— Плот-то... — Анисим помедлил. — Ежели б лес рос у берега... У берега-то жердь добрую не вырубить. За полкилометра таскать бревна на горбу. Пока свалишь, пока притащишь, сколачивать на воде придется. Нынче не лето... Плот — маста, проще обежать.

Трофим молчал.

Анисим смял цигарку.

— Конфуз...

И лицо у него в самом деле было конфузно.

— И ни соли, ни сахару в доме, да и хлеба чуть. За

всем езжу на тот берег. И сейчас вот метил — провожу тебя и отоварюсь... Пока ты здесь, эти пакостники лодку не приведут. Не-ет, не смилуются. Будем мы с тобой ко-черыжки капустные грызть...

Трофим понял: его, нежеланного гостя, любым путем хотят спровадить. Даже не обиделся — до того ли в эту минуту.

— Не плавам же мне...

— Конфуз...

— Обходить-то изведешься.

— Ты же к лесу привычный. Места вроде знаешь. Ночь под крышей ночуешь. На Копновских покосах курная избушка стоит. А уж там пораньше встанешь, подналяжешь и, глядишь, доберешься до темноты. Я тебе сальца дам, хлеба, котелок, чтоб чайком горячим побаловаться. Как ни раскидывай, по-другому не выпутаешься... Не приведут стервецы лодку, не-ет. А коль и приведут, то через неделю — какой расчет тебе ждать.

Трофим молчал, глядел на оплывающее в грязном расвете озеро. Анисим выжидательно косил на него глазом, вздыхал:

— Конфуз, право.

3

Лес перед первыми морозами кажется черным, зачумленным краем. Даже собственных шагов не слышишь — глохнут во мху и на толстой подушке мокрой хвои. Ии шороха, ни пенья птиц, только стволы на километры, нет надежды встретить живое.

Едва обмятая тропинка. Летом по ней ходят охотники да колхозники с того берега, бросив лодки, добираются до своих дальних покосов. Зимой эту тропу может пересечь саинный путь — как-то надо вывозить наметанные за лето тощие стожки. Но сейчас встретить человека здесь так же невероятно, как увидеть воочию Илью-пророка или Николая-угодника.

Иногда тропа протискивалась в чашу ельника — там сыро, темно, глухо, как в подземелье. Иногда лес обрывался одичавшей прогалинкой — торчали раскисшие будылья, лежал до краев залитый угрюмой водой бочажок. Тоскливая вода обреченно смотрит в тоскливое небо.

Как ни кинь, а выходит, Анисим выгнал его, Трофима. Вздыхал ласково — конфуз-де, а выгнал хуже собаки, в

лес, под дождь, в эту дичь несусветную. Не пропадешь — ладно, пропадешь — тоже не жалко. Трудно ли сбиться с пути, оторваться от озера, промахнуть мимо редких лесопунктов... Аписиму-то он не перебежал дороги.

Он не понимал, почему его не любили. Делал, что положено. Положено, чтоб ячейки сетей были такого-то размера, — он следит. Положено в таких-то местах ловить только удочкой — следит. Все, что положено, он затвердил, как таблицу умножения. Отступить от правил для него было так же нелепо, как признать, что дважды два — пять, а шестью восемь — пятьдесят. Другие инспектора по надзору делают то же, что и он, — есть среди них и строгачи, ни словом добрым не улаистишь, ни взяткой не купишь, а не любят его, Трофима Русанова. Почему? Он не понимал и злобился на людей. Просыпаясь утром, он уже знал, что кто-то обижен на него, кто-то затаил злобу.

Впрочем, злобу тех, кого он наказывал, Трофим переносил легко: что с них взять, не миловаться же с ними. Но когда его подводили те, кому он не давал никакого повода, терялся: «За что? Что сделал? Где же правда?» И единственное успокоение, что народ — дрянь, а он — особый.

Сейчас пустынным, неприятно-мокрым лесом Трофим нес обиду на Аписима. Не ущипнул его, не ослабил — за что не любит?

Кончился ельник, моховые мочажины и унылые застойные бочаги. Начался сосновый бор. Даже в эту пору утомительной сырости, бесцветности, сумрака сосновый лес сохранил торжественность. В нем просторно, чисто, хоть играй в пятнашки. И почему-то назойливо ждешь жилье — вот-вот стволы расступятся, замаячат крыши. Но стволы не расступались, идешь, идешь — никаких перемен, все та же чинная лесная чистота, молчаливая торжественность, величавость, и сам кажешься себе маленьким, затерянным, начинаешь без причины торопиться.

Опять занозой засела мысль: упади он здесь, не вернись — никто не прольет слезы. У него была жена, взрослый сын. Сын всю жизнь сторонился отца, едва подрос — ушел из дому, теперь работает на лесокомбинате, письма от него идут на имя матери. Жена жила возле него молчком — равнодушно его встречала, равнодушно узнавала, что уезжает на неделю-другую на озеро, равнодушно слушала, когда он не без торжества сообщал — такого-то припек. И ежели Трофим выходил из себя, ругался: «Квелая какая-то, не баба, а пень!» — она без обиды возражала:

«А что мне, плясать перед тобой? Отплясалась, пе молоденькая».

Сосновый чистый лес, он походил на мрачный прокопченный овин, бескрайняя крыша которого подперта бесчисленными столбами. Пустой овин, давно заброшенный людьми. Его вытолкнули сюда...

И узелок к узелку вязалась сладкая ненависть к Анисиму: «Найду случай, подсыплю соли на хвост тебе, старая лиса. Не без греха: семгу-то ловишь, икорку жрешь, а я тебя за рукав да соответствующий документик нарисую, да с ним — в райисполком, а оттуда — сигнал в лесхоз... Домик казенный обжил, к усадевке приноровился, пасеку держишь, корову, поросят — ну-ка свертывайся, топорик в руки да на лесопункт...»

Сосновый бор стал мельчать. Покоробленные, не белоствольные, а рыжие березки назойливо втискивались среди разбегающихся сосен. Трофим вышел к реке, лесной, сонной — черная вода вровень с берегами. За ней — болото.

Через речку перекинута пара бревен — мост не мост, а ероде этого. Весной его унесет. Слава богу, что сейчас цел.

Трофим присел на комель, развязал мешок, достал хлеб, сало — время-то обеденное. Сидел, жевал сало, положенное Анисимом, думал о том, как он прижгет этого Анисима.

4

Весь день он гнал себя, не давал отдохнуть. Перебирался через овраги, на дне которых невольно охватывала дрожь — сыра могила. Проходил болотца с тощим ельничком, полянки с вывалившимся лесом. Короткий предзимний день показался годом. Как будто давным-давно сидел он на берегу озера вместе с Анисимом.

Он гнал себя, чтобы добраться к курной избушке до темноты. Ночью идти нельзя — через пять шагов собьешься с тропинки, влезешь в чащу или свалишься в бочаг.

Лес, и без того оголенно-черный, еще грозней потемнел. Через каких-нибудь полчаса из-под корней выползет мрак и залет мир.

Но вот лес оборвался, пошел низкий кустарник, кончился и он; Трофим уперся в ручеек, узенький — шаг в

ширину, вздохнул облегченно — шабаш, ночь проведет под крышей.

Незамысловато петляя, шевеля осоку, ручеек тек к озеру. На его берегу и стоит избушка с односкатной крышей. Летом здесь — веселый уголок, много солнца, много сквозной зелени, ручей же просто набит окуневой молодью. Окуньки длиной в ладонь хватают чуть не за голый крючок. В сенокосы здесь легко встретить людей, в избушке тогда постоянно топится каменка — не для тепла, для дыму, чтоб отгонять комаров. Сейчас кой черт занесет сюда человека.

Пробираясь вверх по ручью, Трофим чувствовал — валится с ног. Мечтал об одном: чтоб в избе возле печи были заготовлены дрова, чтоб не нужно тащиться за валенником. Затопить, растянуться на нарах, уснуть под треск каменки, под едким дымом, плавающим под потолком.

Вот и выбитая тропа, вот и бревенчатая стена, нащупал дверь, толкнул — обдало банным запахом въевшейся копоти. Внутри темно, волоковые оконца забиты сеном. Трофим скинул с онемевшего плеча ружье, высвободился от мешка, чтоб не удариться, протянул руки, наткнулся на шершавые валуны каменки. Эти валуны были не то чтобы теплые, нет, они скорее хранили какой-то смутный след тепла. Значит, не так давно, вчера утром или позавчера вечером, они были раскалены. И это насторожило Трофима.

В ту же минуту он вдруг ощутил — кто-то есть, рядом, живой, не подающий голоса. Пот выступил под шапкой.

— Ктой тут? — сипло спросил он.

И сразу же шарахнулся к двери. В ответ на его голос раздался странный звук — не то блеяние ягненка, не то скрипяще заскулила раненая собака.

— Мать честна! Кто здесь?

Спички были спрятаны от сырости в резиновый кисет с табаком. Он не сразу их достал. А крик продолжался, слабенький, захлебывающийся, не звериный — человеческий, чем-то очень знакомый, домашний.

Наконец спичка разгорелась в ладони, выперли из темноты лобастые валуны. Трофим направил свет на нары. Нары были пусты, никого в избе, а крик стоит.

«Под нарами, должно...» Но спичка потухла. Трофим торопливо зажег другую, шагнул к нарам, хотел уже нагнуться и только тут заметил, что в углу нар, ближе к каменке, — какой-то сверток тряпья, голос шел от него.

И снова погасла спичка...

«Чертовщина какая-то...» С третьей спички он заметил вязанку дров возле темного зева каменки, сверху вязанки — наколотая лучина. Схватил лучину, обломил, чтоб по ломаному концу быстрее занялся огонь. Сухое дерево затрещало, осветив горбатое нагромождение матово-черных камней, потолок и верхние венцы, глянцевитые от копоти, словно окрашенные мрачной масляной краской. Всполошив тени по бревенчатым стенам, Трофим двинулся к нарам.

Лоскутное ватное одеяло, туго свернутое, перехваченное скрученными в жгуты тряпками. Из глубины свертка — сипловато-тоненький детский плач. Младенец! Один! В глухом лесу!..

Потрескивая, горела лучина, весело выплясывая, росло пламя, то распухали, то съеживались тени. Застывший от ужаса, боясь дышать свободно, стоял коленями на парах Трофим, горбился.

— Курва... — обронил он.

Это относилось к матери ребенка.

Ребенок осип и замолчал. Трофим со страхом, подавленностью, с какой-то брезгливостью осторожно подался назад. От горящей лучины зажег другую, вставил с наклоном между камней, так чтоб угли падали на землю, не подожгли избу.

— Ну и ну...

Он начинал понимать, что случилось.

На другой стороне озера много деревень. Почти во всех остались следы бывшего старообрядчества. В таких деревнях девку, потерявшую до замужества девичий цвет, изведут со света. И, видать, нарвалась одна, решила спрятать концы. А уж где лучше скрыться от позора, как не в этой заброшенной избушке. Перебралась на лодке, наверно, жила неделю, две, ждала, готовилась. Сама, как умела, со всем справилась, а потом отлеживалась, кормила дитя, ползала на карачках по хозяйству. Перед отъездом, наверно, собиралась убить да закопать, но не смогла. Сунула тряпицу с жеванным мякишем в рот, повыла на прощанье — и на лодку.

— Ух, стерва! — цедил Трофим сквозь стиснутые зубы.

А ребенок снова слабо запищал. И Трофиму захотелось накинуть мешок на плечи, подхватить ружье и бежать, бежать в лес, в ночь, подальше.

Матерясь вполголоса, он полез на нары, долго шарил,

нашел возле ребепка узелок — тряпица уже высохла, а хлебная каша загустела. Отбросил.

— Таких бы своими руками...

Рядом с ребенком валялись какие-то тряпки. Трофим выбрал кусок помягче, поднес ближе к свету — чист ли? — оторвал кончик.

— Дознаться бы... Эх, дознаться — откуда? Из какой деревни?.. Живыми бы таких закапывал в землю...

Достал из мешка хлеб, уселся, замолчал, стал сосредоточенно жевать под слабый писк ребенка.

Нажевал много, понял, что такая громадная «соска» не войдет в детский рот, грязным пальцем убавил кашицы, оставил чуть-чуть.

Лица он не мог разглядеть в полутьме, осторожно, почти со страхом подсунил самодельную соску внутрь одеяла. И вздрогнул — младенец принял, плач затих, в тишине лесной избушки раздалось сладкое чмоканье. И оно резануло по сердцу Трофима. Осторожно, задом, он сполз с нар, встал на ноги и разразился руганью:

— Есть же шкуры на свете! Таких гадов своими б руками!.. Кошка блудливая и та свое дитя бережет...

Ругаясь, принялся растоплять каменку. Дым пополз из щелей между камнями, стал копиться под потолком. Трофим вышиб сennie затычки из волоковых окон.

Через полчаса стало тепло, по ходить можно было только согнувшись — заполнивший верх избы дым ел глаза.

Угасла печка, выветрился дым. Чтоб не ушло тепло, пришлось снова заткнуть оконца. Трофим лежал на нарах, подальше от того угла, где находился притихший младенец. За прокопченными стенами шумел лес, глухой лес, не пересеченный дорогами. Далеки люди с их помощью. И жил рядом человеческий детеныш. Пока жил... И Трофим чувствовал, что нельзя просто уснуть и забыть, нельзя отмахнуться. И это его раздражало: «Напаскуди-чала, стерва, а я расхлебывай. Надо же налететь...» Он в эту минуту испытывал саднящую жалость, но не к брошенному ребенку, к себе. Невезучий, какая шишка на свалится — ему сияк, не соседу. А за это кто-нибудь хоть раз пожалел его в жизни, сказал ли кто хоть одно ласковое слово? Только мать в детстве... Помнит, прибежал с улицы, скидывал берестовые ступеники, а мать мяла в руках его красные ноги, выговаривала: «Остудишься, пелут-

ный, вот лихоманка-то хватит...» Верил бы в бога, жаловался бы: «За что ты, сукин сын, меня наказываешь? Не хуже других, неровня, например, этой шкуре-девке, которая дитя родное на лютую смерть бросила...» Такой случай, может, один на тыщу выпадет, а подвалило ему, Трофиму Русанову. Надо же...

Шумел лес, не только безлюдный, но лес, где сейчас попрятался всякий зверь. Спал, насытившись жвачкой, ребенок, равнодушный к тому, как поступит этот случайно занесенный к нему человек. А человек не испытывал дружелюбия.

Под шум леса, под тоскливые мысли Трофим незаметно уснул.

5

На воле уже наступило утро, в курной избе с заткнутыми окнами было темно и холодно. Открыв глаза, Трофим сразу вспомнил, что случилось вечером, и не поверил: «Не бывает такого. Сон дурной...»

Но ребенок заплакал.

И Трофима охватил приступ беспомощной злобы:

— Не задавила тебя эта сучка! Теперь нянчись! Цыц!

Чтоб только не слышать детского писка, соскочил с нар, запнувшись о приставленное к стене ружье, саданул ногой дверь. И резануло по глазам.

Еще вчера земля была нищенски темной, сейчас — ослепительно бела, празднична. За ночь выпал снег. И на этом непотревоженном снегу плясали, подбоченившись, молодые березки — стволы желтые, словно теплые на ощупь. А издали, с конца поляны, хмурился еловый лес. Тот лес, куда ему, Трофиму, предстояло нырнуть.

По лесу с ребенком. Путь не маленький: один шел, да и не шел, а бежал пноходью — едва-едва от сумерек до сумерек поспел. Не разбежишься в обнимочку с младенцем, а в мешок его не положишь. И кто он ему — просто дурным ветром пригнало. Не украли б лодку рыбки — что тогда?.. Скажем, даже возьмет. Но этот подкидыш и без того, наверно, еле жив. Лес — не люлька, Трофим — не кормилица, здесь ему умирать пли же в дороге. Какой смысл тогда возиться? Умрет на руках, а потом казнишь за грех какой-то сволочи. Еще ненароком собьешься с пути, закутишься по лесу...

Яркий снег, снежно спиртовой воздух и трезвые мысли. Трофим успокоился: «Нет смыслу попусту валандаться...» И сразу же на душе стало легко.

Без шапки, в распахнутом ватнике направился к лесу за валежником.

Прогорела каменка, последний дым нехотя вытягивался в волоковые окошечки. Трофим попил чаю; сытый, согретый, чуточку отяжелевший, сидел уже в плаще у развязанного мешка и с непроницаемым лицом жевал, готовя новую соску.

Он решил бросить здесь ребенка, решил твердо. Он знал, что ребенок умрет, второго такого чуда не случится — больше уже никого не занесет сюда в дремучую глушь. Соска из прожеванного хлебного мякиша оттянет смерть часа на два, на три, вряд ли на день. Разумней совсем не давать соски, но что-то нужно сделать? Хоть чем-то купить совесть.

При дневном свете, падающем из волоковых оконеч, было видно, что по избе прошлась женская рука: утоптаный земляной пол подметен, нары вымыты, выскоблены, у порога приставлен наскоро связанный голичок. Дурная мать, верно, тоже подкупала свою совесть — прежде чем уйти, мыла, скребла, кормила младенца, обмывала, оставила запас чистых тряпок, зная, что никто уже ими не воспользуется.

И в голову Трофима пришла странная мысль, никогда такие не приходили раньше: «Конечно, девка — шкура из шкур, давить таких, чтобы землю не пачкали, но каково ей было, когда переступала порог, — только что грудью кормила, слезы лила, быть может, ласковыми словами называла и... бросить...» Трофим злобился на беспутную, потерявшую совесть девку, а прогнать этих сочувственных мыслей не мог. «Знать, уж солоно пришлось, раз на душегубство решилась».

Он испугался сам за себя — посиди еще вот так и вконец раскиснешь. Решительно встал, полез в угол нар, взгляделся в глубь свернутого одеяльца — у ребенка было натужно красное личико, он, наверно, был болен. Крохотные веки закрыты, губы вытягивались. Трофим коснулся соской этих губ, они жадно приняли тряпицу, а глаза не открылись. Трофим облегченно перевел дух. Глаза несмышленища — они не упрекут, не поймут, но все-таки Трофим почему-то боялся взгляда этих глаз.

Торопливо схватил незатянутый мешок, ружье, выскочил на волю, на потускневший под оттепелью снежок.

Вспомнил про окна — забить бы сеном, отмахнулся. «А-а, не все ли равно», — шагнул в сторону ручья, шагнул, словно оборвал пуповину.

По всей вкрадчиво сияющей поляне из-под снега торчала сухая трава, и от этого вид поляны казался щетишисто-небритый, гнусный. Горяче-черный ручей туго оплетал тесно сбившиеся елочки и кусты пвняка. Тропу занесло, Трофим ее чуть не проскочил. Прокладывая первые следы, торопливо направился к лесу. Казалось, нырнет в лес — и все забудет. Нырнет, как обмоется, — сразу покой.

Лес начался, а покой не пришел. С каждым шагом росла тревога. Почему-то беспокоило, что не заткнул окна сеном, — через полчаса выстудится избушка, в ней станет холодно, как на улице. Спину продпрал легкий озноб. Там, за спиной, близится беда.

Не в пример вчерашнему лес был наряден. В темных провалах между стволами — затейливое кружево заснеженных ветвей. Какая-то игривость в лесу.

И по своей привычке Трофим стал искать виновников, распалялся в ожесточении.

«Стерва баба, мразь... Донскаться бы... На суд, на люди, чтоб глядели, пальцами тыкали... И про парня, который девку с пути сбил, дознаться... Тоже голенького — глядите. Не тюрьму бы таким полюбовничкам, не-ет, к стенке приставить...»

Но тревога росла, с отчаяния стал винить Анисима, рыбаков, что увели лодку: «Тоже — совести ни на грош. Сидят сейчас в тепле, чай гоняют. А коли услышат, что младенца мертвого в избушке нашли, что им — почешут языками да забудут... Сволочь народ...» Но вспомнил, как сунул соску и... словно ударили по черепу, остановился.

С заснеженных еловых лап падал отяжелевший, подтаявший снег, задевал за ветки. По спящему лесу проходил вкрадчиво-воровской шорох.

Соску сунул... И маленькие, как надрез ногтем, закрытые векп, и ищущие во сне губы. Не соску искали — грудь. Нет матери, нет отца, нет защитника. Соску сунул... Мать-то хоть что-то припекло, а тебя-то что припекает?... Ведь над тобой смеяться, как над девкой, не будут. Девку ты готов — к стенке, а сам — соску сунул...

Сыпался с ветвей снег, равнодушные ели окружали человека — им все равно, на что он решится.

Девку — к стенке, а сам — соску...

Трофим сорвался с места, ломая ветви, пробиваясь

сквозь чащи, бросился обратно по своему следу, четко пропечатанному на снегу. Бежал бегом, хрипя, задыхаясь, пряча глаза от веток, матерясь, когда ружье цеплялось за сук.

В пазушке он скинул плащ, ватник, сорвал через голову гимнастерку, нательную рубаху, долго прикидывал на вытянутых руках — как повыгодней располосовать? Разорвал на две части — в одну сейчас обернет, хоть и не чиста, да суха, другую припрятает про запас.

Ему до этого и в голову не приходило раскрыть ребенка — терпит и ладно, все равно помрет. Сейчас, когда увидел красное, до мяса созревшее тельце, не выругался, а застонал. И стои́л его был неумелый, походил па скулеж голодной собаки...

— Звe-ери! Душегубцы!.. Спасу тебя, девка... Может, спасу...

Ребенок был девочкой.

От черного ручья уже вели в лес пробитые им следы. Но он не пойдет по этим следам, нужно двигаться в обратную сторону, снова к Анисиму — ближе человеческого жилья нет.

Собираясь перешагнуть через ручей, согнулся и в черном зеркале увидел свое отражение: обросший колючей бородой, за спиной ружье, вид звериный, одичавший, а в руках одеяльце пестрой изнанкой наружу — господь одарил ребеночком.

— Хорош, — враждебно усмехнулся сам себе.

Пошел к кустам, печатая по снегу крупные следы.

6

К полудню сошел снег. Лес стоял измученный тяжелым, как смертельная болезнь, ненастьем.

Ноша не грузна, но нести ее мучение — никак не приспособишься. Не по утоптанной дороге шагать, в одном овраге чуть не выронил сверток в ручей.

Девчонка часто плакала. Выпскивал место, присаживался поудобней, «сочинял» новую соску. Для этого кусок хлеба держал за пазухой, там же — тряпки, чтоб не промокли. Соску девочка выкидывала, тоненько и сипловато кричала. Трофим ругался в отчаянии:

— Хрен тебя знает, чего хочешь.

Больше сидел, чем шел, да и вышел поздно — за весь день протащился чуть больше десяти километров. При

первых сумерках, мокрый, со свинцовой ломотой в руках и плечах, среди угрюмого ельника, стал устраиваться на ночлег.

Дождь не шел, но весь воздух пропитан влагой, печально задетая ветка обдает, как из ковша.

Нарезал лапника, устроил постель. Дров рубить не надо, кругом полно сушняка. Запас дров сложил в голову, чтоб были под рукой.

Разложил два длинных костра: они занялись не сразу, а когда занялись, мир замкнулся — ни елей, ни неба, подпертого колючими вершинами, только он, укутанный в ватное одеяльце ребенок, да с двух сторон с бездумной веселостью пляшущий огонь.

Стало жарко. Трофим подсушил тряпки — как ни берег их, а все же влажные, — затем быстро раскрыл одеяло. Уже знакомое обваренно-красное тельце, оно беспомощно корчилось, надувалось, испускало натужные крики, но залихватски веселый треск костров заглушал слабый голосок. Наскоро вытер, подsunул чистые тряпки, поспешно закутал, утер пот с горячего лба:

— Ну вот... Лежи, приبلудная.

Искры летели вверх, в ночь, в сырость, в чужой и неприветливый мир, до которого можно было дотянуться рукой. Трофим лежал, обняв полую ватника девочку, прижимал ее к себе, порой чувствовал сквозь толстое одеяло: чуть шевелится — значит, жива.

Жива, а это сейчас для него самое главное.

Смутно, сам того не осознавая до конца, Трофим один на один с этим осужденным на смерть младенцем почувствовал, что жизнь его до сих пор была холодной, неудобной. После смерти матери он жил у дяди, разносил пойло коровам, обходил лошадей, нянчил детишек, получал затрещины: «Шевелись, пащенок!»

Началась коллективизация, Трофима вызвали в сельсовет: «Подпиши заявление, что ты батрачил на дядю. Эксплуататор, надо раскулачивать». А у дяди шестеро детей, старший, Петька, — одногодок Трофима, жалко все же.

— Ах, жалко! А они тебя жалели, сколько лет ты на них хрип ломал? Сынок-то в сукнах ходит, на тебе рубаха чужая. На рубаху не заработал...

Верно, не возразишь — подписал.

Раскрыли амбары и клетушки, вывели скот, вытряхнули сундуки. Дядя, сумрачный бородач, его жена, баба сварливая, высохшая, от жадности и работы, с котомками

за спиной, с выводами детишек, под доглядом милиционера двинулись со двора на станцию.

— Столкнемся, Трошка, на кривой дорожке! Выкормили змееныша за пазухой!

А Петька, одноклассник Трофима, плакал, как девчонка.

Ни с кем из них не столкнулся. Из тех мест, куда их угнали, кривые дорожки вели к богу в рай.

Дядино добро — послушки, сапоги, поддевки суконные — распределяли по беднякам. Причиталось и Трофиму — отказался, не взял ни нитки. Пусть знают: не ради корысти заявление подписывал, а потому, что осознал.

Жить, однако, пришлось в дядином доме. Огромный пятистенник — пустой и гулкий, по ночам мыши скребутся, в трубе завывает. А утром выйдешь во двор — все двери нараспашку. Хлев, амбары, баньку, поветь продувает ветром.

Решил жениться. Пюрке Петуховой, дочке пелядащего Сеньки, по-уличному — Квас, не приходилось выбирать. Из себя вроде ничего — лицо приятное, в черных глазах какая-то птичья робость, парни бы не прочь побаловать, но кому охота идти в зятя к деревенскому скомоуху Сеньке Квасу.

Этот Квас, морщинистое лицо, мышинные глазки, все богатство — зипун из заплат, штиблеты с «березовым скрипом», потребовал:

— Свадьбу гони хоть хрестьянскую, хоть пролетарскую — была бы выпивка.

А на свадьбе, после первого стакана, словно обухом по башке:

— Ты мной не брезгуй, я сам тобой брезгую.

— С чего ты?

— Неверный человек — родню за пятак продашь.

Всей деревне удовольствие, когда веселый тесть ходил по улице и пел:

Протекала речка эдак,
Протекала речка так.
Не задешево торгую —
С головы всего пятак.

Сельсоветское начальство метило бывшего батрака Трофима Гусанова в колхозное руководство. А Сенька Квас выплясывал:

Антиресная заботушка
Мне голову кружит:
Кабы с зятюшкой колхозушко
На пару поделить.

И ничем его не возьмешь — ни добрым словом, ни острасткой. Побьешь, а он, как шелудивая дворняга, отряхнется, злей станет лаять.

Трофим пошел в район с жалобой — житья нет. Там рассудили — вражеская агитация. Исчез пенутовый деревенский скоморох.

Жена Трофима не называла раньше отца иначе — «шут гороховый», а тут перестала глядеть в глаза. Нутром чуял — живет через силу, ушла бы, да куда: брюхата на четвертом месяце, с таким прикладом никто не подберет. Пробовал ей доказать, что он-де правильный человек, за правильность-то его и не любят, а у нее в ответ одна унылая песня:

— Уедем скорей отсюда.

И где бы он ни жил, кем бы ни работал — всюду испытывал вражду к себе. Вражда стала привычной, она не замечалась. Ежели приглашали к столу или говорили доброе слово — настораживался: бояться, сукины дети, или целиться окрутить вокруг пальца. Дерьмо люди, нельзя верить.

Быть может, впервые ему доверился человек.

Человек?.. Еще не человек, но доверие-то человеческое. Вот я — можешь отмахнуться, тебе ничего не будет, никто не узнает, люди не догадываются о моем появлении на свет. Отмахнись — это так просто сделать! — будешь свободен, быстрее вырвешься из леса, домой, в тепло, в уют, к отдыху. Отмахнись, правильный человек!..

Трофим не привык раздумывать, и сейчас он не думал, а просто чувствовал беззащитное доверие. И ему, жившему во вражде, оно было ново, необычно, вызывало щемящую благодарность. Разворачивая одеяльце, он видел разъеденное печистотами, обваренно-красное тельце и сам испытывал страдание. Он совал тряпичную соску и снова страдал оттого, что не материнское молоко, а грубая жвачка — опасная пища, можно своей рукой отравить младенца. Лежа между двумя полыхающими кострами, он прижимался тесней к ребенку, старался укрыть его собой от холода, от жара трещащих дров, от нездоровой ночной сырости. Его собственная жизнь в эти минуты сразу стала как-то сложнее и ярче. Только б донести до людей, там-то уж спасут.

Нескончаема ночь поздней осени. Порой не верится, что настанет утро. Кажется, так и завязнет темнота навсегда, час к часу не сложатся в сутки, спутается время...

Трофим подымался, подкидывал дрова в огонь, торопливо ложился, прижимал к себе нагретый сверток, забывался чутким, собачьим сном.

7

Выбрался на болотце, подступающее к знакомой лесной речке. За ней дыбятся на косогоре сосновый лес. Там ноги не будут увязать в болотной жиже, километров пять пробежишь и не заметишь. К вечеру наверняка доберется до Анисима: «Шевелись, старый сверчок!»

Теперь у Трофима воспоминание об Анисиме уже не вызывало злобы. Не откажется лесник, как-никак вместе с женой станет ухаживать за девчонкой, спасать ее. За помощью идешь к нему, а от кого ждешь помощи, того за врага не считаешь.

Пал ленивый лохмато-крупный снег и таял сразу на мокрой земле. Небо налилось устрашающей густотой, воздух сумеречно сер, хотя до вечера еще далеко.

Трофим, прижимая к себе ребенка, рассчитывая каждый шаг, боясь провалиться в студенистую трясину у берега, пробрался к самой воде и застыл пришибленный. Он отлично помнил это место: здесь лежали два бревна — их пет. Подмыло ли берега и концы бревен обрушились, просто ли после стаявшего снега поднялась вода, так или иначе — перехода нет.

Вода настолько черна, что кажется, сунь руку — и она увязнет, как в смоле. На эту черную воду ласково, то там, то тут, спускались невесомые хлопья снега, едва коснувшись, исчезали. Вода спокойна, течения нет. От берега до берега каких-нибудь шагов восемь-десять.

А на противоположном берегу, подпирая сумрачное небо, натянуто стоят стволы сосен. Не перепрыгнешь к ним...

Восемь шагов... Такие стоячие лесные речки «нутристы», берега их обрывисты; на дне, затянутые илом, лежат давно затонувшие стволы деревьев, между ними ямы и провалы — сорвись, и скроет с головой. Вброд, да еще с ребенком на руках, — нет, опасно.

И все-таки Трофим решил прощупать. Наломал лапника, пристроил на нем ребенка, подобрал вывалившуюся березку — попрямей и потоньше, — двинулся вдоль берега, промеряя через каждые пять шагов глубину...

По грудь у самого берега — значит, на середине может скрыть с головой, по пояс, снова по грудь... Но вот конец березового кола сразу уперся в дно — по колено, даже мельче, а у того берега кто знает... Ежели и решаться, то тут. Прежде чем соваться с ребенком, надо проверить. Скидывай одежду — не дай бог намочить ватные штапы и телогрейку, за сутки не просушишь у костра; нагишом полезай в ледяную воду, а сверху тебя будет посыпать снежком...

И Трофим сплюнул:

— Да что я, на смерть приговоренный!

Он решительно отбросил кол, пошел обратно. Нечего рассчитывать на брод, придется двинуться вверх по реке, пока не наткнешься на какую-нибудь оказию. Случается же, что упадет старое дерево поперек реки — вот тебе и мост, шагай посуху.

Перед тем как двинуться в путь, присел на лапшике, взял младенца на колени. Девочка не брала соску. Можно прошагать не один день, но так и не перебраться через эту дикую, сонную речушку. Сколько еще протянет девчонка? Сегодня-то они до Анисима не доберутся... Трофим поднялся.

По болотистой долинке кружит лениво черная река, брось щепку в ее воду — не тронется с места. Кружит река, кое-где она разливается в просторные бочаги, кое-где ее берега сближаются настолько близко, что нетрудно перескочить с разгону. Но с ребенком не перескочишь, да и сами берега рыхлые, тонкие — не разбежишься, не оттолкнешься.

Кружит река, вместе с ней кружит и Трофим — щетинистый, грязный человек, с ружьем, с мешком, с младенцем в ватном одеяльце на руках. Кружит река, уводит Трофима в глубь леса. И начинает уже смеркаться, пора думать о ночлеге.

Утром следующего дня он наткнулся на завал. Не одно, а пять громадных деревьев обрушились в реку, перегородили ее. Пять сухих стволов друг на друге, крест-накрест, и целая роца костистых ветвей, крепко сцепленных, туго переплетенных, закрывающих путь через реку.

Трофим снял ружье с плеча — оно больше всего цепляется, взял за ствол, размахнувшись, перебросил его через воду. Ружье мягко шлепнулось в мшистый берег. Мешок перебрасывать побоялся — не долетит, упадет в воду.

Держа одной рукой неуклюжий сверток из ватного одеяла, другой хватаясь за сучья, полез по завалу...

Если б обе руки были свободны, одна минута — и он на том берегу. Сейчас, обламывая тонкие ветви, цепляясь за толстые, рискованно повисая над водой, продирался вверх за вершиком. На самой середине зацепился мешок. Трофим дернул, припомнил бога и мать, но делать нечего — пошевелевая плечами, стал освобождаться от лямок, осторожно, медленно, боясь потерять равновесие, уронить ребенка. Он удержался сам, удержал и младенца, а мешок подхватить не сумел. Тот шлепнулся в воду и поплыл.

Трофим поглядел на мешок злыми глазами, полез дальше. Наконец, ломая сучья, свалился на землю, долго сидел, прижимая ребенка, слушая стук своего сердца.

Когда поднялся, ни на черной воде, ни под запущенными в воду толстыми сучьями мешка не было — он затонул...

Мешок затонул, а ружье осталось. Непужное ружье, мешавшее ему всю дорогу. Он не поднял его с земли.

Он устал за эти дни. Он уставал днем и не отдыхал ночами, так как постоянно вскакивал, чтобы подправить прогоревшие костры. А они прогорали быстро — не было топора, чтобы заготовить толстые дрова, приходилось пользоваться только валежником. Он устал до того, что его уже не волновала пропажа мешка, где лежала вся еда, кроме небольшого куска хлеба, который он спрятал за пазуху — «на соски»; он не нагнулся за ружьем, двустволкой бескурковой, которой он гордился, за которую в свое время заплатил пять сотен; он уже равнодушно думал о том, что девочка все равно умрет; он не испытывал страха и перед своей смертью.

Идти обратно вдоль реки, чтоб паткнуться на знакомую тропу, которая ведет в сосновый бор, — значит потерять день. Оставить реку, двинуться наискосок через лес — не мудрено заблудиться. Но он хотел только одного — быстрее выбраться из лесу; по его прикидке, где-то недалеко должна проходить дорога, ведущая на один из лесопунктов. Хотя сейчас по ней не ходят лесовозные машины, но все-таки дорога — возле нее легче ждать помощи.

И он решился — обнимая ребенка, побрел в сторону от опостылевшей реки.

До сих пор его вели вперед — сначала трона под погами, потом река. Теперь, куда ни взгляни, во все стороны одинаковый лес. Впереди — перекрученные березки и елочки, справа — перекрученные березки, слева, сзади. Мир сразу же потерял всякий смысл.

А день сумрачно-серый, нет надежды — не проглянет солнце и ночью не вызвездит. Где север, где юг, вперед ли ты сделал шаг или назад — над всем равнодушная тайна.

Первые часы Трофима не покидала уверенность, что идет правильно, рано или поздно он наткнется на дорогу. Наткнулся на непроходимую чащу — ели ствол к стволу, торчат во все стороны высохшие острые сучья, у корней слежавшийся почной сумрак. Побрел в обход, прижимая к груди ребенка.

Лес был высокий, крепкий, сюда еще не добрались лесозаготовительные организации, не проложили здесь «усы» узкоколеек, не пробили дорог. Тонкие, гибкие березы протискивались к небу сквозь плоты хвоя. Ели развешивали над головой замшелые, полуоблезшие лапы. Лес давил дикостью, дальше чем на три шага ничего не видно.

Он шел и глядел в небо, на верхушки деревьев, ждал, что вдруг покажется заманчивый просвет. Вдруг да вырубка, а от нее непременно дороги к человеческому жилью, пусть полузабытые, полужаросшие, но все-таки дороги.

Несколько раз ошибался. Ему казалось, что лес впереди раздвигается. Тогда он прибавлял шагу, ломился напрямик через чащу и... выходил в мелколесье. А за мелколесьем — снова рослый лес.

Опять просвет... С каждым шагом он ширится, с каждым шагом становится чуть светлей. И лес оборвался...

Перед Трофимом выросло лохматое, как поднявшийся на дыбы неопытный медведь, вывороченное корневище — пласт земли, поставленный на попа. Шагнул в сторону, чтоб обойти, и в упор — расщепленный ствол, страшный излом, словно разверстая пасть в диком крике. Стволы навалом, один на одном, толстые, тяжелые, забуревшие от времени, и вскинутые вверх в судорогах костлявые ветви...

Ждал вырубку, ждал лесную пожню с пригорюнившимся в одиночестве стойком сена, думал пайти дорогу. Где там... Когда-то здесь прошел буран, столетние деревья сорвались с насиженных мест, остервенело набросились друг на друга, вцепились сучьями, унали в обнимку, на

них попадали новые. Лесное побоище на километры, лесное побоище, прикрывшее заболоченную землю, дикие звери и те обходят стороной проклятое место. Дорога, где уж...

А с мутного неба — мутный, как жидкое коровье пойло, свет. И тишина, тишина, нарушаемая лишь равнодушным шумом хвойного моря. Морю нет конца. Как далеки люди! Как дороги они все!..

Только теперь Трофим поверил, что он заблудился.

А день увядал, мгла затягивала побоище.

9

Утром он не мог согреть кипятка, ничего не поел: котелок, хлеб, сала еще добрый кусок — все осталось на дне той проклятой реки. Он только, исходя слюной, нажевал соску. Но девочка опять ее не взяла.

Она скоро умрет. Его и самого лихорадило.

За ночь опять выпал снег, мокрый, липкий, которому суждено снова сойти.

Влез в болото. Из припорошенных снегом моховых кочек под сапогами брызгала рыжая вода. Провалился ногой до паха в трясину. Вырвал отяжелевший от грязи сапог, прополз на коленях шагов двадцать и по смог подняться — обессилел от страха. Сидел, чувствуя, как немеет от холода промоченная нога. И тут девочка заплакала слабеньким кашляющим плачем. Она давно уже не подавала голоса. И это помогло ему подняться...

Неожиданно напал на свежий человеческий след. Бросился по нему. След пьяно блуждал среди кочек. И он ныл — наткнулся на свой собственный след.

За пазухой еще лежал обломанный со всех сторон кусок хлеба. Он шел и думал об этом куске.

С этими мыслями в темноте он добрал до пологого овражка, заросшего ольховником. Началась четвертая ночь под открытым небом. Он еле нашел сил набрать валежнику. Всю ночь не спал, всю ночь старался, чтоб костры горели жарче, и все-таки мерз.

«Крышка тебе, Трофим. Вот так просто — не встанешь утром и... крышка».

Привычно посерело небо, привычно расплзлась грязная мгла, забилась в глубь кустов, на дно овражка. А снег падал и падал, сырой, тяжелый, обильный. От него воздух

ескруг тлеющих костров становился каким-то прелым, нездоровым.

Трофим с натугой поднялся, перемотал непросохшие портянки. Все тело ломило.

С равнодушием заглянул внутрь одеяла. Лицо девочки было странным — с синевой, какое-то замороженное. Умерла или нет?.. Тронул пальцем щечку, но грубый, жесткий палец ничего не почувствовал. С трудом сгибаясь, притронулся губами, но губы его были горячи и сухи, ощутили холод — никак не мог понять: умерла или нет?

Так бы и лег рядом с девочкой да не вставал больше.

Вспомнил про хлеб, достал захватанный, помятый крохотный кусочек, взвесил на руке, выругался слабо:

— А чтоб тебя! Померла или нет?

Откусил хлеб. Глядя на девочку, съел весь кусок, не чувствуя вкуса хлеба, не наслаждаясь, что ест. А когда съел, стало стыдно: вдруг да жива, вдруг да подаст голос...

Из-за стыда неожиданно озлобился:

— Да что я, зарок кому давал!.. Что мне, сдыхать вместе с ней!

Это ли озлобление — как-никак живое человеческое чувство, — страх ли перед смертью совсем расшевелили Трофима.

Забрал подкидыша, тащил на себе, умилялся, красовался перед собой, забрел черт те куда, болен, голоден, сдыхает — ради чего? Проснись, Трофим, да мотай быстрее. Один-то как-нибудь выпутаешься.

Трофим встал, запахнул плащ, натянул потуже шапку, скользнул взглядом по ватному одеяльцу, волоча ноги, направился к лесу.

Без ноши в руках было непривычно легко и неловко. Такое чувство, словно раздет, вот-вот прохватит морозом.

«Матери она не нужна, так кому нужна? Ну, спасу, а куда девать, кто обрадуется? Может, лишний груз себе на шею повесить, выкормить, вырастить, замуж отдать? И спасибо не услышишь... Много ли ты от своего сына родного спасибо слышал?..»

Но как ни разжигал себя Трофим, а вспыхнувшая злость остывала, но-прежнему оставалась только связывающая неловкость — не хватает чего-то, забыто. И стучится в голову страшная мысль: «А вдруг да жива! Живую бросил!»

На кустах, на ветках деревьев лежал неопрятный клочковатый снег. Несмотря на близину, лес был сумрачен, не-

бо густое с грозовой просинью. И на Трофима мало-помалу нашло безразличие ко всему. Выпутается ли он из этого проклятого леса, останется ли здесь — не все ли равно? О доме, как о рае небесном, мечтает, а что дома?.. Будет все то же, что было на прошлой неделе, год назад, нового ждать нечего. Наверно, только станет вспоминать, как валялся у костра, как прижимал к себе завернутого в одеяльце младенца, как прислушивался — шевелится ли? Пожалуй, ничего другого в жизни не вспомнишь.

«А вдруг да жива! Живую бросил!»

Наискось узкую полянку перерезал след. Прямой, как по линейке. Похоже, по заснеженному лесу проскакала лиса, протыкая в мокрой пороше дырки. Это был первый след, кроме своего, который увидел Трофим в лесу. Пробежала лиса, оставила строчку.

И Трофима передернуло от этого следа. Он представил, как лиса боязливо обнюхивает брошенный им сверток, как засовывает острую, хищную морду в одеяло. Ой-то знает, как лисыцы обгрызают попавших в петли зайцев...

«А вдруг да жива!..»

И он, прихрамывая, держась за грудь обеими руками, поковылял обратно.

Лапник и одеяло в цветочках покрыл снежок. Только пенелица от двух костров были углисто-черны. Трофим поднял девочку...

И сразу все стало на свои места, все приобрело смысл. Надо идти, надо выбираться из лесу.

10

Вечером того же дня до него донесся горчащий запах дыма. Он проходил шагов десять, останавливался, вытягивал шею, с заросшим, прокопченным, страшным лицом, стоял, раздувая ноздри, принюхивался, как дикий зверь, и снова шел сквозь кусты, сквозь чащу... Лес расступился. В оловянную гладь озера белым клином врезалась заснеженная крыша. Черная труба на этой крыше не дымилась. Дым тянулся от придавленной к земле баньки.

Место сначала показалось незнакомым Трофиму. Дом у озера?.. И какое это озеро?.. К Анисиму он же не мог выйти...

Но подойдя вплотную, он увидел покрытый снежком стожок сена, обнесенный крепкой изгородью от лосей, уз-

нал баньку, понял: все-таки вышел к Анисиму, но только с другой стороны. Значит, где-то пересек дорогу и не заметил ее.

Обогнул стожок, по тропинке добрался до крыльца. С ходу подняться не смог, присел на ступеньку. Сидел, прижимая к себе туго свернутое одеяло, глядел на синие сумерки.

Из окна на синий снег упал теплый невесомый пласт света. И Трофим, чувствуя каждый неподатливый сустав в теле, встал. Занесенная нога не попала на ступеньку, и он сорвался лицом вниз, успел подумать: «Беда, ее придавлю...»

На лавке уже лежало приготовленное чистое исподнее. Анисим ждал — жена истопит баню, позовет его, а пока вздул лампу, стал пристраиваться с книгой.

В зимние бесконечные вечера на лесном кордоне очуешься от тишины и скуки — до ближайшего соседа три километра, до Пахомовской избы-читальни, куда наезжала кинопередвижка, — пять. Книжки стали стариковской страстишкой лесника. Любил читать про все, что не похоже на знакомую жизнь, — про мушкетеров, про моря, про корабли, про страны с пальмами.

Анисим услышал, как что-то упало на крыльце, подумал на жену: «Непутная. Оставила бадейку на пороге, сама же и наткнулась». Но долгая тишина после этого насторожила: «Чтой-то с ней? Не зашиблась ли?» Поднялся из-за стола.

В голубеющих снежных сумерках, растянувшись через все ступеньки, лежал на крыльце рослый человек.

— Эй! Кто ты?

Анисим перевернул гостя, увидел заросшее густой щетиной лицо, черные провалы глазниц и не узнал.

— Кого занесла нечистая сила?.. Без памяти... Ну-ко-сь.

Подхватил под мышки, потащил в дом. И уж в избе, при свете, не по лицу, разбойно заросшему, а по плащу признал Трофима.

Вошла жена, песя в охалке какой-то узел:

— Глянь, что на крыльце...

И осеклась, увидев на полу, в распахнутом мокром плаще, задравшего каторжный подбородок человека.

— Трофим с пути сбился, — сообщил Анисим. — Образ людской совсем потерял.

И тогда она заглянула внутрь одеяла и ахнула:

— Ребеночек!.. Он принес... Мертвенький, кажись!..

Через три дня рыбаки, умыкнувшие лодку Анисима, перевозили Трофима через озеро.

Он сидел у самой кормы, на его отощавшей, порезанной во время бритья физиономии, в глубоких складках таилось что-то особое, каменное, пугающее всех.

Трофим сумрачно молчал, а рыбаки с удивлением и робостью косились на него.

Часть вторая

1

Вот он и дома...

Почему-то вспоминается Трофиму Мирон Крохалев, мужик из их деревни...

Два брата Крохалевы, Матвей и Мирон, после смерти отца стали жить каждый своим домом. Поделили, как люди: тебе кобыла — мне корова, тебе телка — мне жеребчик, вплоть до горшков и ухватов, иконы с божницы пополам. У поделенной по-братски земли лежала пустошь, просто болотце с жидким осинничком. Его-то не делили — в голову не пришло.

Но вот однажды весной, когда березовый лист «вымахал с копейку», старший, Матвей, обрядив все свое семейство в опорки, вышел на пустошь жечь новину — валили осины, складывали в костры.

И тут наскочил Мирон:

— Куд-ды, так твою перетак!

— А чего? Земля-то небось не твоя.

— Это уж не твоя ли?

И схватились за колья, и лег Мирон отлеживаться под осинку.

И нанятые грамотен принялись строчить бумаги, и обиженный Мирон кричал:

— Ужо запляшет Матвейка!

Он свел на базар корову, распродал овец, забыл дом, пропадал в городе; не зная грамоты, выучил наизуток все заканы: «Ужо запляшет Матвейка!»

Шел год, другой, третий, и каждый кончался надеждой: «Ужо запляшет...» Долго не выплясывалось, но так-таки оспили.

Рассказывали: Мирон вышел к пустоши, поглядел на

квелье осинки, которые теперь были его, а не Матвейки-вражины, и вдруг спросил недоуменно и жалобно:

— Это что же? Конец, значит?

И напился после этого. И стал пить без просыпу. И еще долго жил.

Трофим в детстве видел его: мутные глаза с кровавистыми жеребьячьими белками, в рыжей бороде запуталась сольма, истекает тягучей слюной, сишит.

— Для чего живу? А?.. Живу и звезды не вижу. Горшок порожний моя жизнь. А бывалоча, сам мпровой судья Кузьма Прохорыч Певунов мне ручку с перстеньком тянул... Для чего живу? А?..

Трофим долго и тяжело добирался до дому. Вот он и дома. Стены с покоробившимися обоями, линяло-желтым, со знакомым сальным пятном, мокрое окно, мокрые тесовые крыши за ним, сумрачная печь и стол с распатанным венским стулом.

Вот он и дома. Жена ссохшаяся, сморщенная; запавший рот хранит унылую скорбность — совсем уже старуха, ходит тихо, по-мышинному шуршит у печи, нет-нет да оглянется, и взгляд ее тягучий, долгий. Она уже до приезда Трофима знала, что случилось. Не похоже, не он: тридцать лет, считай, без малого прожили бок о бок, сын рос, а на руках у отца не бывал — и вдруг с младенцем нянчился. Непонятен, а ночной заяц страшней волка днем.

И Трофим чувствует этот недоуменный страх. Вот он и дома, а слова сказать не с кем.

И лезет в голову давно забытый неприкаянный крикун-пьяница Мирон Крохалев: «Это что же? Конец, значит?»

Нет, надо жить. Настало утро — хошь не хошь, а вставай.

Он умылся, съел вчерашние щи, не потому, что хотелось есть, по привычке — жить-то надо.

Роясь в карманах пиджака, чтоб достать кисет с табаком, Трофим выудил сложенную бумагу, развернул — нацарапанный вкривь и вкось на колене у костра акт на рыбаков, побросавших сигов в котел.

Жить надо, надо работать, исполнять, что положено.

Бревенчатый городишко, плоский, голый, крытый темным тесом, разогнавшись грязными улочками, казалось, ударился прямо в непробиваемо-серое небо. Такое ощу-

ценне, что там, за крышами крайних домов, обрывается земля. Впрочем, так оно и было: земля обрывалась, начиналось озеро — одно из многочисленных в этом краю озер.

Бревенчатый городничко, он начальствовал над спрятавшимися в леса и болота деревеньками и селами. Здесь были учреждения, без которых не обходится ни один районцентр. Среди них маленькая контора в тупичке улицы, выбегающей на берег, с подслеповатой вывеской: «Районная инспекция рыбохраны» — быть может, самая неприметная. О ней не шумели на собраниях, ее не разносили, не прорабатывали, не славил в печати. Останови прохожего, спроси, где находится, — не всякий ответит, хотя бы это и был старожил, знающий свой город не только вдоль и поперек, но и в глубь бревенчатых стен. Однако, если спросить у того же прохожего, где пайти Пал Палыча Чурилина, — укажет без ошибки улицу, дом, крыльцо, то самое, над которым висит не привлекающая внимания вывеска.

В приозерном городке все — от последнего мальчишки до первого секретаря райкома партии — поголовно рыболовы. Все знают, что, где и как ловить, — этим распоряжается Чурилин, с ним на всякий случай не мешает водить знакомство.

Павел Павлович Чурилин в свое время занимал должности и повыше, чем районный инспектор рыбнадзора. В годы войны работал уполномоченным по заготовкам — фигура заметная, на бюро райкома кулаком постукивал, выдвинули после заместителем председателя райисполкома, бросали на укрепление в отстающие колхозы. И это было не так уж давно, но все почему-то забыли его руководящее прошлое, а охотнее всего его забыл сам Пал Палыч. Казалось, он вечно сидел за низким столиком в тесной комнатухе рыбохраны, рядом потасканная форменная фуражка речника, несколько лет назад подаренная знакомым механиком с букспра, стопка казенных бумаг и под локтем — тощая захватанная книжица — правила рыболовства, куда записал вся премудрость, которой руководствуется Пал Палыч. Книжка эта выучена от слова до слова, и лежит она под рукой для того, чтоб при нужде ткнуть кому в нос: «Видишь — черным по белому пронечатано!» И восторжествовать нешумно: «То-то, брат».

Сам Пал Палыч невысокий, высохший, с желтым канцелярским, сморщенным личиком; только лысина, креп-

кая, гладкая, обширная, вызывает уважительную мысль: «Ей-ей, в этой башке не одни правила рыболовства спрятаны».

Своих участковых инспекторов, или, как их величал, «босвую пятерку», Пал Палыч называл ласково «милоч» да «дружок», но так же ласково умел и пажать: на печке не отлеживались. О Трофиме Русанове он отзывался с похвалой: «Мертвая хватка, нам такие волкодавы нужны» — и держал его в черном теле: участок выделил самый большой, разбросанный, по особо щекотливым случаям толкал его: «Ноги в руки, милоч!»

Трофиму нужно было заявиться к Пал Палычу, а раз заявиться — значит, отчитаться, а раз отчитаться — выложить на стол акт на рыбаков.

Пал Палыч прикрыл бумагу крепенькой рукой в золотистой шерстке, от глаз к остаткам волос потянулись улыбочивые морщинки:

— Явился герой. Что, милоч, нонал в переплетик? А ведь, гляди, даже с виду изменился. Как думаешь, Розалия Амфилохиевна, изменился он?

В тесной конторе, кроме Пал Палыча, постоянно находился еще один человек — женщина с унылым лицом, сильно косящая на один глаз, счетовод и кассир, делопроизводитель и даже уборщица по совместительству. Она была туга на ухо, потому упорно молчалива, но это не мешало Пал Палычу поминутно обращаться к ней за подтверждением: «А так ли я сказал?..» Причем имя ее — Розалия Амфилохиевна — он выговаривал с особым вкусом.

Розалия Амфилохиевна не подняла от своего стола лица, не взглянула на Трофима, ответила невинтно:

— Бу-бу...

— Ты глянь, — попросил Трофим. — Дело-то копеечное.

Пал Палыч опытным взглядом окинул мятую бумажку, отложил.

— Ну и славненько.

— Что — славненько?

— То, что наскочили. Передадим, куда следует, штрафнут для порядка. Верно, Розалия Амфилохиевна?

А Трофим почему-то ждал, что Пал Палыч откинет бумагу: «Крохоборничаеть, дружок мой милый», — случилось и такое. Но тот не оттолкнул, и у Трофима появилось чувство острой неловкости: а так ли делаем?

— Грех-то невелик, простить бы можно, — произнес он хмуро.

Пал Палыч кольнул взглядом Трофима:

— Раз невелик, зачем его до меня нес? Взял бы да простил сам...

А Трофим и сам не знал, зачем принес, скорей всего по привычке: написана бумага — нужно донести.

— А коль принес мне в зубах, я покрывать не намерен. Вдруг, скажем, Розалия Амфилохиевна решит на принципах настоять, черкнет на нас заявленьце: так, мол, и так, попустительствуют. Кому первому ударят по шапке? Мне, не тебе!

Розалия Амфилохиевна не расслышала, думала, Пал Палыч обратился к ней с вопросом, ответила:

— Бу-бу...

И Трофима рассердило ерошничество:

— Ты и покрупней грехи покрывал. Припомни-ка: в прошлом году акт тебе принес па целую компанию, сети в нерестовые ямы кидали. Этот акт пропал, словно с кашей его съел. Почему бы это?

— Почему?.. Скажу, не утаю. В той компании козырные валеты были, не нам с тобой их бить.

— Это верно, рыбаки — не козырная масть, можно на них отыграться, к отчету пришить.

У Пал Палыча чуть-чуть порозовела лысина, веселые глаза потемнели:

— Знаем, знаем, считаешь всех нас — жулики, ты один ангел чистый. А разберемся, ангел, какова твоя чистота? Понрекаешь меня — через одного прощаю. Но всех-то подряд простить нельзя. А вот я чего не смог бы, того не смог — в уху заглянуть, каюсь. Ты заглянул, акт составил. Рыбачки на осеннем ветру, на холоде жилы вытягивали, а на вот — утрись, братцы, ничего за работу не получите. Штраф!

— Так сделай, чтоб не было штрафа. О чем прошу?

— А вот и другое — ты ставь крест, ты рискуй, а я в сторонке побуду. Тоже хорошо, тоже по-ангельски. Так кто ж, выходит, чище из нас двоих: ты или я? Пусть, так сказать, массы рассудят. Кто из нас чище, Розалия Амфилохиевна?

— Бу-бу... — отозвались массы.

— Хвалишься: через одного прощаешь. Через одного! Скажи лучше: по выбору, с выгодцей...

— Эк чем уел. Слышала, Розалия Амфилохиевна?.. Да, с выгодцей, да, с расчетом. Без расчета одни дети неразумные живут. Лишь бы расчет дела не заедал. Общего дела! А попробуй-ка попрекни, что за делом не слежу... Не

выйдет! И волкодавов приручил потому, что для дела полезны. Для этого тоже сноровка нужна.— Пал Палыч встал, добавил с холодком: — Только смотри, портишься что-то, волкодав, не стареешь ли? Коль зубы выпадут — мне не нужен.

Розалия Амфилохневна, навесив нос над счетами, щелкала костяшками, шуршала бумагами, один ее глаз глядел в бумаги, другой — мимо стола на сапоги Трофима.

3

Трофим вышел раздавленный, волоча отяжелевшие ноги.

Похватили душу, ощупали, как старый пиджак на базаре, показали — тут дыра, тут прореха, ты дорожишь, а вещь-то ничего не стоит — хочешь носи, хочешь выброси.

Темные бревенчатые дома, осевшие в землю жмурились из-под крыш мокро отсвечивающими оконцами, и вид у них под промозглым дождем был довольный.

Прежде Трофим в окружении этих домов жил, не размышляя и не мучаясь. За бревенчатыми степами — будь начеку — коротают век те, кого ты должен подозревать. Подозревай — нужно для дела! А у Пал Палыча за его спиной свой расчетец: простак волк ловит хвостом в проруби рыбку лисичке.

Домой рвался пз лесу, а теперь хоть обратно в лес беги.

И вспомнилось: не далее как позавчера они втроем — Анисим, его жена, он, Трофим, еще небритый, сохранивший вынесенную из леса одичалость, с дрожащими от слабости коленками, — вышли на берег Пушозера. На взлобке, где посуше, под узловатой сосенкой Анисим ткнул раз десять заступом, вырыл могилку. Жена Анисима, прежде чем положить трупик девочки в землю, сурово спросила Трофима:

— Как назовешь-то?

— Чего? — не понял Трофим.

— Как пазовешь-то, спрашиваю? Человек все-таки, не кошку хороним, негоже, чтоб без имени в могилу.

И оттого, что у девочки не было имени, и оттого, что назвать ее должен был он, как родня, как самый близкий ей, перехватило горло: вот-вот на людях заплачешь, как баба. Трофим сморщился и махнул рукой:

— Как хошь назови... Ну, Анной, что ли...

Когда уходили, Трофим оглянулся, и его, только что умиравшего в осеннем лесу, чего только не нагладевшего там, место могилки поразило своим невеселым видом: тускло-темное, тяжелое, как чугун на изломе, озеро, плоский в сырой сопревшей травке пригорочек, старушечьи-мослаковатая сосенка и еле-еле приметный издали торфянисто-траурный холмик.

Уходит от него...

И уже нельзя одумать, вернуться обратно, как возвращался к избушке или там, в лесу, к овражку...

Неужели виновница не оплатится за этот холмик?

Налитое чугунной тяжестью озеро, скрюченная сосенка — божья старушка, торфянистый холмик... Никто не ответит?..

Неожиданно Трофим остановился посреди улицы. Ударилась мысль простая, ясная среди других путаных, угарных, она открылась, как свежее яичко в ворохе мусора.

Найти нужно...

Найти самому, нечего рассчитывать, что другие найдут.

Самому сделать доброе дело: раз девка на такое смогла пойти, то она при случае отца родного отравит, мужа изведет, брата прикончит — не должна безнаказанно жить!

Найти, вытащить на белый свет!

И чувствовал, как силы вливаются в тело.

Жизнь снова обретала смысл.

Торфянистый холмик под сосной, прольются на тебя еще вражьи слезы!

4

Он не знал, что сделает с девочкой. Просто ли передаст в суд, под закон, или выведет на люди, порадует, как будут плевать ей в лицо, или не удержится, задушит своими руками — за вздутое, обваренное, несчастное тельце, за черный холмик на берегу озера, за свою растравленную душу!

Там будет видно, но найдет!

Ночью он не спал, лежал, щупал темноту широко открытыми, невидящими глазами, соображал, как лучше взяться за дело.

Лесная избушка стояла на копновских покосах — значит, через озеро самая ближайшая к ней деревня Копновка. Деревня, как почти все кругом деревни. Трофим ее хо-

ропно знал — не так уж велика, дворов пятьдесят. В таких деревнях каждый человек как на ладони. Не могут не знать, что какая-то девка или баба скрылась на время. Не могут и пропустить мимо глаз — было брюхо, потом опало. И уж ежели до этой деревни долетят слухи о найденном младенце, подозрения выползут паружу, как груздь из-под прелых листьев. Но и девка была бы последней дурой, если б не учитывала того — должна как-то схитрить, замести следы...

Могла она приехать на лодке по озеру и из дальней деревни, хотя бы из Клятищ. Деревень что онят — настолько дик тот берег, настолько этот густо заселен. Там — места гнилые, болотистые, здесь — повыше, посуше, в глубокую старину начали лепиться деревушки в этом краю.

И еще плохо: Трофима все знают и все не любят — не раз приходилось хватать за рукав деревенских рыбацков. Плохо и то, что слух о его истории расплывается по всем углам. А это может спугнуть девку.

Лучше всего пожить бы в какой-нибудь подозрительной деревеньке недельку, две, не расспрашивать, а только слушать. Тогда наверняка дойдет: мол, та паскуда в курной избе ребенка кинула. Но у Трофима никого из родни в этих деревнях не было, а если б и была родня, то ни он их, ни они его гостьбой не жаловали. Выехать просто так, поселиться у какой-нибудь старушки — опять подозрительно: «С чего это он в такую пору курортничает?» Не так-то просто выудить поганую рыбку.

Трофим перебирал в памяти знакомых, живущих по побережным деревням. Знакомых много, но эти знакомые пусть сами готовы девке на подол плюнуть, а для него, Трофима, землю рыть не будут.

И неожиданно вспомнил: «Анпсим-то родом из Нижнего Осичья, это как раз возле самой Копновки. Там у него — кто не кум, тот сват». Анпсим видел мертвую девочку, сам стервил на чем свет стоит гулящую девку. После того как Трофим вернулся, не только Анисим, но и его жена, эта баба-солдат, радели к Трофиму — отпаивали молоком, парили в бане, выхаживали, как могли. Анисима можно упросить, чтоб съездил на недельку к родне — часто туда ездит, глядишь, мимоходом свою нуждишку справит. Его-то никому и в голову не придет опасаться. На худой конец, ежели Анпсиму недосуг самому съездить, то пусть кому из Осичья накажет разузнать.

«Найду курву...» — Трофим, успокоенный, заснул.

Иа другой день он начал собираться к Анисиму. Вспомнил, что жена Анисима плакалась: часто угорает возле печи, а в Пахомове нельзя найти нашатырного спирта. Купил ей спирт. А так как дорога от аптеки шла мимо книжного магазина, вспомнил про страстишку Анисима, завернул в книжный, куда еще никогда не заглядывал. Долго щупал книги, приглядывался к картинкам на обложках, выбирал поцветистей и потолще — бог с ним, что стоят дороже, зато Анисим целую зиму будет мусолить страницу за страницей, поминать добрым словом Трофима. Наконец выбрал: Август Бебель, «Из моей жизни», потому что на обложке — почтенный человек с бородкой, а значит, и жизнь его должна быть почтенная, кроме того — толщина в кирпич.

И в этих сборах было что-то легкое, радостное — едет не по службе, а, считай, в гости. Трофим же не счесть сколько раз в году почевал под чужой крышей, ел за чужим столом, а бывал ли он хоть раз в жизни в гостях?.. Что-то не припомнит.

На попутной машине до Пахомова. В Пахомове найти лодку нетрудно. И вот он снова у Анисима.

Хозяйка приняла пузырек с нашатырным спиртом: «Вот спасибо-то...» В простенке на дощатой полочке меж других книг уместился пухлый Август Бебель. На столе — печенье, конфеты и бутылочка «Московской», тоже привезенные Трофимом. И поет начищенный самовар и хрящеватый нос Анисима, пропустившего стопочку, опрокинувшего в себя четыре стакана чаю, тоже отливает медью.

— Не могу, чтоб эта гнида жила безнаказанно, — говорит Трофим. — Ты уж мне помоги. Жизни нет, ни минуты покойной — все только о ребенке и думаю...

Анисим отмалчивается, цедит сквозь жидкие усы из блюбочка чай, ждет, что скажет жена. Сейчас, перед зимой, начальство не тревожит, можно на месяц скрыться из сторожки, но как жена — одной в лесу бабе оставаться страшновато, хоть за много лет и попривыкла к бирючьей жизни. И дом не бросишь — корова, телка, подсвинок ухода требуют.

А Трофим наседает:

— Святое дело — землю от пакости очистить. Худую траву с поля вон. Ты же сам костил ее почем зря в прошлый раз. Вспомни, как девчонку-то зарывали. Иль у тебя сердце луженое? Эх, да чего уж, как подумаю — варом обдает.

Анисим молчал, а его жена сказала:

— Тебе легче станет, если к прежней беде новая нарастет?

— Это на кого беда? На сучку блудливую? И злому осоту не сладко, когда его с грядки с корнем рвут. От такой беды всем легче станет.

— Блудливая? А вдруг да горемыка разнесчастная. Мало ли обманутих вашим братом.

— Ты чего защищаешь? — прикрикнул на жену Анисим. — Припечь бы такую не худо.

— При-печь... Много вы оба понимаете в бабьем горе. Может, в такие клещи попала, что хоть в омут головой.

— А хотя б и в омут, — возразил Анисим, — все греха меньше.

— Оглянись на себя! Тебя-то можно ль заставить в омут нырнуть? Трактором потащат, отбрыкиваться будешь.

— У тебя были дети? — строго спросил Трофим.

— А то нет! Трех родила, да на поги-то поставить одного привелось.

— Так детей своих вспомни. Погубила бы ты их своими руками? Что молчишь?.. Ты же мать, ты же пуще нас, дубовых мужиков, к сердцу принять должна. Я вот забыть не могу, как у могилки вместе имя девочке давали, ты чего-то быстро забыла.

И жена Анисима осеклась, сидела за столом надутая, не остывшая, тронь — ожжет; но это только казалось, так себе — самовар, в котором угли потухли.

Анисим рассудительно заговорил:

— Припечь бы такую не худо... Всей бы душой тебе помог, но, сам посуди, как уехать на неделю? В лесу-то в эту пору уж так невесело, что и мужик в одиночку, гляди, затрубит волком, а тут бабу оставить — будет она по ночам зеленых чертей гонять. Нет, не поволь.

— Тогда через кого другого помощи дознаться.

— Это можно. Рыбаки-то гуляют по озеру, попрошу — пусть заглянут к Пашке Щепенкову, он по матери брата-ном мне приходится. Мужик допный, а баба его на сажень под землей свежинку чует, они-то разнюхают. Да коль та сучка хитро следы не замела, сам собою грех вылезет паружу, не кручинься.

Большого добиться Трофим не мог.

Ждать, когда само собою вылезет наружу, видеть, как проходит день за днем, втягиваться помаленьку в жизнь, лепивенькую, словно послеобеденная дремота, привычную, как белесое небо в окошке, а та до сих пор не открыта, той так и сойдет с рук злодейство!..

И уже начинают люди забывать историю, уже не судачат по домам и не оглядываются на улицах вслед Трофиму...

Так и сойдет с рук?.. Не бывать этому! Найдет! За уши вытащит!

Трофим потолковал с Пал Палычем: «Не мешало бы процупать Пушозеро па всякий пожарный случай — на рынке сбывали незаконную рыбу, не деревенские ли рыбаки чудачат?..»

Пал Палыч любит, когда дело вертится само собой, без пажима, махнул рукой — езжай, а сам сочинял бумагу в бассейновую инспекцию, выпрашивал еще одну штатную единицу, второго моториста на катер.

Зима в этом году медлила. Давно уже леса голые, давно уже семга вышла из рек, попряталась в глубину, давно на полях киснут зеленыя озимых, уже пять раз выпадал снег и каждый раз сходил, оставляя после себя слякоть на дорогах. Озера стоят черные, при виде их зябнет спина.

Трофим шел на весельной лодке от деревни к деревне, ночевал в избах, прислушивался, а чтоб навести на разговор, сам охотно рассказывал, как нес младенца. Его слушали, охали, любопытствовали, судили мать-злодейку, но ничего путного не сообщали — рады бы, да не знали.

Он добирался до очередной деревушки Бобыли, запозднился, наливалась ночь над черной водой, недалекий берег расливался и начинал смахивать на застывшую тучу. Картаво вскрикивали уключины, падали весла, наводили тугую нефтянистую волну, и гребни этой волны улавливали мутноватый отсвет сумрачного неба. И казалось, все живое вымерло вокруг и весь мир с деревеньками, с мокрыми лесами, с людьми, с лесной живностью залило бездонное озеро.

И в Трофима, как это часто случалось в последнее время, внозла зверем тоска, хоть бросай весла и кричи криком. Один на свете — безродный, несогретый, никому не нужный, один, и нет надежды, что найдешь кого-то. Уже

близка старость, в его годы любой человек сидит, как в шубе, внутри семьи — дети, которых когда-то носил на руках, внуки, лезущие на колени. Ничего! Голый, зябнувший, истощенный злобой. Все эти годы злоба идет по пятам. Вот и сейчас сбежал из дому, ищет... А вдуматься — что ищет?

Вскрикивают уключины, всхлипывают весла, лодка режет жирную воду, везет его в незнакомую деревню, к незнакомым людям. И он будет считать удачей, если найдет, если растопчет ту, что ищет, и ему кажется, что от этого ему станет легче.

В стороне от берега, на воде теплился огонек. Единственная светлая точка в мокрой темени — деревня-то далеко, светящихся окон не видно, — единственная на весь обступивший мир, дрожащая, неверная, ласково зовущая к себе. И правое весло само собой налегло сильнее, само собой нос лодки нацелился на огонек.

Огонь на воде, огонь среди озера, где не бывало и пет никаких бакенов, мог означать только одно — «лучат рыбу».

Поздней осенью, вплоть до ледостава, в холодной воде рыбы дремлют. В эту пору у них на время остывает неумеренная жажда к жизни — не рыщут с прежней энергией, кого бы сожрать, не прячутся, чтобы не быть сожраанными, не увиваются возле самок — «трошки тупеют», как говорят в деревнях. Рыбаки на нос лодки устанавливают из железного листа жаровню, разводят на ней огонь, берут длинную острогу. Костер освещает воду, она, в темноте нефтянисто-черная, при отсветах пламени хотя и скупо, но открывает секреты — шевелящиеся водоросли, затонувшую корягу и наконец обморочно застывшую в скупой пестрой расцветке щуку. Тогда вскидывай острогу и не промахнись... И в этой ловле были свои прославленные мастера добытчики.

Но «лучить рыбу» запрещалось, хотя и не очень строго жились — проступок не из больших. Однако Трофим ехал сейчас не для того, чтобы схватить кого-то за шиворот, а чтоб согреться у живой души.

На вскрученных волнах, на мокрых лопастях весел, в каплях воды, срывающихся с них, засверкали горячие и веселые отблески костра. Казалось, костер горит прямо на воде, отбрасывая длинную тень в одну сторону. Эта тень была дубасом, лодкой-долбленкой, не всякий-то с такой справится, а уж тем более не решится на ней гулять ночью по озеру.

Обычно лучат вдвоем — один на весла, другой на носу с острой. Но Трофим в дубасе разглядел одинокую нахохлившуюся фигурку, подумал с одобрением: «Видать, хват. И с острой, и с шестом, и сам огонь подправляет, да еще на такой душегубке».

Человек давно уже приглядывался и прислушивался к приближающейся в темноте лодке. Он был мал и тщедушен, как подросток, голова в лохматой зимней шапке ушла в сутулые плечи, сухонькое личико и козлиная седая борода — в своем узком длинном дубасе походил на паука, плывущего на палке.

Он, наверное, узнал известного всем рыбакам на Пуши-озере Трофима Русанова и потому находился в оцепенении.

— Ну, чего ты? — подворачиваясь мягко бортом, стараясь не толкнуть верткий дубас — немудрено опрокинуть, — сказал Трофим. — Ну чего уставился? Все ждете, что я вас есть буду да кости выплевывать. Эх, люди!.. — И уже виновато, чтобы как-то оправдать свое появление, пояснил: — Спички утерял, прикурить хочу... Василий Никифорович, кажись?

— Он самый.

— То-то, думаю, какой ухарь в одиночку лучит. Ну, поздравствуемся, что ли, как добрые люди?

— Здравствуй... Спички тебе? Чичас. Упратал их...

И старичок засуетился, каждым движением вызывая содрогание своего утлого суденышка.

— Чичас. И куды оне, треклятые, запропастились?

— Головню дай.

— Чичас...

Василий Никифорович, сидевший в дубасе, носил фамилию Бобылев. Но так как в деревне Бобыли все поголовно были Бобылевы, а среди них еще один Василий Никифорович, то при разговорах всегда переспрашивали: «Это какой? Тот, что щуку в озере привязал?..» Именно тот, что Щуку Привязал, и сидел, робея, неподалеку от Трофима. Из-за щуки, которую поймал на крюк, не смог вытащить — велика была, однако, — а потом привязал, как козу, к стойке вымостков, где полощут бабы белье, он и был знаменит.

— Уловишко-то есть?

— Чуток зацепил.

— И больших?

— Да вот глянь, я не прячу.

Трофим привстал на лодке, заглянул на дно дубаса,

где под сапогами Василия Никифоровича белели брюхами заостроженные шуки.

— Одна вроде подходяща.

— Сходна. Время-то не ловое.

Трофим не хотел уезжать. Ему приятно было видеть, как оттаивает старик, уже благодарный за одно то, что грозный рыбный начальник, о котором ходит дурная слава, не накричал, не возмущился, разговаривает по-человечески. Не хотелось уезжать в ночь, в темноту, в одиночество. Приятен был разговор, свет костра, тянуло на душевность, сам не сознавая, старался подладиться к старику, задобрить его словом.

— И что ж ты без напарника едешь? Одному-то трудно справляться.

— Эва, трудно! Еще мальчонком наловчился, а теперь за шестой десяток перевалило. Было время обвыкнуться.

— Я бы не сумел.

И от этого признания старик не удержался, раздвинул в улыбке сквозную бородашку.

— Ты-то, горюн, чего на ночь глядя блукаешь? Ай озеро твое украдут?

— Верно, отец, горюн...

Трофима захлестнуло теплое чувство к старику. Навалившаяся невеселая ночь, безлюдное угрюмое озеро, сиротские мысли взорвали его, и он, торопясь, стал рассказывать:

— Верно ты заметил — горюн. Места вот себе не нахожу. Слышал, чай, что со мной стряслось? Девчонку-сосунку напел в лесу, пес, да не допес, похоронить пришлось. И чего, вроде не родная мне, а нет покою. Сердце горит, как вспомню. Какая-то стерва покинула на смерть. Дитя свое сгубила и меня губит... Не отыщу места, никак не отыщу. Ты думаешь, по службе здесь езжу? Да пропади она пропадом. Служба-то волчья, после нее всем нехорош, на тебя как на цепного пса смотрят... Езжу я, чтоб эту проклятую богом девку на чистую воду вывести. Не жизнь мне, пока ее не открою. Притаилась, змея, обождите — вот ужалит еще кого... Дай срок, вытащу из-под колоды, положу под каблук — хрустнет темечко!..

Вяловато горели сухие гнилушки на носу дубаса, прорывающиеся языки пламени плескались в стоячей воде, с треском падали угли, шипели... А над придавленно-сонным озером разносился звонкий и сильный от неизрасходованной ненависти голос. Берег отзывался на него приглушенно-истеричным эхом. Сковывающая озеро немота

исчезла, казалось, оно где-то в глубине начинает шевелиться, скоро стряхнет сонную одурь — и уж тогда конец всему...

И старик опять оробел, втянул в плечи лохматую шапку, снова стал походить на паука.

Трофим заметил его робость и замолчал. Эхо под берегом глухо пролаяло его последние слова.

Вот всегда так получается: подъехал к человеку с добрым словом, с лаской, с открытой душой, а вместо ласки — как из ушата, облил его перекинувшейся злобой. С открытой душой, а в душе-то, видать, ничего, кроме этого, нет, открывать ее добрым людям опасно.

Рассердился на себя, рассердился на старика, и уж совсем пекстати в сердцах сказал:

— Поди, спрячete ее. А я-то, дурак, петухом пою перед всяким.

— Кому нужда прятать такую? — слабо возразил старик.

— Ладно, — буркнул остывший Трофим. — Чего зря толковать... Не поминай лихом, дед.

Веслом бережно отодвинул от лодки дубас, нацелил весло на уключину.

— Слышь-ко...

— Чего тебе?

— Народ поговаривает, чуял...

Занесенные весла застыли над водой.

— Ну!

— Чуял краем уха... Про Любку, Тихона Славина дочку, брешут.

— Верно ли?

— Да кто ж знает... Поговаривают... Уезжала-де и там спроворила. А прежде брюхатой ее примечали.

— Любка? Славина? Ты ее знаешь?

— Не. С отцом ее приходилось сталкиваться. Лет пять назад тес у меня купил. Да ты о нем, должно, слышал — бригадирствует ныне в Клятицах.

— Значит, из Клятищ она?

— Стало быть, из Клятищ... Да может, брехня все. Ты веры-то особой не давай.

— Клятищи вроде далече от избушки. Непохоже, что баба на спосях столько веслами отмахала.

— Ухажер ежели подкинул... Ой да не слушай меня — брехня все. И говорить-то, поди, не надо. Бес толкнул.

— Ладно!

Трофим налег на весла.

Клятищи — самая дальняя деревня по берегу. Если б Трофима не остановило в лесу несчастье, то от Анисима, огибая озеро, он пришел бы сначала сюда.

В старое время клятищенцев величали «загибыши». Крепкие мужики, строго придерживавшиеся старой веры, свято соблюдали посты, но и в посты ели так, как по другим деревням дай бог на пасху: пшеничные пироги с рыбой, загибыши — брюхо не в обиде и богу любо.

Сама деревня громоздилась на берегу темными северными избами. Каждая изба — бревенчатая хоромина в два этажа, прятанная под крышей не только жилье, но и повети, клетки, подклеты, летники, каморы. В каждой избе жила прежде огромная семья с престарелыми родителями — стариком и старухой, с бородатыми сыновьями, морщинистыми невестками, их песчатыми детьми: парнями, молодухами, ползунками, сосунками в люльках, свисавших по горницам с потолков.

Сейчас большинство изб заколочено. Во многих под обширной крышей, в пустых горницах коротали жизнь или древняя старуха, или старик — соломенный вдовец. Лесопункты, все глубже и глубже забирающиеся в леса, сплавные участки, разбросанные по берегам рек и озер, перевалки, эти шумные внутренние порты по вывозке леса, высосали народ из деревни. Молодежь год из года нанималась на сторону, вила гнезда за пределами Клятищ. Громадные избы слепли одна за другой.

Но еще оставались дома, полные жизни, где все окна дерзко и весело глядели на улицу, где крыши не прогибались от ветхости, углы не отваливались и в пазах между бревнами, почерневшими, древними, торчала конопатка из свежего мха.

Трофиму показали на один такой дом:

— Туточки живет Тихон Славин. Гостей кабыть принимает.

Новенькие пряслица огорожи, размятая от непогоды дорожка через просторный двор, где выпнулась тунными коленами пара сильных, сияющих белизной берез. Перед крыльцом набросан щедро еловый лапник — входи, гость, но вытирай ноги. Само крыльцо вымыто, выскоблено, а у порога еще брошена ветошка — от бабок-староверок осталась привычка, те чисто любили жить.

Вытирая ноги, берясь за железное кольцо в дверях, Трофим услышал изнутри веселые громкие голоса и поче-

му-то без всякого злорадства подумал: «Вот не догадываются, что беда встала на порог».

Подумал, нахмурился, толкнул сильно дверь, шагнул...

В красном углу за столом тесно торчали льняные головы детишек, среди них двое мужчин: молодой — пшенично-патлатый и возбужденно краснорожий, в чистой, необмятой, видать надетой после бани, рубахе, и постарше — суховатый, с чеканным, горбоносым, празднично выбритым лицом, должно быть сам Тихон Славин.

У печи разогнулась разрумянившаяся баба, не молодая и не старая, по улыбочиво гнездящимся морщипкам можно понять — бесхитростна, уживчива и теперь довольна минутой. Она озадаченно склонила на плечо голову, без слов ясен ее вопрос: «Кого бог послал?..»

Белые головы ребятишек повернулись, как по команде, круглые глаза хозяина на тонко кованном лице глядели с деловитой строгостью. Неуклюже развернулся широким туловищем и патлатый парень.

— Италь, не ко времени, — хрипловато сказал Трофим.

И словно ожгло: из боковушки вышла молодуха, грудастая, бедристая, с выправочкой — отцовская спесивая строгость в выпяченной нижней губе.

Так вот она какая! Похожа. Такой вроде и представлялась. И цветет себе маковым цветочком, не болеет душой...

Трофим спросил осекающим голосом:

— Любовь Славина? Это ты будешь?

Метнула брови на лоб, сильнее выпятила губу, ответила:

— Я... А что?

— Выйдем на крыльцо па пару слов.

За столом зашевелился парень, спросил с угрозцей, не обещавшей ничего доброго:

— Эт-то что за секрет? Ты сам-то кто?

— Дело есть к ней. Идем-ка, красавица.

— Дел у жены помимо мужа не бывает.

— Так ты муж ей?

— Нет, приبلудный... Иль паспорт показать?

— Тогда и ты выйди, втроем потолкуем.

В избе настала тишина. Голубели глаза детишек, хозяин буравил Трофима острым взглядом. Любка с остановившимся, недоуменным и сердитым лицом стояла рядом, затаив дыхание. А парень начал медленно-медленно подыматься и все рос, рос вверх, пока не расправился — дети на под потолок, заслонивший свет в низком окошке.

И в этой тишине раздался плач — знакомый Трофиму плач младенца, разворопивший воспоминания и вызвавший испарину на лбу.

— Что это? Ребенок? — растерянно спросил он.

Любка повела плечом. Видно было, что плач звал ее. Ей трудно стоять на месте. И это невольное подергивание плечом убедило Трофима больше, чем любые слова. Она мать, и любящая — значит, паговорили на нее.

— Ваш? — снова обратился Трофим к Любке и парню.

— Нет, подкинутый... — сердито отозвался парень. — Что за спрос?

— Ну, тогда извините. Ошибка вышла...

— Нет, дядя, не отпляшешься, — с угрозой заявил парень. — Выкладывай камушек из-за пазушки, коль принес.

— Ошибся же. Наболтали мне... Э-э, да что муть подымать. Будьте счастливы.

Он повернулся и вышел, оставив за собой недоуменное молчание, нарушаемое криком ребенка.

На дороге у старухи, несущей в подоле мирно смежившего глаза крохотного поросенка, спросил:

— Зять, что ли, к Тихону приехал?

— Зять. Год как старшенькую-то выдал, а зятя видит впервой.

— Что, уезжала дочь-то?

— Она, милый, то туда, то сюда. На стороне вишь, тоже не баско. Муженек-то в обчежитье, а тут дите. Вот и прикатали к тестю. Пожить собираются...

Трофим шел к своей лодке, вспоминая белые головы детишек, обсевших стол, патлатого зятя, рослого и плечистого, его румяную тещу у нечи, цветущую Любку, и завидовал Тихону Славину — вот она, семья-то, и в старости возле такой теплый уголок найдется.

Черным вороном влетел к ним, сбил застолье. Влетел да обратно вылетел...

А люди... Эх, люди! Любого в грязь втопчут. И не от злобы, не от черной зависти, а так — по случаю, подвернулось на язык. А если б у этих ребенка-то не было, он, Трофим, ославил бы Любку. Там, глядишь, муж поверит — свары, раздоры, поношения, жизнь закрошится, как сухой навоз. И все оттого, что кто-то от безделья сболтнул. Эх, люди!..

Трофим не досадовал, что зря добирался в дальнее Клятище, он был даже рад, что вышла ошибка: беда не вошла вместе с ним в этот дом.

На обратном пути он вдруг почувствовал усталость и

равнодушные. Рысканья на лодке от деревни к деревне показались ему глупым и ненужным занятием. Захотелось домой и странно — захотелось видеть жену.

Дотянув до Бобылей, он оставил лодку на Василия Никифоровича. Привязал Щуку, а сам добрался до города на понутной машине. И все время вспоминал семью за столом, белоголовых детишек, голубеющие на него, широко распахнутые глаза.

Жена, как всегда, заученно спросила:

— Есть хочешь?

Он посмотрел, как она собирает на стол, — патруженные руки, ввалившийся рот в затаенной скорби, — и стало пронзительно жаль ее. Не видывала она с ним радости, нет, не видывала.

— Слышь, Нюра...

И она вздрогнула, руки, расставлявшие чашки, стали двигаться по-деревянному.

— Почему мы с тобой никогда не потолкуем? Живем, как глухие.

— За тридцать-то лет, чай, можно было обо всем поговорить...

Ой, неправда. Сама знает, что врет. За эти тридцать лет они так и не успели поговорить друг с другом, быть может, в первый год до исчезновения отца только и беседовали. Но тогда оба были глухы, оба не знали жизни, о чем они могли тогда говорить?..

— Слышь, тебе, может, что-нибудь нужно? Ты скажи мне. Ты только скажи.

Она смятенно взглянула, на мятых щеках выполз румянец, отвернулась, сжалась вся, руки по-деревянному двигались над столом. Так она сжималась, когда он в сердцах обзывал ее нехорошим словом.

Утром, проснувшись, он услышал разговор за дверями. Жена жаловалась кому-то:

— Пока дома нет, только и живу. Как приедет, хоть с глаз беги... Вчера, подумай-ка, спрашивает: «Что тебе нужно, ты только скажи — в лепешку расшибусь». Пойми, чего там у него на душе.

— А может, он вправду упоровать хочет? — спросил женский голос.

— Жизнь прожил, не ублажал, а тут на старости-то лет... Не-ет, неспроста чтой-то. Боюсь его.

Трофим заворочался на койке, и голоса смолкли. В комнату заглянула жена, спросила, пряча глаза:

— Не спишь?.. Тут тебе из суда повестку принесли...

Повестка была не из суда, а от следователя.

Трофиму казалось, что следователь обомрет, когда услышит во всех подробностях о свершившемся злодействе. А тот вежливенько слушал, кивал головой, нет, не осуждающе, а, мол, понял тебя, верно говоришь, наляй дальше. Видать, он знал дела и поважней, чем смерть какого-то младенца, которому даже и имя-то не пришлось носить.

— Что полагается за такое?..— спросил Трофим, сжимая за столом руки.

Следователь потер лоб, равнодушно ответил:

— Ежели б она его сразу... ну, в беспамятстве, скажем,— условно бы дали, даже простить могли, высказав, разумеется, общественное порицание. А так — преступление с умыслом, с подготовкой при здравом рассудке. Тут строже...— устало зевнул с растяжкой.— Конечно, если найдем.

— Как так — если найдете?

— По опыту знаю: раз такое примитивное преступление сразу не раскрылось, потом хоть лоб расшиби...

И Трофим ушел в расстройстве: увильнет блудница от наказания и уж, видать, сердцем особо болеть не будет — жди от кошки слез по мышке.

И чувствовал: сам выдохся, вот что обидно. Уж нет желания, какое было,— землю насквозь пройти, деревни вверх дном перевероршить. Торфянистый холмик под сосной так и останется на всю жизнь укором Трофиму — не отплатил сполна.

Едва Трофим шагнул за порог, как жена накинула платок на плечи:

— Мария Савельевна зайти просила.

Понял: боится, что снова набиваться на разговор по душам будет. Задержать бы, сказать: «Ой, худо мне! Не бегай, нужна». Так сказать, чтобы поверила, пожалела, глаза на него раскрыла — не волк, только приласкай — навеки верная собака.

Но жена вышла бочком, тихонько прикрыла дверь.

Он разделся, сел за стол — как гость в чужом доме. Взглянул на ходики — до ужина еще час, а там сразу спать, по теперешнему положению — самое веселое для него время, вроде и жив и не замечаешь, как живешь. Потом утро... Все начнется сначала — от завтрака до обеда, от обеда до ужина, дотянуть бы до сна...

В дверь кто-то робко поскребся.

— Кто там? Входи!

Плечом вперед, лицо опущено, платок низко надвинут, сперва подумал — старуха, аи нет, молода. Остановилась у порога, уставилась в заляпанные грязью сапоги — молчит.

— Что скажешь?

И вдруг ошпарила до костей догадка: «Неужто?!»

Стоит — мужской обвисший ватник на плечах, легкий платочек, повязанный по-старушечьи, линиялая ветхая юбка и громоздкие, покоробленные, не размягшие ни от грязи, ни от сырости сапоги. Молчит. Прячет лицо. Смотрит в пол.

Трофим попробовал привстать, но ноги ослабели, выдал: — Ну!..

И она подняла голову. Рукой из слишком длинного рукава ватника, судорожно путаясь, стала рвать верхнюю пуговицу, узел платка, освободила горло. И опять ничего не сказала, только кривила губы...

Она! Трофим поверил в это совсем. Сама приняла!

Круглое обветренное лицо, лицо деревенской девки, мало сидящей под крышей, круглые выбеленные ужасом глаза, острый вздернутый, со сплюснутыми ноздрями нос — в своем обвисающем ватнике словно воробей в перьях старой кукушки. И из этого ватника — белое, беззащитное, гуляющее под тонкой кожей горло.

— Это ты?

Она что-то сказала непослушными синими губами. Трофим ничего не расслышал.

— Ты или нет?

— Поведи меня... к кому нужно...

А Трофим боялся только одного — не выдержит при встрече, потеряет себя, вцепится в горло. И вот это горло близко, шагни, протяни руки — не отстранится, белое, беззащитное, хрупкое... Вместо гнева в душе какая-то пустота и недоумение: «Неужели это она? Не похоже...» Поморщился: «Сейчас расплатится. Этого еще не хватало...»

Но она не плакала, глядела остановившимися глазами.

— Зачем ты это сделала?

— Поведи меня... Жизни нет... Поведи меня к кому нужно.

— Зачем ты это сделала?

— Кабы меня кто убил теперь...

Копил лютую ненависть, ждал: взглянет ей в глаза и увидит страх — решетка впереди, позорище, вот она, расплата за все, поделом тебе, зверина блудливая. И вот глядит в глаза, видит страх, да не тот. «Кабы кто убил меня...» — просит, словно — «Кабы кто пожалел...» И вместо ненависти — тупое бессилие.

— Зачем ты сделала это?

— Сама бы порешила себя, да боюсь.

— Дура! Зачем сделала, спрашиваю?!

И дернулось горло, клокотнуло внутри:

— Мать дознается...

— Матери испугалась, а загубить душу пет?!

— Боялась, что помрет... Болела она шибко.

— Теперь вот выздоровеет, коль узнает.

— Нету ее.

— Кого нету?

— Матери-то.

— Ну, что путаешь, что путаешь, дура!

— Померла.

— Кто? Мать?..

— Пока я там жила... в избушке-то... Слава богу...

— Что — слава богу?

— Не узнает ничего... К лучшему...

Трофим раскричался, а ей, наверно, казалось, так и должен вести себя обычный человек. И первый страх в ее глазах исчез, взгляд их стал мутным, безразличным, тупым. Страшно было только переступить порог...

Она жалась к порогу, боясь наследить на полу, отвечала скупой, и по этим ответам, вытасненным словно клещами, складывалась незатейливая история, сплетенная из самых незначительных поступков человека, мир которого очень мал.

Жили вдвоем — она и мать. Мать, как и все старухи, истово держалась старой веры. А в глухой деревне непримиримое староверчество переплеталось еще с угрюмым язычеством. И росла девка под шепоток: «Заговариваю рабу божью от упуды овечьей, кошачьей, свинячьей, собачьей, человечьей, и конской, и коровьей. Пуд-пудуница, царь-царица, князь молодой, ссылаю тебя на щедры боры, на темны леса, на зелены травы...»

Жили вдвоем — она и мать. Родни, конечно, целая деревня, и даже помощь от них случалась — дров нарубить, усадьбу вспахать. Мать болела, дочь тянула ее, как могла. Приехал парень из дальнего лесопункта — даже не гуляли толком. Он уехал, она осталась, а через месяц заметила —

беременна. И тут напал страх — родня отвернется, вся деревня станет пальцами тыкать, а мать... Мать — в чем душа держится! Бросало в судороги, в немоту — бежать! И никому в голову не пришло занодозрить, когда стала хлопотать справку в сельсовете: многие из молодых пороят выбраться.

Выбралась в лесопункт, в тот самый, где работал парень, встречалась с ним, спрашивала — отмахнулся. Жила в общежитии, другим девчатам говорила: замужем. Раз замужем, кто попрекнет — законно.

Дали декретный отпуск, конечно, вычеркнули совсем из списков рабочих: ребенка родит — разве вернется? Получила деньги, куда идти? Для нее весь мир состоял из лесопункта и из своей деревни. Обратно в деревню? На глаза своим? Там-то не заявишь, что-де законная жена. Мать такое напоевал убьет.

Набила котомку хлебом, крупой, сладостями, забрала свои пожитки. Иришла в деревню, крадучись, берегом, даже собаки не залаяли. Нашла свою лодку. В приозерной деревне у каждого, считай, лодка. Была и у них — старая, щелястая, чуть ли не ровесница ей самой, отец еще сам делал. Ночью и перебралась в кошновскую избушку.

Хлеб был, крупа была, окуней в ручье ловила — удочки чьи-то под матицей на потолке нашла. Жила, мучилась от схваток, ждала со страхом, думала: тут ей и конец. Но ее бабки и прабабки рожили не в больницах — на полях в межу выкидывали. Родила и она, обошлось.

И опять: жила, нянчилась, ловила окуней. Кончилась хлеб, что хуже — кончилась соль, пресная окупевая уха не лезла в горло. Да и надо было на что-то решаться — не вековать же в лесной избушке.

А к ребенку прикипела, но и страх перед деревней велик. То-то будет веселье: уехала одна, вернулась парой... А мать?... Нет, нельзя, а куда деваться — на лесопункт в общежитие с ребенком не возьмут.

И обманула сама себя: «Гляну одним глазком и вернусь...» Но когда подгребала в полузалитой лодке к деревне, поняла на минуту: «Умрет же, быстро-то не обернешься, мать ночевать заставит...» И опять себя обманула: «Уж вырвусь как-нибудь... Только одним глазком...»

А дома беда — двери распахнуты, соседи толкуются, мать лежит на столе. Ей была уже послана телеграмма на лесопункт, и никто не удивился, что появилась в деревне. Одно горе задавило другое...

Она вспомнила о ребенке, когда возвращалась с кладбища, вспомнила равнодушно, так как жалела мать, — сразу жалеть мать и ребенка не хватило сил, да и, пожалуй, душевной широты.

А в это время Трофим бродил по лесу с ее дочкой...

Через два дня очнувшись от утара, вспомнила: какие крохотные ноготки были на пальчиках девочки, как она спала на руках, как припадала к груди... Села в лодку, гребла со стоном, даже не вычерпывала воду...

А изба встретила ее затхлостью, пустотой, холодом, валялись рваные тряпки на парах, грязные следы на подметенном полу, под каменкой — березовое полено, оставшееся от охапки дров. И упала на пустые пары, рвала волосы, кричала дико: «Господи! Господи!» Неуютный осенний лес молчаливо слушал ее надрывный голос.

Примерно через неделю пришел слух в деревню, что у них по соседству, за озером, найден младенец. Всех особенно волновало, что по соседству. Событие, о котором судили и рядили во всем районе, оказывается, случилось рядом, а они-то не знали. Слух дошел и до нее...

Какие крохотные ноготки...

Какие маленькие ножки высывались из тряпок...

Мучительно вспоминала, какого цвета были глаза, и не могла вспомнить...

А по деревне бабы чехвостили злыдню, сгубившую дитя. А соседи жалели ее. И если бы не эта жалость, то, пожалуй, хватило бы смелости крикнуть в глаза: «Люди добрые! Это я!» Оказывается, не так-то просто переступить через людскую жалость, граничащую с непамятостью.

Никому в голову не приходило ее подозревать, хотя всю гадали: кто же? Должно, из других деревень, иначе знали бы, такое не скрыть...

Жить стало совсем невмочь. И вот...

— Кабы кто убил меня...

Стоит перед Трофимом, жметесь к порогу, наследить на полу боится, а тюрьма, смерть — нет, не страшно, все награда. И Трофим чувствует себя раздавленным.

— Поведи меня куда надо. Поведи, ради Христа.

— И зачем ты, дура, это сделала?

— Поведи...

— Да куда же я поведу? Ночь скоро на дворе. Кто с тобой возиться сейчас будет?

— Все одно, поведи.

— Шагай домой.

— Не пойду. Лягу здесь, не пойду!
— Я те лягу! Нужна мне такая гостья. Марш с глаз долой!
— Как быть-то? Куда обратиться?
— Сами найдут, будь спокойна.
— В деревню не могу, тошно там.
— Ты из какой деревни?
— Из Конновки ж...
— Ловка. Кто б мог подумать. А звать как?
— Клавдией... Еченина я, Еченина Клавдия Ивановна.
— Иди, не тревожь душу. И так тошно.
Она ушла.

Трофим сидел за столом, уронив голову. Завтра надо идти к следователю. И уж ясно, тот не подпрыгнет от радости — не такой она важный преступник.

«Преступник... Тоже мне... Эх, дура, дура... А не перестарался ли ты, Трофим? Не целишься ли снова плюнуть в уху?..»

8

Сон не шел. Лежа на спине, слушал, как тихо-тихо дышит жена. Она даже во сне не осмеливается шуметь.

Перед глазами стояла преступная девка — окаменевшее птичье лицо, остекленевшие пустые глаза и белое, нежное, взволнованно ходящее вверх-вниз горло. И эдакую-то считал — людям страшна.

«Ах, дура, и зачем только?.. А что, ежели решится?.. Ума хватит...»

Отстукивали ходики на стене, секунду за секундой склевывали время.

«А что, ежели в это самое время?.. Вот сейчас, в темной избе...»

Трофим даже приподнялся...

Стучали ходики, где-то далеко-далеко ворчала машина, видать, какие-то бедолаги застряли на размытой дороге.

Сейчас, может, кончается человеческая жизнь, а все кругом спят, все спокойны, некому схватить за руку, остановить.

«Ум-то мушинный, ей ведь невдомек, что жизнь велика. Ох, велика — это перемелется, новое стрясется и снова пройдет... По ее аршину — белый свет от околицы до околицы, жизнь с комариный век...»

Стучат ходики, и лениво, лениво волочится бесконечная ночь.

«Надо бы разрешить, черт с ней, пусть бы примостилась тут у порога, а завтра — катись себе, объявляйся. А самому тащить эту дурочку за шиворот — была охота. Спросят — все скажу, как было, не утаю, а хлопотать, чтобы прижгли, нет уж, не стоит того... А ведь выслеживал, по деревням колесил, берег обнюхивал. Тоже умен па поверку-то».

Хотелось встать, накинуть пальто, бежать по ночи к черту на кулички: «Опомнись, непутевая!»

Он не мог уснуть ни на минуту. Едва только слезливый рассвет просочился сквозь окно, осторожно, чтобы по разбудить жену, слез с постели, захватил одежду, оделся, достал из шкафчика горбушку хлеба, сунул в карман.

Поговорит по-человечески, образумит. Только б не опоздать.

По дороге его нагнал ухарски расхлябанный грузовичок. Трофим проголосовал и проехал по большаку до поворота на Копновку, а там — рукой подать.

Деревня Копновка встретила его дремотной тишиной начинавшегося осеннего дня. Стыли в промозглом воздухе голые ветви берез, раскачивающие на себе почерневшие скворечники, зеленели мхом ветхие крыши. Женщина, выскочившая из дому налегке — только голова туго обмотана большим платком, —гнула к бревенчатому срубу колодца спесивую шею журавля.

И по этой неразбуженной тишине Трофим понял — в деревне ничего не случилось. Клавдия жива. Стало стыдно — дурак он, однако, ночь не спал, сорвался ни свет ни заря, гнал столько километров, а для чего?.. Жива, здорова, поди, и в мыслях-то не было...

Но уходить ни с чем, когда уж прискакал сюда, глупо. Увидится, скажет по-свойски, чтобы не вздумала учудить, хоть этим себе наперед покой устроит.

— Эй, кума! Где живет Ечеина Кланка?

— Ты к какой? Котора померла?

— Померла?!

— У нас две их было — мать и дочь, обо Клавдии.

Мать-то недавно, царствие ей небесное...

— Дочь-то жива ли?

— Плачет все, сохнет по матери-то. Никак не придет в себя, сердешная... Да вон тем порядком пойдешь, так направо четвертый дом, сразу за Леонтием Елькиным, у которого возля калитки старый жернов лежит. Ийдешь ли?

И женщина долго смотрела вслед, должно быть, гадала: для чего понадобилась Клашка Ечеипа этому самостоятельного вида мужику, которого, пожалуй, она примечала возле их деревни и раньше?

Изба была старая, громадная. Из крапивных задворок выползала она прямо на дорогу, стояла голая, открытая, ничем не огороженная — корабль из массивных щелястых бревен, выброшенный на сушу. Сходство с допотопным Поевым ковчегом придавало и то, что длинная крыша была наполовину разобрана, на задах торчали, как ветхие снасти, полусгнившие стропила.

В лицо изба была кривой — все окна, кроме одного, заколочены. И это единственное целое окно глядело на Трофима с сиротливым старческим упреком: «Сколько вырастила людей — не одна сотня рожалась, умирала под моей крышей, теперь вот скриплю, тужусь — тяжело, но уж недолго скрипеть».

Трофим подумал: «И со спокойной душой в одиночку в такой куче бревен запоешь лазаря».

Он поднялся на шаткое крыльцо:

— Есть кто живой?

Никто не ответил.

Трофим толкнул одну дверь в темные сенцы, толкнул вторую — в избу...

Сумеречная комнатуха с тяжелой печью. На полу разводы воды, стоит ведро посередке. С грязной тряпкой в руках, босая, с обвисшим подолом — она, лицо неживое, серое, глаза, как и тогда, остекленевшие.

— Здравствуй!... — сумрачно поприветствовал Трофим, с неприязнью оглядывая мокрый пол.

Она пошевелилась, опустила в ведро тряпку, вытерла о подол руки, спросила, казалось, спокойно:

— Собираться мне?

— Куда?

— Как — куда?

— Поспеешь!... — и взъелся: — Да что я тебе, милиция, что ли? Думалось, в петлю лезет, а она, нате вам, чистоту наводит. Вовремя.

— Надо же что-то делать, чтоб не думалось... Без дела-то рехнешься... Так я сейчас соберусь.

— Хороша и так, не жениться к тебе пришел.

Она с тупым равнодушием стояла посреди недомытой избы глядела своим странным, остановившимся взглядом, ждала.

Трофим не знал теперь, о чем говорить с ней. Уже

не скажешь, что хотел сказать: «Опомнись, непутевая!» Ни вешаться, ни бросаться в озеро девка не собиралась. Он чувствовал себя обманутым, особенно злило, что моет пол, наводит чистоту — значит, рассчитывает здесь жить.

«Теперь вижу, какая змея. Вижу! А вчера-то пожалел было...»

Она молчала, не двигалась. По-прежнему беззащитное, белое горло, пустые глаза, сама в обвисшей юбке, с опущенными руками, открытая, покорная — вот я, без хитрости, ругай, казни — стерплю. И эта покорность взорвала Трофима:

— Прикидываешься овечкой-ярочкой, горлышко подставляешь — режьте, мол, добрые люди! Расчетец немудреный — кому охота на живого человека нож подымать. «Кабы кто убил меня...» Ха! Кабы кто... Уж коль жить невтернеж, чего просить. Найди гвоздь потолще и веревку покрепче...

И она вдруг закрыла мокрыми руками лицо, колени подогнулись, рухнула на пол, слибла ведро, потекла по полу серая жижа.

— Ну вот... — растерялся Трофим.

Она лежала, уткнувшись лицом в педомытый пол, сухие космы длинных нечесаных волос мокли в разлитой луже, узкая спина с выпирающими косточками содрогалась под тонкой кофтой.

Трофим глядел на нее и молчал: бежал же с добром, спасти хотел, а вместо доброго слова — нож под ребро. Разве не распроклятый...

— Эй, девка... Да хватит, хватит, нечего зря-то...

Она беззвучно рыдала.

— Да, право... Ну, сорвалось с языка. Не хотел обидеть. Встань, давай встань...

Дотронулся до плеча — головы не подняла, вздрогнула, поежилась. И он распрямылся, затоптался, кося на нее глаза, не зная, что делать.

— Встань, — попросил он, — поговорим по душам...

Плечи ее перестали сотрясаться, но продолжала лежать, как и лежала, концы сухих волос мокли в грязной луже на полу. Он неуклюже присел, подобрал волосы, с робкой пеловкостью положил ей на спину.

— Слышь... Я зла тебе не хочу... Я и бежал-то сейчас — за тебя боялся. Слышишь или нет? Боялся же, сердце кровью обливалось...

Она зашевелилась, оперлась на ослабевшие руки, приподнялась, села. Заляпанная кофта, грязное лицо, сбив-

шаяся юбка открывает острое голое колено, дрожащими пальцами провела по волосам. И только сейчас он заметил под грязными разводами на лице нездоровую прозрачность кожи, удручающую синеву под глазами, понял, что она больна, и сжалось сердце.

Она со всхлипом, как ребенок после плача, вздохнула, виновато, с какой-то усталой простотой сказала:

— Боязно... Хотела, да боязно...

— Ты о чем?

— О том, что ты говорил.

— Брось это!..

— Чего зря на людей-то падеяться, самой надо...

— Брось! Я же вгорячах. Дернуло за язык. Забудь!

От жалости, от страха — чего доброго, надоумил — стал смелее, взяв за плечи, помог подняться, подвел к лавке.

— Поговорим по душам.

Она сидела чуть горбятя спину, свесив руки вдоль тела, глядела перед собой, мимо валявшегося на полу ведра.

— Да очнись ты! По душам хочу...

Не пошевелилась, не отвела взгляда от невидимой точки, спросила, словно обращаясь к печке:

— Со мной? По душам?

— А то на твой угол помолиться из городу прибежал.

— У меня, поди, души-то нету... Выело.

— Ду-ра!

— И что тебе до моей души? Ведь я паскудная. Что тебе до меня?

— Что?! — Он встал перед ней, большой, едва ли не достающий шапкой до темной низкой потолочной матицы, жестко шуршащий покоробившимся плащом, с сухо горящими глазами, протянул громадные, раздавленные веслами ладони. — Что?.. Ты видишь эти руки? Нес ими твоего ребенка. Спасти хотел. В это-то веришь, что не для корысти, не для того, чтоб славили. Чуть не сдох в лесу-то, а нес, думалось — спасу, к себе возьму. Веришь в это?.. А почему не веришь, что тебя спасти хочу? Тоже живой человек.

И она, вдавив грязный кулак в зубы, снова тихо заплакала.

— Сведи ты меня сейчас. Сведи, прошу. Легче будет...

— Пойдешь сама, держать не буду. Сам не поведу, да и не посоветую.

— Почему? Стою ж того.

— Каков расчет вести тебя? Ну, накажут, ну, срок дадут, упрячут тебя вместе с воровками да гулящими. Того и гляди, их науку переймешь. Та ли сейчас тебе нужна наука? Не-ет, коль хочешь того — иди, объявляйся. Я на себя не возьму доносить.

Она плакала, размазывая кулаками грязь.

— Все одно, жизнь моя кончена.

— Дура ты, дура. Кончена!.. Тебе сколько лет-то?

— Девятнадцать.

— Дура ты, дура... Ты еще четырежды столько проживешь. Еще человеком станешь, замуж выйдешь, детей нарожаешь... Ну, пу, не плачь, это хорошо в молодости-то так ожечься... Помнить будешь, как самой больно было, а значит, и других поймешь — у кого что болит. У меня жизнь тоже косо вышла... Я вот тебе помогу, может, и ты, когда кому поможешь — не отплюнешься, не открестинься...

Она плакала, а он стоял над ней и говорил грубо и властно, пряча нежность и жалость. Она растирала кулаком слезы, убито смотрела в сторону, слушала.

9

После первых морозов, когда озеро сковало льдом и от деревьев Копновки до лесной избушки можно дойти напрямиком, не замочив ног, Трофим отправил Клавдию на лесопункт, дал денег и грубоватое наставление:

— Не живи дикой-то.

А она всплакнула:

— Бывают же такие люди на свете...

Они расстались, он шагал по чугунно-смерзшейся дороге, бережно нес в себе благодатную усталость путника, дошедшего до конца пути. И еще с такой усталостью после погожего весеннего дня возвращаются с поля — вспахано, засеяно, гудят кости.

Больше о Клавдии он не слыхал. До сих пор он работает на старом месте, случается — хватает за рукав слишком развольничавшихся рыбаков. Дело есть дело, не все святые и честны, кто-то должен наводить окорот. И многие по привычке зовут его Каргой.

Поденка-век короткий

1

Ни крик в голос, ни слезы не помогли — Кешка Губин, муж недельный, собрал свой чемодан, влез в полушубок, косо напялил на голову шапку, кивнул на дверь:

— Ну?.. Не хошь?.. Тогда будь здорова. Сама себя раба бьет. В свином навозе топуть не хочу, даже с тобою!

И дверь чмокнула, ударило Кешке по валенкам тугим морозным паром, — ушел.

Ни крик в голос, ни мольбы, ни слезы... Стояла посреди неприбранной избы, валялся на лавке клетчатый шерстяной шарф, забытый Кешкой.

С печи, шурша по-мышьиному, сползла мать, встала напротив, сломанная пополам, зеленое лицо в сухих бескровных морщинках, в глазах — тоскливая накипь, знакомая с детства.

— Да покинь ты меня, каргу старую. Никак помереть не могу. Жизнь твою заедаю, дитятко.

Настя вцепилась в волосы, рухнула на лавку, затряслась:

— Невезучая я, ма-мопъ-ка-а! Проклятая моя жизнь!

Мать присела, гладила трясущееся плечо легкой ладонью, повторяла:

— Покинь, право... Мне все одно скоро...

Настя выплакалась, поднялась с опухшим лицом, раскосмаченная, сказала спокойно:

— Давай спать укладываться. Завтра опять вставать ни свет ни заря.

Направилась в боковушку к кровати с никелированными шарами, на которой еще вчера спала вместе с Кешкой, добавила:

— Жили ж мы без него.

Насте Сыроегиной шел шестой год, когда началась война. Она хорошо помнит — в избу ворвалась мать, тревожная, суетливая, тормоша накинула на Настенку облобок, укутала платком:

— Идут же, идут! Господи! Может, в последний раз увидим... Да шевелись ты, Христа ради, квеляя!

Бегом тащила ее мать от деревни через поле к тракту. Стоял пепастный осенний день, раскисшая стерня лежала по сторонам грязной дороги. По дороге двигались подводы, заброшенные туго набитыми котомками, за подводами неровным строем шагали мужики, кто в брезентовом плаще, кто налегке в ватнике, кто в пальто. Шагали из райцентра, от военкомата к вокзалу на станцию, в армию.

Из растаявшего строя выскочил отец, краснолицый, широкий, оступаясь в колеях, бросился к ним... Он поднял Настю и поцеловал, от него пахло водкой. Мать повисла на его плече, а отец легонько, ласково ее отталкивал, оглядываясь на своих деревенских, говорил с непривычной, неуверенной удалью:

— Чего зря мокроту разводить. Ты меня знаешь — или грудь в крестах, или голова в кустах...

Поглядывал браво по сторонам. Он никогда прежде не был, считался самым тихим мужиком в деревне.

— Грудь в крестах или голова в кустах... Ты меня знаешь.

Среди мокрой, темной стерни — грязная дорога, ровным войлоком небо, шагающие за подводами люди, бабы всхлипы, бабы вздохи, мелкий дождь... Последний раз видела Настя отца — голова в кустах...

Война. Ушли из деревни на фронт не только мужики, но и лошади. Бабы сговаривались по пяти дворов, пахали усадьбы — четверо впрягались в плуг, пятая шла по борозде, налегала на ручки. Все равно хлеба не хватало — хлеб нужен фронту. Муку с осени берегли к весне, весной — тяжелые работы, надорвешься без харчей. Летом Настя заготавливала траву, ее сушили, толкли мелко, дважды ошпаривали кипятком, заправляли яйцом и пекли оладьи. Они выходили буро-черные, тяжелые, напоминали коровьи лепехи, на них сверху картошка, нежная, на молоке, подрумяненная, политая янтарным маслом. Корова-то своя, молоко было, и маслицем баловались. От лепех пучились животы, сколько ни ешь — все не сытно.

Ели еще и куглину — сухую шелуху с головок льна. До древесной коры не доходило. На усадьбе рос ячмень, но его всегда сжинали зеленым — невтерпеж сидеть на траве.

Но и трава Насте шла на пользу — росла крепкой, а мать горбилась, хирела. Она отрывала от себя последние куски: «Ешь, Настя...» После колхозной работы она бежала за восемь километров в заболоченный Кузькин лог, там, стоя по колено в воде, ночи напролет махала косой среди кочек, по берегам бочажков: корову-то надо кормить, сохранишь корову — и Настя будет жить. К матери подкатывался Иван Истомин, на фронте он оставил в кустах не голову, а только ногу, хоть и па костылях, а руки целы — пимокатничал. «Давай завяжем узелок, в паре-то ладней лямку тянуть. Степана твоего ждать нечего...» Мать и не ждала мужа, где уж, коль голова в кустах, но отказала наотрез. Как-то Иван к Насте повернет — не родная кость, нет уж, дочь дороже своей судьбы.

Настя выровнялась — не так уж и высока, но крепко сбита, прочна в кости, плечи налиты полнотой, грудаста, щеки румяны, вздрагивают на каждом шагу и глаза в колючих редких ресницах. Настя выровнялась, а мать сломалась, года три уже не вылезает дальше завалинки, греется на солнышке, сложив руки на коленях, в ситцевом платочке, с линялым, ссохшимся лицом. Но дома по хозяйству она еще шевелилась — печь топила, обеды варила, а дров от поленицы или воды с колодца уже не принесет. Матери всего пятьдесят шесть, учительница Митюкова ей ровесница, никому и в голову не придет величать ту бабушкой.

Настя не хуже других девчат, поди лучше многих. Но в последнее время мать, глядя на нее, вздыхала: «Твоего батьку старый цыган облаял...»

Отец еще мальчишкой вместе с другими ребятишками как-то увязался за проезжавшим мимо деревни цыганом. Прыгали вокруг, бесновались:

Цыган, цыган!
Почем кобыла?
Без рубля четвертак,
А с хозяином — за так!

Дразнило много ребятишек, но цыган с коршунным носом из дикой бороды почему-то направил на одного Стенку Сыроегина крючковатый палец, брызгая слюной, проклял, как взрослого:

— Не будет тебе удачи в жизни! На суху тебе оскальзываться, на ровном спотыкаться! И родня твоя, и дети твои счастья не узнают! До пятого колена в коросте будут ходить, слезьми солеными умыться!

Это почему-то так поразило всех, что уже много лет спустя, если у Настинного отца случалась неприятность, сразу же вспоминали: «А правду, знать, цыган плел: на суху оскальзываться, на ровном спотыкаться...» И вот на войне — споткнулся...

За Настей стал увиваться Венька Прохорёнок, тракторист, молод, а зарабатывал неплохо, и по характеру тихий, и к водке увлечения не имел. Брали в армию — говорил: «Ужо срок кончится — мимо своего дома пройду, прямо к тебе, свадьбу играть». Но из армии он так и не вернулся, слух дошел — получил хорошую специальность, работает на экскаваторе где-то под Челябинском.

А идет время, и в деревне женихов не густо, и новые девки подрастают косяком. Ты же, того гляди, прокукуешь до седых волос. И вздыхала мать: «Старый цыган все. Будь он нездоров!»

Кешка Губин приехал из Воркуты при деньгах — шапка пыжиковая, зуб золотой. Надоел ему Север, не встретишь дерева живого. Он был братом Павлы, что из деревни Дор, вышла за Сеньку Понюшина. Соседки, подружки, по утрам бегали друг к другу закваску занимать, по вечерам сумерничали, перемывали косточки всем, кто попадет на язык. У Павлы и встретила Кешку, сошлись как-то быстро. Ему — за тридцать, пора семьей обзаводиться. Собрал пожитки, перешел проулок, и тут оказалось: «В свином навозе тонуть не хочу...» Метит снова в город. «Бросай все, едем...» И ничего слушать не хочет. А бросать-то нужно больную мать, ту, что вынынчила, ту, что от себя кусок отрывала. С больной матерью по общежитиям не проживешь, а когда-то еще устроятся на стороне, квартиру получают. Да и что Насте делать в городе? Она одно умеет — свиней накормить.

«На суху тебе оскальзываться, на ровном спотыкаться...»

Кешка Губин ушел, хлопнув дверью. А старалась удержаться, слезы лила, упрашивала, уламывала, жизнь тихую расписывала — в колхозе-то давно не бедуют. Остался от Кешки только клетчатый шарф на лавке. И одно успокоение: «Жили ж без него».

Над зазубренным черным лесом сочился, растекаясь, водянисто бесцветный зимний рассвет. Деревня Утицы была окутана синими снегами. По этим угрожающе синим снегам промята дорога, связывающая деревню с трактом, с селом Верхнее Кошелево, где стоит колхозная контора, с районным центром Загарье, с маленькой станцией Ежегодка, со всем великим и далеким миром.

За деревней па отшибе — длинное, придавленное к земле тяжелой, заснеженной крышей здание, свинарник, где изо дня в день хозяйничала Настя Сыроегина.

Деревня Утицы еще спит, еще не светится ни одно окно, ни из одной трубы еще не тянется вверх вялый дымок, только кричат петухи, глухо — за бревенчатыми стенами сараев. Спит деревня Утицы, Настя встает раньше всех, сейчас закутанная в платок, в потасканном ватнике спешит к околице, синий снег скрипит под большими резиновыми саногами — в валенках-то по свинарнику не потопчешься, промокнут.

Скрипит снег, и кричат петухи. Скрипит снег, и тревожной синевой налитан воздух, и жиденько расплзается утренняя зорька на небе, из-под нахлобученной крыши навстречу хитренько, как в прищуре, поблескивают узкие окна свинарника. Так было позавчера, так было вчера, так сегодня и так будет завтра. И Насте кажется, что она живет на свете не двадцать семь лет, а долгие-долгие века — так заучена ее жизнь.

Сейчас пройдет по утоптанному выгону, снимет тяжелый замок с дверей, навстречу мягко ударит в лицо теплый, спиртово перекиший воздух. Она растопит печь под котлом, а пока котел закипает, засыплет мешок мелкой картошки в барабан картофелемойки. Начинается рабочий день.

В девять часов с воли донесется скрип санных полозьев и треснутый стариковский голос:

— Н-но, необутая, шевелись!.. Эй, пустынноца, жива аль нет?

Настя распахнет дверь:

— Жива, Исай!

Старик Исай Калачев привезет мешки с картошкой, пахнувшей погребным тленом, мякинных высевок, муки... Отпускают не очень скупно, но Настя не удержится, чтоб не поворчать:

— Сколько раз говорила: коль картошка прихваче-

на — пусть дают с надбавкой. А муки ты бы еще в картузе принес, одни высевки. С мутной водицы не зажируют.

А старик Исай будет слюнявить толстую сигарку, напустив важность, начнет рассуждать:

— Ныне ученые люди головы ломают — достичь жирок не с мутной водицы, а чтоб с чистого воздуха. Тогда Америку нагоним, так-то, кума.

Через час — через полтора зарычит мотор полуторки, шофер Женька Кручинин доставит с маслозавода бидоны с сывороткой и обратно:

— Как жизнь молодая? Погрела бы, прозяб в кабинке.

— Не погрею, а огрею. Помогай давай.

Плывет курица по пруду,
Крылом гонит волну.
Эх, девка с грудями по пуду
Достанется кому?

— И охальник же ты, Женька. Как только Глашка с таким уживается?

— Ничего, терпит, должно, нравлюсь.

Глашка — под стать Женьке, на язык остра, ни одного парня не пропустит, чтоб не зацепить. Они два года, как поженились, и уже двое детей, и живут вроде дружно.

Насте нужно бы счастье, самое незатейливое, такое, как у всех, как у Глашки, как у Павлы, чтоб муж, пусть даже вот такой зубоскал, чтоб дети, чтоб семейным теплом была согрета изба и мать на старости лет в приюте. Самое простое, как у всех. Всем достается как-то легко, у Насти заело... И не ряба, не кривобока, нынче в колхозе мало кто зарабатывает больше ее. Эх, Кешка, Кешка! В две пары рук устраивали бы семью!

Председатель Артемий Богданович Пегих на последнем собрании сказал при всех: «Еще услышит район фамилию Сыроегиной! Еще будет она гордым знаменем нашего колхоза!..» Артемий Богданович любил громкие слова.

И, пожалуй, дива нет, стала бы знаменем — Артемий Богданович всегда кого-нибудь пророчит в «знамена». Был Селезнев, была доярка Катька Лопухова из деревни Степаковская, была бы и она, Настя Сыроегина, если б не сам Артемий Богданович... «Гордое знамя...»

Настя сняла тяжелый амбарный замок, толкнула прилипшую дверь, и... в лицо ударил не обычный, сбродивший до спиртовой остроты запах здорового свинарника, а другой — удушливо-едкий, кислый, мутящий.

Мимо холодной плиты с вмазанным котлом, мимо картофелемойки, вглубь, к клеткам. Нашарила на стене выключатель, вспыхнул свет, тяжело, по-стариковски вздохнул в углу хряк Одуванчик.

Грузная розовая Купчиха заворочалась, с усилием подпаялась, навесив на глаза лопушистые уши, и в маленьких черных глазках под этими ушами — покорное, умное осуждение: «Что ж ты, мать, меня подвела?..» Вяло повизгивали у ног ее сосупки, им, считай, уже по месяцу, а каждый не больше рукавицы — вечно зябнувшие, серые, жалкие, не растут, хоть плачь. Настя сразу заметила — двое не двигаются, лежат, напряженно вытянувшись, кажутся тоньше, длиннее остальных.

Вот оно — ждала... Еще третьего дня среди сосунков начался понос.

Освещенный знакомый свинарник, он не нов, но добротен, его выстроили, когда колхоз «Богатырь» начал уже подыматься на ноги. Одну клеть от другой отделяют решетки, не простые, а затейливые, гнутые, им всякий удивляется, кто впервые входит сюда. Решетки сделаны из старой церковной ограды. Свинарник, как всегда, выглядит чинно, как всегда, чист, вздыхает в углу хряк Одуванчик, сопение, повизгивание, глухая возня. И спирает дух, настолько заражен воздух. Два подошли, сколько еще?..

Вот оно, виноват Артемий Богданович, а спишут на нее — не уберегла, не управилась.

Артемию Богдановичу иногда приходят в голову великие затеи. Как-то он посидел у себя в кабинете, подсчитал на бумажке и пришел к выводу: свиньи поросются два раза в году — весной и летом, как раз в то время, когда в амбарах уже пусто, зато кругом начинает подрастать трава — корм подножный. А этим-то кормом и не пользуются — поросята малы, чтобы добывать травку из-под ног. А что, если запустить опорос на зиму, к весне поросята подрастут, можно выпускать на травку, пользоваться запаренной крапивой. За лето они нагуляют вес, осенью будут тяжелее весенних — двойной выигрыш, сколько мяса в колхозе прибавится.

же — корми да навоз выгребай. «В свином навозе тонуть не хочу...» Уехать бы вместе с Кешкой, бросить бы все — опостыдело! Бросила бы, если б не мать.

Совсем рассвело. Под потолком блекло горели невыключенные электрические лампочки. Как всегда, с воли до неся скрип саней:

— Шевелись, необутая!.. Эй, пустынноца, принимай гостя!

У деда Исаия жиденькая бородка курчавится ищем, мятые щеки свекольного цвета, растер их рукавицей, кивнул на дверь облезлой шапкой:

— Урон, гляжу, у тебя. Целу тачку, на-кось, наворотила.

И снова закипели слезы на глазах:

— Будь все проклято! Толкнул меня, а я-то послушалась.

— Оно верно, послушный конь без копыт ходит.

— Ты сейчас в село, Исай? Захвати меня... Захвати с тем добром, что в тачке...

— А то зачем? Пока ни людей, ни поросят с того свету не возвращают. Не дано.

— Разложу у него на столе под носом, пусть любит.

Исай хмыкнул:

— Ну, ктой кого любоваться заставит. У плохого пахаря — кобыла-злыдня борозду криво ведет.

5

В старом ватнике, насквозь пропахшем свином навозом, в резиновых, заляпанных навозом сапогах, платок сбился на шею, губы сведены в ниточку, в прищуре глаз злой блеск, прошла Настя мимо бухгалтерских столов, волоча грязный мешок за собой. Прямо к Артемию Богдановичу, носком отшибла легонькую дверь.

За ней, пряча остренькую ухмылочку в бородке, дед Исай — любопытно все-таки, как-то председатель поглядит на номер с поросятами, право, любопытно.

Отшибла ногой дверь...

Не только за гиблую затею, не только за то, что эта затея станет ее позором, влетит ей в копеечку, но и за ушедшего из дому Кешку, за хворую мать, которую нельзя покинуть, за всю свою нескладную судьбу — на тебе!

Кто-то должен быть виноват, хоть тут, да отвести сердце, а то живут себе, ни до кого дела нет. Так — на тебе!

Без «здравствуй» вывернула мешок, об пол с тупым стуком ударились дохлые поросята, закоченевшие, тощие, запачканные нечистотами.

У Артемия Богдановича сидел Костя Неснанов, председатель сельсовета, — просто покуривали перед началом хлопотливого дня.

Костя Неснанов — прост, жесткий зачес над чистым лбом, нос пуговицей, щеки в веснушках, глаза в прозрачную зелень и большие уши. Он вскочил со стула, раскрыл рот, ошалело глядел на поросят.

— Ты что... Что это?..

Артемий же Богданович, видать, в одну секунду сооб-разил все, как сидел за столом, круглый, домашне добро-душный, напустив на ворот рубахи пухлую складку у подбородка, так и остался сидеть — не дрогнул бровью, не раздвинул прищур глаз, только под веками блеснула на-стороженная искорка.

— Видишь?.. — выдохнула на него Настя. — А это только почин. То ли будет еще!

Артемий Богданович пошевелил на столе переплетен-ными пальцами, покачал сокрушенно головой. Костя Не-снанов растерянно переводил взгляд — с поросят на На-стю, с Насти на Артемия Богдановича. А в распахнутых дверях прирос скулой к косяку дед Исай — любопытно.

— Что мигаешь? Ай не ясно? Дохнут твои зимние! Дох-нут!

— Как же ты? А? Не углядела? — мягко, сокрушенно вымолвил Артемий Богданович, и снова пошевелил паль-цами, и снова покачал головой.

— Я?! Это я-то не доглядела? Так и знала! Так и зна-ла, что на меня все свалишь... Кто настаивал? Кто толкнул меня? Не я ль тебя отговаривала? Не ты ль меня уламы-вал?.. Рыбий жир, витамины!.. О-о!.. — И задохнулась.

Простодушное рыхловатое лицо, сдобная складка под подбородком, приглаженные набок редкие волосы, и в щелках век осторожный умный блеск, и мягкость, и сокрушение — ничем это сокрушение не прорешь. Криком кричи, волосы рви, а он будет сидеть поглядывать, перебирать пальцами по столу, качать головой, ждать. Настя задохнулась, опустила на стул и закрыла лицо руками.

— Так что же ты хочешь? — мягко спросил Артемий Богданович. — Ась, красавица?

Настя вытерла глаза, отвернулась.

— Хочешь, чтоб я встал сейчас, пошел по улице, стал кричать: «Люди добрые! Сыроегина Настя не виновата, виноват я, подлец!» Так, что ли?

— Знаю, сам-то чист останешься, меня в грязь посадишь.

— Тебя? Я?.. Ой, Настя, не грехи, голубушка. Кажись, до сих пор я не в грязь тебя сажил, а подсаживал, чтоб повыше куда.

— И подсадил... «Гордое знамя»...

— То-то и оно, хотел, чтоб — знамя, а ты мне — подарочек, да еще вон это добро, — Артемий Богданович кивнул на поросят на полу, — мне на шею вешаешь.

— Само собой, мне нынче одно осталось — умойся да молчи в тряпочку.

— Кричи, почему же, рот затыкать не буду! Крпчи, сколько влезет, чтоб другие глупость твою видели.

— По твоей милости глупа, не по своей!

— Чужим умом жить хочешь. Ой, опасно, Настя.

— Ты ж руководитель наш! Как к тебе не прислушиваться? Иль ты, что крест на церковной маковке, для красоты торчишь?

— Руководитель не пророк, голубушка. Моей лысиной ты свою голову не заменишь.

— Ох, да хватит!

— Вот тебе и «ох». Есть порядочек, он одинаков и для тебя, и для меня. Когда у меня в колхозе, скажем, кукуруза не выросла, я что — бегу в район и кричу там: «Вы заставили сеять, вы, мол, и отвечайте!» Нет, мне скажут: «С больной головы на здоровую не вали». И правы они! Надо было раньше мозговать. Поздний ум что глупость — цена одинакова. Не сумел вовремя мозгами пошевелить — ответь.

Артемий Богданович встал из-за стола, невысок, широкий, несмотря на полноту крепок телом, прочно стоит на коротких ногах, — такой вот встанет на дороге, лошадь с возом стороной обойдет.

— Ты в том виновата, — голос Артемия Богдановича отвердел, — что не настояла на своем тогда, когда нужно, не убедила меня. После драки, дружочек, кулаками не машут.

Настя сморщилась:

— Не настояла, не убедила... Ты — сила, а я кто? Ты всегда подомнешь.

— Вся и заковырка в жизни, что против силы надо

идти, а с бессильным-то всяк справится. Против силы умом. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Так-то, святые слова.

Костя Неспанов, слушавший колхозного председателя с уважительным вниманием, с подавленной серьезностью, сурово заговорил:

— Подводишь ты нас, Настя. Мы на тебя большую надежду имели. Я вот хотел заметочку в районную газету послать. Вот, мол, какие у нас передовики, не бедней других в этом плане. Даже начало уже в голове шевелилось, эдакое лирическое... М-да, Настя, Настя...

В голосе его не только суровое огорчение, но и искренняя обида: подвела Настя, пропало лирическое начало.

— Эхе-хе,— вздохнул у дверей дед Исай.

— Тебе чего? — спросил его Артемий Богданович.

— Да ничего,— ответил Исай.— Говорю: кобыла-злыдня борозду криво взяла.

Артемий Богданович кивком указал Насте на кучу грязных поросят посреди кабинета:

— Бери-ка свой мешок да сваливай эту падаль.

6

«Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет» — любимая присказка Артемия Богдановича.

Его выдвинули в председатели на укрупненный, разбросанный, отсталый колхоз в те дни, когда и в печати, и на собраниях, и в директивных бумажных вовсю славили торфоперегнойные горшочки.

Уже и тогда Артемий Богданович был в возрасте, отличался дородством, успел поработать в районе каким-то начальником средней руки — тертый калач, но попался, потому что всей душой наивно поверил: только торфоперегнойные горшочки могут поднять колхоз. Он с усердием, о котором сложена пословица «новая метла чище метет», перекроил посевы, пересмотрел планы, сократил должности, отставных бригадиров, замов, счетоводов заставил лепить горшочки. Их лепили колхозницы, их лепили школьники с учителями, раздобыли специальный станок и штамповали на нем — горшочки, горшочки, горшочки! Горшочками забили все склады, они стояли рядами в сельском клубе, в этих горшочках к весне капустаная рассада зеленела даже на подоконнике кабинета Артемия

Богдановича. Горшочки, горшочки, горшочки — залог будущего, начало изобилия!

В соседних колхозах к ним относились наплевательски, они лежали сваленные в кучи на морозе, смерзались, оттаивали в оттепели, к весне совсем развалились, их вывозили на поля, как навоз, — с глаз долой, из сердца вон.

Но Артемий Богданович уже тогда показал характер: ругал, умолял, сулил золотые горы, добился — почти все горшочки с капустной рассадой были высажены на поля. Не знал он, что это станет началом большой для него беды.

Горшочки, горшочки, горшочки!.. Нет, не зря их славили, рассада поднялась, Артемий Богданович не мог порадоваться: «Только бы не пobiли заморозки... В прошлом году килограмм капусты стоил чуть меньше двух рублей, ну, ежели он опустится до рубля. За тонну — круглая тыща, а то и больше... Только бы не прихватило заморозками...»

Заморозков весной не было, к осени зрели тяжелые кочны.

Вместе с ними назревала беда...

Она грянула!

Много ли мало, капусту в торфоперегнойных горшочках посадили все. А областные заготовители не построили новых овощехранилищ — по смете не предусмотрено. На базаре капусту перестали покупать... Эх, горшочки! На этот раз сельский клуб забили до потолка белокачанной, на Артемия Богдановича писались жалобы: закрыл клуб, гноит овощи. За труд колхозников — лепили горшочки, рассаживали, поливали, таская на плечах воду за километры, — нужно платить, а чем? Бери капусту... Капустой все сыты. Эх, горшочки!

Колхозники клянут, из района, не шутка, страшат судом — погноил сотни тонн высококачественных овощей.

Брань колхозников на председательском загривке не висит, от суда Артемий Богданович увернулся, проработки, нагоняи вынес, получил лишь выговор с занесением в личное дело, похудел, издергался, но приобрел опыт, из колхозного руководителя-новичка сразу стал тем, кого обычно называют: «Хватаные». Кажется, в это время он и начал на все случаи жизни применять поговорку: «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет».

Долго висел выговор, но... «выговор не туберкулез, носить можно». Зато повое наступление — грозную кукуру-

зу.— Артемий Богданович встретил, как мудрый полководец.

Артемий Богданович любил громкие слова, поэтому, выступая на районных совещаниях, несколько не хуже других славил «королеву полей». Сначала славил, потом громко каялся: вымерзла сразу, с ходу, пришлось, чтоб не пустовали поля, засеять овсом и ячменем. Но в районе слезам не верят: «Почему у тебя вымерзла, у других нет? Проверить! Припечатать!» Выехали проверять и... нагнулись — у самой дороги, так что любому ударит в глаза, — поле кукурузы, вовсе не мерзлой, раскустившейся, по району поискать такую. «А ты говорил: вымерзло?» Артемий Богданович вздыхает, разводит руками: «Только это и сберегли. Все силы бросили, чтоб остатки спасти. Видит бог — старались. Создавали передовое звено кукурузоводов...» Артемий Богданович умолчал лишь о том, что все звено состояло из одного человека — Сашки Селезнева, если не считать тракториста Хохлова, который подвез навоз. «Все силы бросили, старались, спасли только пять га...» И опять Артемий Богданович немного преувеличивал — пяти га под кукурузой не было, двух, если измерить, не наберется. И все-таки ему дали новый выговор, чтоб впредь не вымерзало, но... «выговор не туберкулез, носить можно». Зато осенью были с хлебом, расплатились с колхозниками. Артемий Богданович не кичился, наоборот, приbedнялся, жаловался: того нехватка, там неудача, кругом прорехи. Не верили особо, но в передовые не посадили и зерна сверх плана не потребовали, хотя опять было пригрозили: «Вкатим выговор»... Эва, «выговор — не туберкулез». «А умный в гору не пойдет...»

По всей стране загремело «рязанское чудо», брали пример, выполняли и перевыполняли мясо на закуп, резали не только телят, не только дойных коров, но и коров стельных, быков-производителей. Артемий Богданович на совещаниях опять лез на трибуну: «Догоним и перегоним!» Но свой скот не спешил резать: «Догоним и перегоним по свинине!»

В те годы в свиноводниках его колхоза сновали длиннорылые, длинноногие существа с острыми хребтиками, заросшие колючей щетиной. Они отличались неуемной прожорливостью и резвостью.

— На что мы корм изводим? — спрашивал Артемий Богданович своих. — На свиное мясо? Нет! На свиную энергию. С нашими поросятками только бы зайцев травить — не поросята, а борзые собаки.

И вот этих-то «борзых» Артемий Богданович давно хотел вывести, заменить породистыми, которые бы вместо проворства наделены были степенной ленью, нагуливали не только щетину, но и нуды сала и мяса.

«Догоним и перегоним по свинине!» «Борзые» подчистую шли под нож — хряки, матки, сосунки. Мясо есть мясо, лишь бы шло в зачет.

Правда, не так-то просто выехать на одних «борзых», тем более что соседний Блиновский район выкинул лозунг: «Блинцы — вторая Рязань!» А с блинцовцами соревновались. И опять Артемию Богдановичу вкатили выговор. «Выговор — по туберкулез», пусть... «Умный гору обойдет...»

Вскоре после этого Настю назначили свинаркой вместо Пелагеи Кыркиной. А свинарник был пуст, даже запах свиней выветрился, углы затянуло паутиной. И вот однажды к нему подкатил грузовик, сам Артемий Богданович выскочил из кабинки — шляпа из соломки сбита на затылок, плечи расправлены, пухлая грудь вперед.

— Племяши приехали, встречай, тетушка! — крикнул он Насте.

С кузова сняли две большие плетеные корзины, в каждой из них — по пяти поросят, замученных длинной дорогой. Их высадили на согретую солнцем молодую травку, они лезли друг на друга, повизгивали — розовые, тупоносые, беспомощные.

Артемий Богданович щупал их, восторгался:

— Гляди! Ты на уши гляди! У свиней порода в ушах. Раз висят — значит, благородных кровей, из дворян! — И вдруг стал строг: — Вот, девка, подыми. Колхоз на тебя смотрит. Всех до единого, слышишь?

И Настя подняла всех, это было не так уж трудно — поросята быстро обжились.

Из них выросли десять дебелих маток, каждой было дано имя — Роза, Канитель, Рябина, Купчиха... Они стали основой свинофермы, каждый год по два раза плодили ушастых поросят.

Артемий Богданович не мог парадовать на них:

— У свиней порода в ушах. Дворян вислоухих заводим!

Хвалил Настю:

— Золотой ты человек. Придет время — на руках носить будем.

И вот при первой же оплошке свалил все на нее.

По дороге, зажатой сугробами, шла Настя домой. В пухлых, белых полях тонули черные избы знакомых деревенек — Степаковская, Кочерыжино, Кулички... В них попрятались люди. Настя несла в себе воспаленное недоверие к ним.

Те, кому она больше всего верила, обманывали ее. Венька Прохорёнок — первый, к которому потянулась, без хитрости, открыто. Венька — тонкая шея с проклюнувшимся кадыком, узкие плечи, стянутые тесным пиджаком, тяжелые, раздавленные работой ладони. И ведь робел перед Настей, не нахальничал, как другие нарни, можно ли подумать, что обманет?..

Кешка Губин не похож на Веньку, потаскался по жизни, знал баб, ему нужно было к кому-то прилипнуть, а Настя — по соседству, чем плоха — не урод, люди уважают. Зажал в сенцах, когда выходила от Павлы, дыхнул табаком, блеснул золотым зубом, сказал: «Перейду к тебе, примешь?» И опять поверила, и опять обман.

Артемию Богдановичу, казалось, какая корысть обманывать, ни в мужья, ни в полюбовники не лез. Ловко он вывернулся: «Сумей против силы справиться». Против силы...

Весь мир Кешки, ты одна против всех. Так и не заметишь, как люди жизнь по кускам повыкрадут. Самой бы у других рвать, да не умеет...

Снег, снег, поля, поля — обширна заснеженная земля, утыканная пахнущими печным дымом деревеньками, перелесками в инее, рассеченная оврагами в путанице кустов. Обширна земля кругом, а куда в ней спрятаться одинокому человеку?

Дорога вела мимо свинарника. Настя свернула к нему. От девичьих неудач, от вида больной матери она привыкла прятаться здесь, забывалась в работе.

Из кормокухни распахнутая дверь вела внутрь, в стойловое помещение. Настя не зажгла свет, и животные не учуяли ее приход. Из темноты слышалось сопение, вздохи, шевеление, тек густой запах. Укрытая от белого заснеженного мира, здесь шла своя жизнь, — Настя впервые подслушивала ее со стороны. Обычно ее приход нарушал эту жизнь: подымалась возня, визг.

Темнота, густой спертый воздух, хряк Одуванчик вздыхает, и его вздохи напоминают патужно стариновское: «Охо-хо!» Тоже жизнь, радуются, когда приносят корм,

спят, чешутся, поросются и не замечают, что над ними текут дни за днями, не замечают, что живут. И Настя вдруг стало страшно от неожиданного открытия — живут, словно спят, к чему являться на белый свет, когда свету не видят?

«Охо-хо!» — вздох Одуванчика.

Кешка звал Настю с собой, в города, освещенные по вечерам огнями, в города, где кипят улицы от народа, где сияют окнами магазины, где не похожие на нее, Настю, люди разъезжают в машинах, ходят в театры. Кешка звал, и стоило ей сказать «да» — как забыты были бы эти стариковские вздохи Одуванчика, забыта засыпающая снегами деревня Утицы, и нынешние беды казались бы смешными, и ругает или хвалит ее сам Артемий Богданович — несколько не важно. Кешка ни разу не заглянул сюда в свинарник, а звал: едем, не топи себя в свином навозе. Стоило только сказать «да»... Кешка звал, и уговаривать его было напрасно — не прельстился, что построят новый дом, что купят мотоцикл...

Темный провал дверей, в густом, перебродившем сумраке живут туши сала и мяса, без мысли, без страсти, покорно. И Настя, чтоб перебить эту жизнь, стала торопливо шарить по бревенчатой стене, отыскивая выключатель.

Свет вспыхнул, разбудив свиней — заворочались, завизжали. И в этом сонливом мире бывают минуты радости, даже неистовства. Поросята лезли друг на друга, толкались в перегородки...

Отлученные от маток больные сосунки лежали кучей под рядом. Только один отпал в сторону, растянувшись, припав по-собачьи мордой к полу. Он вяло приоткрыл белесое веко, проклюнулся черный маленький глаз, переполненный почти человеческой покорной тоской. И эта тоска в упор, в самую душу, и то, что по в куче, а сиротливо умирает в стороне, резануло Настю по сердцу. Она взяла его на руки, прижала к себе:

— Бесталанный ты мой...

Из кучи вынесла в подоле тропх, выкинула в навозную яму. В куче оставалось еще около десятка, все они обречены, все подохнут, но Настя все-таки возилась с ними, кормила, подносила к маткам.

Того, сиротливого, засунула за пазуху, пошла домой, волоща от усталости ноги.

Спускавшаяся с потолка лампочка без абажура заливала избу ярким светом, на столе в деревянной чашке при-

крыт полотенцем нарезанный хлеб. Мать сидела у стола, сутулилась, ждала ее, и, как всегда, лицо у нее какое-то немое, как всегда, прислушивалась, что происходит у нее внутри, к болезни.

— Щи в печи и селянку с яйцом сделала, должно, перестоялась,— сказала мать.— Достань, лапушка, сама...— И почему-то спjala со стола свою иссохшую, с набухшими суставами руку, стыдливо спрятала в юбку.

Настя вынула из-за пазухи поросенка, положила к порогу:

— Чем бы укутать его?.. Умрет, не выходим.

Клетчатый Кешкин шарф все еще лежал на лавке, Настя взяла его, заботливо завернула грязного поросенка.

— Ты чего? — удивилась мать.— Вещь-то совсем новая.

Настя сердито обрезала:

— Иль думаешь, я корыстоваться после него буду?

И представился Кешка с этим шарфом на шее, в городском пальто, в шляпе и с золотым зубом. Сейчас, поди, толкается где-нибудь под фонарями на людной улице, глазееет — в какой бы магазин зайти. Мать, как и этого свиненка, что сунула под порог, уже не выходишь, все равно умрет. Умрет, а время пропущено, к кому-то там прилепится Кешка?..

Сухие, текучие морщинки на бледном лице матери, глаза застывшие, глаза, для которых не так важно то, что они видят — изба, Настя, печь, поросенок,— важно внутри, туда вглядывается, тем живет.

— Собери, лапушка, сама, мне сегодня чегой-то совсем... Ох, господи! Скорей бы смерть пришла. Молю, молю, никак не вымолю.

— Раньше бы молила, а теперь чего уж — поздно! — прорвалось у Насти.

Вот как складно у нее получается: мать умрет, когда уже нет нужды умирать, когда уже Кешка утерян, когда счастье проскочило мимо. И что толку, что мать когда-то тянула ее, выкармливала на крапиве да на кугеле, что толку, что вытянула — нянька при свиньях. И впервые к больной матери обида, впервые злоба: пусть не хотела, а ее, бабье счастье, переехала:

— Поздно! Не вымолишь!

— Доченька, господь с тобой! Что говоришь?

— А то, мне хоть вешайся, как подумаешь, что за житье впереди.

— Господь с тобой!

— Видать, не со мной ваш господь, с кем-то другим!

— Так я, что ж... Так ты б покинула меня... Право, чего уж жалеть.

— Покинула! Покинула! А после — корчись от совести. Тот же не жизнь! Ох, пет мне удачи! Скажи, за что я проклета, за какие такие грехи? Оглянись, кто из девок так обижен, как я?

— Я бы рада...

— Уж молчи! Что толку от твоей радости! Ты-то хоть пемного да хлебнула счастья, хоть чуток да с мужем жила, семью имела. А я?.. Может, мне радоваться, что сейчас ши не пустые буду есть, что в сундуке пальто нарядное лежит? И в этом нарядном пальте никому не пужна!..

Мать сидела, подавшись головой вперед, скрученные руки дрожали на коленях. А Настя уже не владела собой, выкрикивала с клетотом:

— Для чего живу? Для чего? Для того, чтоб еще одно пальто заробить? Потом спрятать и не надевывать! Ломлю спину с утра до вечеру — для чего? Для кого? Для себя? Не-ет, для свиней! Вот она долечка! Радуйся вместе со мной-то! Чего не радуешься?...

Мать тихо произнесла:

— Не руки же мне на себя наложить. Нету смерти-то, не вымолю.

И Настя отрезвела от ее глухих, виноватых слов, опустилась на лавку, шершавой, жесткой ладонью провела ото лба к подбородку, сдирая с лица кошмарную одурь.

— Раньше, слышь, приемные дома для стариков были... Есть ли теперь-то?

Настя терла лицо:

— Чтой-то со мной?.. Дичаю...

— Разве не вижу я, что век твой заедаю.

— Молчи! Молчи! Забудь! С ума схожу!..

— У меня, глядячи-то, кровью по тебе сердце обливается.

— Ох, прости ты меня, непутевую. Молчи! Няичить тебя буду, лечить буду! Да и как мне без тебя? Без тебя одна-то совсем с ума свихнусь. Хоть для тебя и жить-то, маменька...

— Добрая ты у меня, Настька.

— Сорвалась я сейчас...

— Этого-то... — Мать кивнула к порогу, где из широкого клетчатого шарфа высовывался пороссячий нос. — Чаю мадо круто заварить да отпаивать. Помогает.

— То стервлюсь, то в жалость бросает. И этого вдруг так-то жалко стало...

— Добрая ты... А шарф зря — новый.

— Ну и пусть этот бездоля в новом пофорсит.— Настя подошла к порогу, опустилась на колени.— Лежи, Кешенька, лежи, болезный... Вот и имя ему, самое подходящее. Коль выжпвет — память о том. Другой-то не оставил.

8

На следующее утро выбросила еще пятерых поросят. Заболели новые. Болезнь как пожар...

Приехал дед Исай, привез корм, сообщил, что кладовщик Михей отпустил муки самую толику, почти всю заменил высевками.

Все ясно, считали — «гордое знамя колхоза», как тут не задабривать, не идти навстречу — ей подбрасывали и получше и побольше. «Гордое знамя»... Ошиблись. И сразу вместо муки — высевки. И жаловаться не думай, ответ один — как всем, так и тебе. Как всем, ты не особая.

И с отчаянья решилась: «Еще посмотрим, может, и особая...»

Она зашла к Павле:

— Подкинь вечером моей прорве корму. В Загарье еду, до ночи задержусь.

Дома она достала из сундука пальто с мерлушковым воротником, то самое, что купила в прошлом году, на голову накинула пуховый платок...

Пешком до тракта, а там к райцентру ходил автобус.

Сушеной черники она достанет и в деревне, в аптеке надо взять каких-нибудь трав, бутылку риванола и, главное, как можно больше рыбьего жира, на что не захотел раскошелиться Артемий Богданович.

В ветлечебнице просить — пустое. Было бы у старшего ветфельдшера, было бы и в колхозе — Артемий Богданович с ним в дружбе.

Конечно, все влетит Насте в копеечку, да теперь ей деньги не так уж нужны, раньше думала купить Кешке мотоцикл «Уралец».

В аптеку сразу не пошла. Без рецептов, без бумаг с печатями ей не отпустят, тем более что собирается закупать оптом: стадо лечить — не мать, все полки в аптеке опустошишь.

Настя с автобуса двинулась к Маруське Щекоткиной,

та родом из их деревни да еще приходилась родной, хотя и не близкой — троюродная сестра. Работала Маруська буфетчицей в сплавконторе, ее все Загарье знало.

— Выручай, Марусенька, не то съедят меня...

Маруська — добрая душа, своих помнит, не раз выручала, когда сахар в магазинах было трудно достать. — сплавщики-то снабжаются на отличку. Вся деревня Утицы не пивала чаю без сахару.

— Выручай, Марусенька...

Маруська — добрая душа, невысока ростом, конопата, бойка на язык. Вот таким-то и везет в жизни, муж у нее работает на сплаве и зарабатывает крупно, не пьет, на стороне не гуляет, Маруськи побаивается. Дом недавно свой поставили, а в доме в каждой комнате по кровати пружинной, на всех перины горой. При такой жизни и к другим можно быть доброй.

В аптеке Маруська никого знакомых не имела, но зато хорошо знала местного фотографа Исаака Куропевцева. Тот уж знает всех и ей, Маруське, ни в чем не откажет. Кроме того, он — стар, верно, часто ходит в аптеку.

Однако Исаак Куропевцев был хоть и стар, побаливал, но лечиться не любил, а беде помочь мог — хорошо знаком с Василием Леонтьевичем Мигуновым, тот много лет работал в райздраве, сейчас на пенсии, авторитет еще не растерял.

Василий Леонтьевич оказался «тот самый», который нужен. Он сходил к врачам, чтоб получить рецепты, — «аптека-то не частная лавочка, перед кем-то отчитываться должна», — свел Настю с Анной Павловной, она заведующая аптекой, провизор, командовала штатом — одной девицей, которая недавно ушла в декретный отпуск, — так что полная хозяйка.

Василий Леонтьевич попросил, Анна Павловна не отказала, выдала все, что нужно. На беготню от одного человека к другому ушел целый день. Но Артемий Богданович, если б решился сам раздобывать, вряд ли бы управился быстрее, ему бы пришлось ходить из учреждения в учреждение, составлять бумаги, подписывать их. Вряд ли быстрее, да и вообще вряд ли достал все, так как с бумагами чаще заедает.

С двумя тяжелыми сумками, набитыми бутылками, пузырьками, пакетами, Настя двинулась от Маруськи к автобусу. Все-таки Маруська — добрая душа, она и покор-

мила Настю, и помогла уложить все, даже сунула гостинец — двести граммов недорогих конфет: «Старуху побалуешь...»

Насте везло, по дороге ее обогнал грузовик и с ходу затормозил. Открылась дверка, высунулся шофер:

— Домой, зазпоба?

Женька Кручинин, возивший ей обрат и сыворотку.

— Садись. И мне веселей. Люблю женское общество... Да сидоры-то брось в кузов, — целы останутся.

— Не. — Настя стала пристраивать сумки на колесах. — Бутылки у меня — побьются.

— Бутылки? Уж не свадьбу ли гуляешь?

— В моем заведении один жених — Одуванчик, да и то у него невест много.

— Тогда именины?

— Иль поминки. Чай, слышал уже, болезнь на поросят напала, вот спасаю — рыбьего жира купила да еще отравы всякой.

— Вроде не твоя забота. Тебе должны на подносике поднести.

— Жди. Хоть бы раскошелились... На свои деньги все.

— Мне б такую женку заботливую, как у твоих поросят хозяйшка.

— А своя что? Сменяй на другую, коль не хороша.

Променил бы старую
На девку угарую,
На кобылу,
На козу,
На козулю в носу...

Прогадать боюсь. Все девки хороши, и откуда только жены-злыдни берутся.

Машину заносило на поворотах, из тьмы па стекло кабины бесновато летели освещенные фарами хлопья снега.

Веселый Женька Кручинин выболтал. На другой день, близко к полудню, серый рысак пронес по улицам дрожки, остановился у свиарника. Из дрожек выкатился упрятанный в черный полушубок Артемий Богданович, вошел к Насте, на исхлестанном морозном ветерком лице — доброе смущение, скинул шубную рукавицу, протянул теплую руку:

— Вот из Дору гнал, решил завернуть. Как здоровьечко?

— Чье? Мое? Или их? — Настя без платка, раскосмаченная, гневливая, розовая — только что подшевеливала печь.

— Твое, твое, молодая. Ты будешь здорова, и они выправятся.

— Твоими молитвами, Артемий Богданович.

— Эк, кусачая.

Подошел к окну, где на подоконнике рядком стояли опростанные пузырьки, взял один, поднес к носу, внюхался, озабоченно покачал головой, взял другой...

— Ладно, не серчай, девка... А за эти снадобья мы тебе заплатим. Не серчай. Я ведь тоже могу ошибаться. У каждого своя манера к делу подходить. Я, к примеру, люблю с обходцем — «умный в гору не пойдет...». А ты, может, из тех, кто как раз горы-то берет в лоб... Много еще пало после тех? А?

После тех семи, что Настя вывалила перед Артемием Богдановичем, пало много и еще, не миновать, будут падать — считай, на всем зимнем опоросе крест. Но Настя ответила заносчиво и решительно:

— Один — и хватит!

Сам Артемий Богданович урок дал: не будь слишком доверчивой, доверчивому — сняжки и шишки, обходчивому — коlobки и пышки, теперь-то она всю правду ему не скажет. Один! Пусть проверит, пусть пересчитает по головам, для этого ему придется скинуть мягкие чесаночки да полазить на коленях вокруг маток, а при этом недолго и полушубочек запачкать. Пусть проверит.

Но Артемий Богданович и не думал проверять:

— Один?.. Ай, молодец! Характер у тебя, девка, гвардейский. Не растерялась, вовремя спохватилась. Ай, молодец!

Голос искренний, уважительный, лицо открытое, от глаз добрые морщинки, но Настя путром почувствовала — вряд ли совсем верит, не так прост Артемий Богданович. Не верит, а соглашается: пусть будет «один — и хватит», пусть кончится напасть; раз она, Настя, так говорит — значит, знает, что потом вывернется. Ну, а коль не вывернется — он, Артемий Богданович, не ответчик. А в сводках и расчетах — полный порядок, никто сверху не попрекнет, что у тебя в колхозе падеж: председателя за неудачи по головке не гладят,

— Ворочай, Настя. Мы еще покажем с тобой, что по лаптем шти хлебаем. Ставь точку над этой канителью и бери вершины!

И опять теплой ладонью пожал ей руку, заглянул в глаза, вышел. Привязанный к ограде рысак рыл снег копытом. Настя знала: Артемий Богданович теперь снова пачнет ее славить.

И не ошиблась.

Не от кого много, как от Артемия Богдановича, узнал Костя Неспанов о подвиге Насти. На следующий день прибежал к ней пешком, озябший, прячущий уши в поднятом воротнике, конопушки на щеках тонули в густом морозном румянце. Выудил из кармана затрепанный блокнотик и вечную ручку.

— Хочу матерьялец подать в районную газету. Так сказать, вроде коротенького очерка о передовике...

Костя был председателем сельсовета. Когда-то на этой должности сидели солидные люди, под их управлением было несколько колхозов. Слово председателя сельсовета было тогда законом для колхозных руководителей, попробуй-ка ослушаться, коль говсрит глава местной власти. Но уже много лет, как эти разбросанные колхозы слились в крупный, один на весь сельсовет. И председатель колхоза как-то незаметно поднялся над председателем сельсовета. Клуб отремонтировать — помощи колхоз, у него и тес, у него рабочая сила, в школе дров нет — у колхоза и кони, и машины, и леса вокруг колхозные, не сельсоветовские. Первая фигура на селе — Артемий Богданович, а при нем где-то Костя Неспанов, и если у Кости над головой будет протекать крыша, то на поклон ему идти к тому же Артемию Богдановичу. Ныне уже слово Артемия Богдановича — закон для Кости, да Костя и не лезет в главари, чувствует — молод.

Не так давно Костя писал стихи про любовь, под Есенина и под Степана Щипачева:

Любовь — это буря в душе,
Любовь — это верность навеки!
Скажите вы мне, человеки:
Чего не хватает мне?

Ему чего-то не хватало, чтоб стать поэтом, потому он начал писать заметки в районную газету. И каждый раз, когда он читал напечатанное типографским шрифтом то,

что недавно было написано его рукой, когда видел в конце заметки свою фамилию «К. Неспанов», от волнения покраснел уши.

К тем, о ком он собирался писать, Костя заранее относился с почтительным уважением, доходящим до робости. Уж коль он пришел к человеку с надеждой увидеть его имя в печати — значит, этот человек особый, он, Костя, не имеет права называть его Ванькой, Сашкой, Настей, как звал их вчера, обязан величать по имени и отчеству.

Вот и сейчас он смущался, от смущения с деловитой строгостью наспливая почти отсутствующие брови, выспрашивал:

— А скажите, Анастасия Степановна, что побудило вас?.. Ну, какая внутренняя причина?.. Я с точки зрения переживаний, психологически...

— Чудак ты, Костя. Какая точка зрения да психологически еще... Поросята же дохли, а в правлении, знаю, никто не почешется...

Костя с важным видом делал пометки в своем блокнотике.

Дома он в тот же вечер сел писать очерк, который начинался: «Мела свирепая метель, заносила дороги. Преодолевая напористый ветер, по сыпучему снегу шагала девушка...»

Дальше шел рассказ о том, как эта девушка сквозь пургу песет медикаменты больным пороссятам. Костя знал, что метели в тот вечер не было и что Настя к дому шла не пешком, ее привез в кабинке грузовика шофер Женька Кручинин, но педаром же Костя мечтал стать поэтом...

Свое произведение он показал Артемию Богдановичу. Тот пробежал его, нахмурился:

— Спрячь и никому не показывай.

— Почему?

— Да потому, что незачем, голубь, выносить сор из избы. Прочитают в районе, ухватятся: «А, мол, вы такие — поросята у вас дохнут, свишарки из своего кармана лекарства покупают, даже лошади не догадаются дать — словом, никакого внимания ни к людям, ни к пороссятам». Как мы, братец, будем выглядеть? Такие псульки у знающих людей называются очернительством, слышал? То-то. А вот про свирепую метель ты красиво загнул.

Костя как похвалу, так и критику переживал одинаково — краснел ушами.

— Ничего. Сейчас не попал, в следующий раз угодишь в самую точку,— успокоил его Артемий Богданович.— Ты к этой Насте приглядывайся, не раз тебе сочинять о ней придется. Ей рост и рост. Еще вырастет не без нашей с тобой помощи — по области, а то и по всей стране загремнит.

Косте не впервой было переживать неудачи. Он спрятал свой очерк, по слова Артемия Богдановича западали ему в душу — к Насте стал приглядываться, и очень внимательно.

10

Поросенок Кешка, которого Настя подыхающим принесла домой за пазухой, выжил, вырос, отъелся, стал тугой, как барабан, давно живет в общем стаде. Но пока Настя пнячилась с ним, отпаивала крепким чаем, черничным настоем, рыбьим жиром, он так привык к ней, что теперь, едва выпускали из клетки, ходил за своей хозяйкой, как собака, терся о ноги, замирал в блаженстве, когда протягивала руку.

Косте Неснапову, частенько заглядывавшему на свинарник, Настя говорила, показывая на крутобокого Кешку, путавшегося у юбки:

— Вот — скотина, а верней не отыщешь. Добро помнит. Я в омут брошусь, он — за мной. Среди людей, поди, таких не бывает. У людей-то, у каждого — своя рубашка ближе к телу.

Костя косился на млеющего под Настиними руками Кешку, возражал:

— Ты это брось людей с поросятами сравнивать. «Человек — это звучит гордо!» Горький сказал.

— Вот то-то, что гордо. Всяк своей гордыней живет. А у животных душа проста. Что, Кешенька, что, сизарь мой, вот я тебя, вот как... Ишь, лыбится...

— Золотой ты работник, Настя, а политически незрела. И на людей черства. Вот я, к примеру...— У Кости начинали наливать багрянцем уши.— Вот я с открытой душой к тебе, а ты хоть раз мне слово ласковое бросила? Ласковые-то слова у тебя на поросят уходят. Иди навстречу людям... Вот, к примеру, я... Я, конечно, ничем других не лучше, но...

Костя замолкал. Настя, задумчиво почесывая млеющего Кешку, холодно и пытливо присматривалась к Косте:

— Лучше ты иль хуже — не пойму. Ты блаженный, стихи пишешь, статьи, речуги толкаешь на собраниях. Ни от твоих стихов, ни от твоих речей никому ни жарко и ни холодно.

У Кости сердито горели уши. Эта засидевшаяся в невестах рослая девка с крутыми плечами и самостоятельным характером, которого побаивался сам Артемий Богданович, не замечает его, глядит как бы сквозь. А Костя последним парнем никак себя не считал.

Зимой Настя бросила Артемию Богдановичу, словно отрезала:

— Один — и хватит!

А к тому времени подход уже не один, да и после выносила тайком в подоле. Тайком, утаила и — вот диво — страха не чувствовала, что откроют обман.

О каждом поросенке, как только родился, сообщи в колхозную контору — есть, мол, прибыль на голову. Эту голову сразу записывают в книгу, в графе «приход» цифра увеличивается на единицу. Сдох поросенок — спиши, акт составь, чтоб в другой графе «расход» была проставлена новая цифра, уже на единицу меньше. Учет, на то и существует бухгалтерия во главе с бухгалтером Сидором Петряевым. Сам он мужик тихий, покладистый, жепы на нем верхом ездит, да законы возле него строгие. Попробуй не списать вовремя хотя бы одного подошедшего сосунка — откроют книгу, и цифра покажет: не сходятся концы с концами — на единицу меньше, где эта единица? Может, продала, может, во щах съела, и не думай доказывать на пальцах. На суд, скажем, не подадут, а оплатить из собственного кармана заставят.

Вынесла тайком в подоле добрый десяток... Казалось бы, прямехонько сама себя к беде ведешь и свернуть нельзя —дохлых поросят не оживишь. Но... «Умный гору обойдет...» А каким путем? Кого это интересует?

Весной — новый опорос, как бы его ни планировали там, в конторе, какие бы цифры ни писали, а угадать заранее никто не в силах: сколько матка Рябина вымечет поросят — может, пять, может, десять. Сколько ни скажи — поверят и, уж конечно, сломя голову не бросятся считать, с цифрами, записанными в книгах, сравнивать: «Не собиравшись ли обжулить нас, голубушка?» Любая свиноводка удивилась бы и обиделась такой проверке. Обычно документы на рожденных поросят оформляют

в конторе, от которой до Настиной свинофермы добрых семь километров, верят слову, сразу подошедших поросят даже не записывают, чтоб особо «не портить показатели».

Весенний опорос покрывает недостаток. Интересоваться поросятами начнут осенью, когда придет время рассчитывать с государством по мясу. Но и тогда всех по головам считать не станут, могут только спросить: почему не подросли, почему вес ниже нормы? Ну, тут отговорок полный мешок: «Поросята-то зимние, а вы бы хотели полный вес, спасибо говорите, что таких вытянула». «Умный горю обойдет...» Большого риска нет, а совесть... Что совесть? Артемий Богданович, ежели прижмет, не посовестьится на нее, Настю, вину спихнуть. Почему она должна быть совестливее его?

Артемию Богдановичу приходилось отдуваться за зимний опорос. Настя как-никак, пусть с потерями, остановила падеж, сохранила часть поросят, у других же свинок попереходили не только сосунки, но и откормочные, заразились матки. Свиноводкам снижали оплату, и они на чем свет стоит костили Артемию Богдановича. И тут единственный ангел-хранитель — Настя. Па все попреки, на все жалобы у Артемия Богдановича один ответ: «Не справились, а почему Сыроежкина справилась? Она что — дух святой, не такая же свиноводка? Все дело в умении и добросовестности!» И фотографии Насти наклеили на доску Почета, ее имя постоянно склоняли на собраниях, о ней с уважением писали в районной газете. И становилось ясно каждому — на околице деревни Утицы зреет знатный передовик колхоза. А чтоб он быстрее зрел, нужно подкармливать. Кладовщик Михей по словесному указу Артемия Богдановича отпускал Насте на свинок лучшие корма, не заменял больше муку высевками. Лучше и больше, так как сдохшие поросята числились живыми, росли, крепились, им тоже отпускалось на прокорм.

Так прошла зима, из-под снега выползли прогретые пролежни, в оврагах скопилась застойная зеленая вода. И Настя по утрам бежала на ферму уже при молодом солнышке — дни становились длиннее.

После зимнего опороса матки не набрались сил, и весенний приплод был мал. Рябина, самая плодовитая, меньше восьми никогда не метала, а тут принесла шестерых. И, как назло, где тонко, там и рвется. Хотя Настя не спала ночами, затемно вскакивала с постели, накидывая платок и ватник, мчалась к ферме, часами не отходила от маток,

но все-таки не доглядела. Матка Роза, страховидно толстая, пеуклюжая, ворочаясь с боку на бок, задавила сразу троих. А впервые запущенная под хряка Голубка, на которую Настя рассчитывала — будет хорошей маткой, — оказалась со злым пороком. Голубка, крокодиллом бы ее звать, — выметала четверых и тут же сожрала. И не обошлось без поштучного отхода: одного угораздило свалиться в навозную яму, другого искусал хряк...

Настя извелась, почерпела лицом, мать дома пряталась от нее на печи — вдруг да вгорячах област. А Настю продолжали славить, Костя Неспанов ходил вокруг с блокнотиком, он написал в областную газету, ждал ответа. И часто заскакивал тоже замотанный делами Артемий Богданович, толтался в проходе, заглядывал под маток, бодрил:

— Держи марку, Настя. На тебя глядит вся колхозная общественность.

Настя сердито неняла ему на скудный приплод, по о потерях помалкивала. Задавленных Розой сосунков снова тайком вынесла в подоле...

Списать под этот опорос мертвые пороссячи души? Наверно бы, можно. У нее не красно, а у других и совсем из рук вон плохо. Другие-то не получали добавочные корма, не обиходили маток, как она обиходила, не вскакивали по ночам с кровати... Списать можно, грехи покроются, но тогда уж похвалы не жди — кисленькие попреки и, быть может, вместо чистой мучки высевки. «Что ж это ты, Настя, по показателям упала, на одной половине с Марией Ключиной стоишь?» А у свиарки Марии Ключиной пустые клетки паутиной затягивает. Нет, она ей перовня!

Семь бед — один ответ. Раньше не испугалась проверки, а теперь-то и подавно бояться нечего.

Для виду Настя решила списать двоих на Голубку. Только двоих. Приплод невелик, но и процент отхода низок. Верьте!

Нежданно-пегаданно нагрянул посатый паренек в кожаной куртке, увешанный фотоаппаратами, заставил выгнать всех свиней под открытое небо, поставил посреди тучных маток Настю и строгоныко покрикивал: «Не глядите в объектив! Минуточку!» Хлопотливо щелкал, то забегая сбоку, то приседая, то забравшись на изгородь. Прославлена была на область не только Настя, но и ее любимец Кешка. Настя-то стеснительно смотрела в сторону, а Кешка, прижавшись к юбке, пахально уставился со сним-

ка, он не считался со строгими приказами носатого паренька: «Не глядите в объектив!»

После дождей, по расползшейся дороге, еле-еле пробрался к Утицам автобус, из него высыпали девчата и парни — все свой брат, колхозники из соседнего Блинцовского района. Они лазали по свинарнику, изучали свиней, расспрашивали:

— А каков рацион? А когда пойшь? А собираешься ли еще проводить зимний опорос?..

Глядели в рот, ловили каждое слово.

11

А дома по-прежнему — пустынно и скучно. Мать держалась, ей не хуже и не лучше, лечилась травками. По-прежнему Настя заставляла ее сидящей на лавке с замороженным взглядом, направленным куда-то внутрь себя, вглубь.

Мать-то не считала Настю счастливой. Вот если б внуки по избе ползали да стоял бы в доме запах ядерного мужика, дымящего табаком, приходящего с работы в пропотелой рубашке, тогда бы — у дочери жизнь, как у людей. А так и с почетом, и с фотографиями в газете, а бобылка бобылкой, для бабы это последнее звание.

Потому-то Настя и не любила бывать дома, что каждую минуту чувствуешь немое сожаление матери.

Они с матерью сидели за столом, Настя хлебала из чашки, мать смотрела, придвигала то соль, то нож для хлеба. Молчали, обо всем давно переговорено. Корм в свинарнике задаи, вечер свободный, как-то надо его убить. Обычно Настя убегала к Павле поболтать. Павла каждый раз сообщала новенькое о Кешке — живет в Соломбале, работает на лесозаводе, холостяжничает, как бы при одинокой жизни карусель у него не пошла, сама знаешь, от стопки никогда не отказывался, а дружков-собутыльничков везде хватает... Павла доносила не без задней мысли — вот, мол, хоть ты и в славе, и при деньгах, а мужики на тебя что-то не очень падки, нам-то Кешка нишет, а тебе даже и поклоны не елит передавать. Павла в эти минуты была неприятна Насте, но приходил вот такой свободный вечер — и тянуло к ней, послушать о Кешке.

И сейчас она, дохлебав бы щи, поднялась бы и ушла, но за окном раздался храп коня, стук ног на крыльце, знакомый голос:

— Дома хозяйка?

Артемий Богданович — что с ним? — синий бостоновый костюм, в каком выезжал только в область, не ниже — для района и обычный хорош, — рубашка белая, галстук, и лицо — что пятак, патертый о валенок. За Артемием Богдановичем бочком Костя Неспапов, тоже в глаженном костюме, отложной воротничок вокруг шеи, туфли начищены, щеки красны и глаза бегают где-то по потолку, выше голов.

— Здоровы будете?

— Здоров, коли не шутишь, — ответила Настя, чувствуя зябкость в спине и слабость в ногах: начинала догадываться. — К столу бы пригласить, да не сказались — стол-то не праздничный, а вы — как на именины. Может, порогом ошиблись?

— Нет, вроде, порог тот и люди те, что нам пужны. Правда, Костя? — Артемий Богданович решительно присел к столу. Костя на краешек лавки в сторонке.

Мать Насти с натугой поднялась, двинулась было к печке, но Артемий Богданович остановил ее:

— Нет, мамаша, останься. Не посторонний человек, а, так сказать, напротив — самый нужный в нашем деле. Правда, Костя?

У матери дрогнули морщины, она села, тревога и ожидание застыли на лице.

Артемий Богданович выбросил на стол руки, пошевелил пальцами, крикнул смущенно, исподлобья взглянул на Костю — тот густо покраснел.

— Ну вот, — начал Артемий Богданович, — я человек прямой, вилять не люблю. Обычаев старых тоже не знаю. Но, помнится, в прежние-то годы начинали: «У вас есть красный товар, у нас — купец молодец...» Так, что ли, мать? Настя, ясно?

Настя молча покосилась на свекловичную физиономию Кости.

— Я сват, Настя! Сам-то он хуже девки робеет, пришлось взять на себя. Впервые в жизни, значит, с этой должностью справляюсь, может, чего и не так, не обессудьте... Ну, Настя?

— Чего — ну?

— Эва, она еще спрашивает! Пойдешь за него замуж или какого там принца крови из заморских стран подождешь? Вопрос, так сказать, прочувствованно — ребром. Ну?

Настя сжала руки коленями, уставилась в стол, молчала. Артемий Богданович смущенно крикнул:

— Ну, не тяни! Иль он чем худ тебе?

— Худ?.. Пожалуй.

Костя тоскливо сцепил челюсти, поднял взор к потолку, проскулил:

— Пойдем, Артемий Богданович, отсюда. Что уж...

— Это как так пойдем? — У Артемия Богдановича гневливой темнотой налились подглазницы. — Уйдем, когда выясним, не раньше того. Уйдем и позор спесем. Выкладывай, чем он тебе худ?

— Одним только. Молод. Я уж в годах, намерен двадцать восемь стукнуло, что мне к себе детей припутывать?

— Детей? Костя, слышишь?.. Да обидься ты, чертов сын! Стукни по столу, чтоб чашки с ложками на пол посыпались!

— Пойдем, Артемий Богданович, чего уж...

— Эх, завел волынку! Ты не можешь, так я стукну! — И Артемий Богданович действительно впел тупой кулак в столешницу. — Тебе — двадцать восемь, ему двадцать пять в этом месяце выпадет. Три года разница. Как ты успела постареть за эти три года, чтоб он тебе дитем стал? Сколько Кухареву Гришке, помнишь? А сколько его Верке?..

— То-то и оно, — глуховато и спокойно возразила Настя, — иль слава о Гришке не идет? За любым хвостом волочится, юбку на козу одень — побежит, припихиваясь. Такого не хочу!

— Ха! Он ли на Гришку похож? Да ты оглянись — с таким ли характером хвосты ловить? Не парня, а ярочку к тебе в дом ввожу.

— Артемий Богданович! — Костя вскочил, щеки пошли пятнами, зеленые глаза плавились, голос скололся на сипленький тепорок: — Не хочу! Баста! Можно только по... по любви! А раз нет... То чего уж. Я пошел, Артемий Богданович...

Артемий Богданович вдруг стал спокоен и суров:

— Ну, Настя, скажи ему, чтоб уходил. Ну-ка, скажи, я послушаю.

— Я пошел, Артемий Богданович! Я пошел... Раз нет, раз не лежит сердце... Чего уж...

— Что-то я, Настя, голосу твоего не слышу. Молчишь?.. Ну, тогда я скажу последнее слово, другого не будет. Цену себе набиваешь? Хвалю! Цену себе каждый знать должен. Но только помни: так и с товаром на руках остаться можно. А твой товар — скоропортящийся, вроде

молока, поддержки подольше — там уж за бесценюк никто не примет.

— Цепя! Бесценюк! — вдруг завопил Костя. — Что за слова? Не хочу! Не буду! Знал бы я, да разве... Да ну вас!..

Он повернулся и пошел к двери. Мать, сидевшая за столом все с тем же тревожным выжиданием в глубине бесцветных морщинок, вздохнула, опустила глаза.

— Костя, обожди, — тихо сказала Настя.

И Костя застыл — одна нога в сенях, другая в избе.

— Неуж любил? — все так же тихо спросила Настя, пристально глядя на застывшего на пороге Костю.

— Да теперь все! Теперь внутри перегорело. Не-на-вижу! Врага ты, Настя, во мне нажила во веки веков!

И Настя улыбнулась, оглянулась на Артемия Богдановича:

— Чай, принесли с собой чего-нибудь? А то ведь я не заготовила, не ждала таких гостей.

— А как же, как же, — колыхнулся Артемий Богданович. — Костя! Там в сено сунута, вынь поди!

Костя появился в нерешительности и вышел. Вернулся хмурый, пряча глаза, поставил на стол поллитровку.

12

С Кенкой даже не успели расписаться, а о свадьбе даже и разговоров не было.

Артемий Богданович сам взялся за дело, решил устроить парад.

В троицын день, по старой памяти, гуляли все — и верующие старухи, и неверующая молодежь. На этот счет Артемий Богданович признался: «Бога легче выкорчевать, чем праздник». И потому он созвал правление, посоветался, выпустил приказ:

«Во имя ликвидации религиозных предрассудков правление колхоза «Богатырь» постановило:

1) отменить праздник святой троицы;

2) вместо него праздновать каждый год свой социалистический, колхозный праздник — «Встреча лета»;

3) в этом году во время праздника «Встреча лета» широко отгулять колхозную свадьбу К. И. Неснапова и лучшей нашей свиначки А. С. Сыроежкиной;

4) на проведение свадьбы правление колхоза выделяет пятьсот рублей;

5) свадьба будет проходить на берегу реки Курчавки возле бывшей Редькинской мельницы, в случае плохой погоды — в сельском клубе;

6) на свадьбу приглашаются все члены колхоза «Богатырь».

Но и это не все. Артемий Богданович всегда считал: «Мало сделать похвальное дело — нужно добиться, чтоб за него похвалили». О колхозной свадьбе должен шуметь весь район и знать вся область.

Артемий Богданович скупил в магазине сельпо залежавшиеся пачки чертежной бумаги и с ними поехал в райком, беседа была недолгой, после чего в районной типографии раздался телефонный звонок:

— Тут к вам пойдет председатель колхоза «Богатырь», посодействуйте.

И Артемий Богданович не заставил себя ждать:

— Великая просьба — отнечатайте покрасивее.

Выложил на стол пачки чертежной бумаги, преподнес написанный своею рукою текст:

«Уважаемый товарищ 2 июня, сего года, в селе Верхнее Кошелево Загарьевского района колхоз «Богатырь» выдает замуж знатную свинарку Анастасию Степановну Сыроегину за председателя сельсовета Константина Ивановича Неспанова. От лица молодых и от лица всего колхоза просим Вас, дорогой товарищ, быть желанным гостем на нашей колхозной свадьбе.

Начало в три часа дня».

Великая просьба... Как тут откажешь.

Приглашения были разосланы в область: секретарю обкома по сельскому хозяйству, председателю облисполкома, главному редактору областной газеты, начальнику сельхозснабжения... Посланы они были и в район: опять же первому секретарю Пухпачеву, секретарю по пропаганде Кучипу, председателю райисполкома Гаврилову, директору районного отделения госбанка Сивцову (нужный человек), председателю райпотребсоюза Тужикову (не менее нужный) и еще кой-кому по расчетам Артемия Богдановича.

Из района — сомнений не было — придут, а из области — за двести километров, на свадьбу — ой, вряд ли. Но Артемий Богданович и не рассчитывал на высоких гостей из области. Важно, что там прочитают приглашение, личный раз узнают, что в Загарьевском районе существует

колхоз «Богатырь», который, по всему виду, живет на широкую ногу, дружно справляет свадьбы знатных людей. Артемий Богданович не без умысла поставил перед именем Насти слово «знатная».

Приглашения были разосланы, а Артемий Богданович развивал бурную деятельность, брал за бока приглашенного на свадьбу председателя райпотребсоюза Тужикова, закупал у него селедку — бочками, постное масло — ведрами, водку, красное вино, шампанское — ящиками. А в деревне Степаковская споровистая бабка Лифиса варила хмельную бражку и на меду и на солоде.

По всему колхозу из деревни в деревню шли возбужденные рассказы о приготовлениях, все ждали веселый день. Два гармониста, Павел Клепшев и Серега Рюхин, один из села, другой из деревни Кулички, вечные соперники — не известно, кто из них мастеровитей в игре, — были освобождены от работ «для ренетичий» со строгим наказом, чтоб не ударили в грязь лицом.

Настя шила себе белое подвенечное платье. Костя на правах жениха приходил к ней каждый день, сидел на краешке лавки, напряженно вытянувшийся, с густым торчащим ежиком, который так и хотелось пригладить ладонью, спросить: «Кто тебя обидел, лапушка?» Он молчал, вздыхал, иногда ронял:

— Брошу свою должность, пойду в трактористы или в животноводы.

— Это почему?

— Бесперспективная у меня работа. Может, там смогу показать себя. Нет, бесперспективная.

— Зато чистая. В животноводах-то, гляди, ручки навозом испачкаешь.

— Навозом испугала. Я, может, за светлое будущее жизнь готов отдать.

И торчит мальчишеский непокорный ежик, под чистым лбом обиженно зеленеют глаза, и Настя со зрелой бабьей жалостью думала: «Право, не на три года моложе, на все тринадцать, с кем судьба сводит — желторотенький».

И вот он — день.

На небе ни облачка, засасывает синий воздух колом взмывающих стрижей. Река Курчавка сквозь темную воду червонится камешковым дном. Березки на берегах задум-

чиво перебирают не утеравшей еще весенней яркости листвой — сочные, песенные березки тропицы дня.

На зеленом берегу наспех сколочены длинные тесовые столы буквой «П», в челе — место для молодых и для начальства. Здесь стол покрыт белыми простынями, на остальных простыней не хватило. Вокруг стола хлопочут жипки-общественницы, уставляют закуску: холодное мясо ломтями — свинина, баранина, говядина; райпотребсоюзовская, крупно нарубленная селедка с вареной картошкой; квашеная капуста, щедро политая постным маслом; на противнях горы холодца, размякающего от жары; огурцы прошлогоднего посола; бордовые винегреты под тем же райпотребсоюзовским постным маслом. Меж всем этим убранством — ясные бутылки столичной, сумрачно нарядные — шампанского. Ближе к молодым в стеклянных графинах, какие обычно украшают столы президиума во время заседаний, — мутно-янтарная бражка, налитая по самые пробки. Подальше от молодых — та же бражка, но только в разномастных эмалированных чайниках.

Народу на берегу что пчел на летке перед роением — топчутся, мнут траву, сходятся кучками, степенно беседуют о погоде, о яровых, о том, что неплохо бы дождейчик, нет, не сегодня — бсже упаси! — как-нибудь на днях. Все в костюмах, в чистых рубахах, кой на ком пучится шляпа, кой-кого не сразу распознает и сосед, влажный речной запах нет-нет и перебьет густая волна нафталина. Девушки ходят в цветистых платьях, при часах на заплатах, каждая держит в кулаке чистый посовой платочек. Дед Исай мученически морщится — жмут ни разу не надеванные ботинки. Все стараются углубиться в беседу, чтобы не глядеть зря на стол — неприлично выказывать нетерпение.

Наконец гуляющей походкой подошли гости из района: невысокий, коротко стриженный Пухначев, рослый, начавший полнеть Кучин, осанистый Тужиков из райпотребсоюза, тихий, в очках директор из банка... Подошли, растворились среди масс, примкнули к разговорам о яровых.

А молодых нет. А уже четвертый час и солнце клонится вниз, и кой-кто стягивает с себя шерстяные праздничные пиджаки. Молодых нет, не видать и Артемия Богдановича.

И туг раздался крик:

— Б-бе-ре-егпсь!

Храпящая тройка, пританцовывая от нетерпения, пес-

ла бричку, за кучера, заваливаясь на спину, багровея лицом,— Артемий Богданович.

— Бе-ере-егись! Люди добрые, дорогу молодым!

Ветер играет белой накидкой невесты, жених в черном костюме, как скворец, задрал вверх подбородок — душит тугой галстук.

И сразу берег беспокойно зашевелился, одни расступались перед конями, теснили других, эти другие поднапирали, чтоб поглазеть поближе,— толкотня, смех, выкрики:

— Богданыч-то, словно Илья Пророк.

— Вместо бороды бы веник приклеить.

— Жаль, бубенцов нет, по-старому-то с бубенцами.

— Вывелись бубенцы...

— Люди добрые! Дорогу!

И визгливые бабы голоса:

— Гости дорогие! К столу просим! Гости дорогие! Пожалте к столу! Не обессудьте -- чем богаты, тем и рады!..

Упрашивать никого не пришлось, хлынули, приступом беря скамьи, потирая руки. Оказывается, как ни длинны столы, а гостей больше, чем нужно. Тесно сдвигались, особенно охотно парни к девкам, смех, советы:

— Прижми-ко Нюрку — сок потечет.

— И так стараюсь.

— Отцепись, банный лист! Васпляя крикну!

— Твой Василий, глянь, на Дашке сидит, ножки свесил.

Какая-то компания парней развалилась в стороне, развесив по сучьям пиджаки.

— Механизаторы, сюда давай! Дед Исай, ты когда-то прицепщиком был!

— У него теперь своя механизма на четырех ногах.

— Нет уж, браточки, я и здесь ладно угнезвился.

Тощая, костистая спина деда Исай — между двух пухлых бабьих спин.

— Тут меня греют.

Во время этой суматохи появились еще два гостя, их заметили только тогда, когда один из них начал выплывать перед молодыми, целиться из фотоаппарата.

— Кто такие?

Оказывается — область не забыла, из газеты прислали, чтоб описать, сфотографировать,— знай все, как гуляют в колхозе «Богатырь»!

Костя — с растерянно задраным подбородком, потный, в черном костюме. Настя — вся белая, горбится от страха,

от лютого смущения, кажется — вот-вот сползет под стол. И рядом мать, страдающая от беспокойно крутящегося на своем месте Артемия Богдановича. И почетные гости с невинными, чуть смущенными улыбочками...

У Насти на голове рюшечки, покрывало, заполненное речным воздухом, спадает на плечи. Невестин наряд Насти не очень-то идет, лицо из белого газа — круглое, широкое, с крутыми скулами, как деревянная чаша, и буйная плоть — плечи, груди — слишком решительно выпирает сквозь тонкую ткань. Настя чувствует взгляды, смущается до одеревенения, прячет под стол раздавленные, красные, заскорузлые от работы руки.

Бригадир пры за столом и правленческий актив, исполняя волю Артемия Богдановича, шепчут направо и налево:

— Нередай-ко, чтоб тут особо не паливались. Как бы при гостях-то какой конфуз не вышел. Особо Егорке Митюхину накажите, он же дурной, когда хлебнет... Вот гости уедут, бражка останется, вечером возьмем свое...

И всяк, кто бы ни получил такое наставление, понимающе кивал:

— Само собой, раз зазвали — держи марку...

Но сильнее всяких уговоров трезвило начало пира.

Первым поднялся со стопкой в руке Артемий Богданович, ему по обязанности положено произнести вступительную речь о том, что колхоз идет в гору — святая правда, давно ли получали триста граммов на трудодень, — что лучших своих людей колхоз умеет ценить, что Настя Сыроегипа — прощенья просим за оговорочку, уже Неспанова, — была ничем, а стала всем, что такие, как Настя, — хозяйева жизни, что спасибо дорогим гостям, что приехали... Артемий Богданович говорил до тех пор, пока не занемела рука, державшая стопку, и только тогда провозгласил:

— За здоровье молодых!

Поднялся первый секретарь райкома Пухначев, в жизни он был прост, скор на слово, но тут случай особый, быстрота и простота неуместны. Он тоже долго говорил, держа стопку, что растут кадры, что поднимается экономический и культурный уровень, что вот вам наглядный пример — знатная свинарка...

Второй секретарь по пропаганде Кучин долго увязывал свадьбу Насти с международным положением, с посягательствами империалистов...

Однако дальше пошло быстрее, так как Тужпков, председатель райпотребсоюза, речей гладко говорить не умел:

колупнул международное положение — спутался, завязал было речь о светлом будущем — и тут спутался, махнул рукой и рывкнул:

— Горька-а!!

И столы охотно подхватили:

— Го-орь-ка-а!!

Костя, путаясь в невестинной газовой накидке, послушно потянулся к Насте, клюнул носом в щеку.

— Э-що горь-ка-а!!

Снова клюнул.

Тут кончилась организованность, начался разброд, чокались кто с кем хотел:

— Эй, кум, будь здоров!

— Пашка, едрена-матрена! Забыл? Дотянись!

Пробовали говорить речи в честь гостей, но не получилось, хотя за их здоровье охотно пили.

Грянули дружно две сыгравшиеся гармошки, молодежь зашевелилась, полезла танцевать, но танцы сбил шюфер Женька Кручинин со своей Глашкой. Женька выскочил и начал выкаблучивать — мелькали начищенные голенища, летали ладони, моталась разлохмаченная голова, с разгону врался в землю перед Глашкой:

Эх, хвать да похвать —

Я в прямом расстройстве!

Надоть бы свиначку сватать —

Ту, что попородистей!

Глашка, чернявая, узкобедрая — сама в невесты годна, хотя и двое детей, — каменея в бровях, вихляя плечиками, плыла, потрясая скомканным платочком в руке:

Ой, мил соколок,

Не держу за локоток:

Приживи свиначке

Свиночек три парочки...

А их, припадая на колено, фотографировал репортер из областной газеты.

— Товарищ! Граждане! Упустили!! — надрывался Артемий Богданович. — Товарищи! Выпить забыли!

— Не забыли — пьем!

— За здоровье забыли выпить! За мать Насти! За ту, которая родила нам, которая для нас вырастила...

— Ура-а Анне Егоровне!

— Ур-ра-а!!

Для всех неожиданно вынырнула пригнупшаяся к столу старушка. Фотограф из газеты сломя голову кинулся

к пей... Вынырнула и снова капула, снова куролесил Женька, сверкая начищенными голенищами.

До самого вечера было шумно и весело над рекой Курчавкой, но праздник не дорос до того горячего уровня, когда враги нежно мирятся, а друзья ссорятся. Только деда Исаю вывели из-за стола — слишком ослаб, — уложили под ближайший куст, сняли тесные ботинки, чтоб не жали. Да председатель райпотребсоюза Тужиков вдруг вспомнил, что он несчастлив в жизни, и пошел было к реке топиться, но и его отговорили вовремя.

Настя была трезва, сидела за столом, как связанная, а Костя обнимал за плечи Артемия Богдановича, втолковывал ему:

— Первый человек у нас — она! — и указывал на Настю. — Второй — ты. А третий — я.

Артемий Богданович, красный, масленистый, довольный всем, ухмылялся:

— Может быть, может быть... Я ведь, сам знаешь, в гору-то не ползу, могу и без номера походить.

— Нет, ты второй человек. Признаю! Она — первая! А третий — я!

На берегу реки вечер кончился, начинался по деревням. Далеко за полночь надрывались гармонки во славу Насти в девичестве Сыроегиной, ныне Неспановой. Далеко за полночь кинел праздник — и враги мирились, и друзья ссорились.

14

Ранним утром бежала сломя голову на свинарник, затапливала печь под котлом и, пока котел закипал, опять сломя голову мчалась домой, чтоб успеть накормить Костю, проводить его на работу.

А дома ее встречал музыкой пущенный на полную силу приемник, и Костя, уставясь в зеркало, гримасничая, брился, и мать словно бы ожила, воевала с ухватами, тащила к столу топленое молоко.

Костя, робкий, нескладный, какой-то ломкий, и Настя рядом с ним чувствовала себя грубой, сильной, с каждым днем все ощутимей материнская ответственность за него и, когда уходил из дому, почему-то боялась — а не случится ли там на стороне с ним беды, хотя знала: какая беда, занимается, как и занимался, сельсоветовскими делами. Мало-помалу приходила вера, что не случайно к пей потя-

пулся Костя, что без нее ему трудно, а значит — прочно, значит — надолго, не упорхнет.

До сих пор бабью жалостливость тратила на какого-нибудь полудохлого поросенка, больше некуда, кто ее примет, эту неизбывную жалостливость, кому пужна? Сейчас ее принимает, по почам, косноязыча от удивления, шепчет:

— Жару в тебе, что в печи, право.

И Настя бешено крутилась между домом и свиарником — ни минуты свободной, некогда оглянуться по сторонам. Вот это жизнь! Даже загадай рашине — не смогла бы представить лучше.

А давно уже газеты из номера в номер печатали статьи и заметки под общей шапкой: «Навстречу областному совещанию животноводов!» Давно уже в колхозной конторе подбивали итоги: за такой-то квартал падоено, выращено, продано... И где-то в незнакомом Насте Густоборовском районе жила соперница, тоже свиарка, тоже знатная, знатнее Насти, потому что гремела по области давно, потому что и теперь приплод у нее больше, потому что в свое время была награждена орденом, — Ольга Карпова! С полгода назад Настя и думать не думала с ней сравняться — высока, рукой не достанешь. А теперь Артемий Богданович сказал без обиняков: «Вызывай ее на соревнование, не робей, воробей!» Помог составить Насте письмо.

И, как всегда, Артемий Богданович не остановился на полдороге: «Мало сделать похвальное дело — надо добиться, чтоб за него похвалили...» И он добился, что Настино письмо напечатали сразу в трех газетах: у себя в Загарье, в незнакомом Густоборье и в области.

— И наши утки по верхам летают. — Артемий Богданович потирал руки.

Он поднимал Настю, а сам-то говорил: «Умный в гору не пойдет...» И Настя смутно понимала — хитер, удобно для него посылать в гору кого-то другого, попробуй только попрекнуть: с молоком недовыполнил, с зерном заминка — ап нет, обождите, мы другим славы, все разом не охватишь. Под горой сиди, а на горе-то свой флажок поставь, без этого никак нельзя.

Этот человек все сделал для Насти — вознес, прославил, даже мужа нашел. Должна бы отцом родным величать, благодетелем, но почему-то боялась Артемия Богдановича. Как ни растет вверх Настя, а над ним не вырастет, попробуй только поперек пойти — мягопко эдак

ссадит, и славу сдует, и знатность слетит... Ох, Артемий Богданович, Артемий Богданович, благодетель!

Тем свирепей Настя орудовала на свиначнике. Что она без него? Простая баба, каких много. Сорвись, Костя потерпит, потерпит, да и возьмется за шапку. Он-то с образованием — книжки читает, статьи пишет, политические моменты в докладах освещает...

Прошел летний опорос, он был куда обильнее весеннего. Рябина родила одиннадцать поросят, даже неприметная раньше Канитель удивила — девятерых, все крепкие, здоровые, любо-дорого глядеть. Тут-то бы и спать грех с души, покрыть старые прорехи, но уж время очень неудачное — перед совещанием-то животноводов, когда пришлось вызвать на соревнование знатную Ольгу Карпову. У всех свиначок — удача, у тебя одной провал, на белом черное сразу заметят, каждый пальцем ткнет, позлорадствует — эге, мол, оплошечка у знатной. Нет уж, назвалась груздем — полезай в кузов. У Насти до областного рекорда не хватало несколько голов. Всего несколько, чтоб перешагнуть Ольгу Карпову. Все ждут этого, цуце всех ждет Артемий Богданович. Всего несколько, чтоб «зная колхоза» стало «знаменем» всей области. И эти головы выросли. Опасно, с огнем, Настя, играешь.

По первой зорьке заспанная, едва успевшая ополоснуть лицо, мчалась к свиначнику. Со свиначника — июньской домой. Дома включенный приемник играл бодрые утренние марши. Костя-аккуратист брился за столом, перебросив через плечо чистое полотенце.

С огнем играешь, — тревожило. «Навстречу совещанию!» — газетные заголовки. На это совещание Настью собираются проводить с почетом — значит, она кому-то должна сдать с рук на руки свой свиначник, со всей живностью. С рук на руки той же Павле, и тут — мало ли что может случиться?

Павла была всего на год старше Насти, крупноростная, плоскогрудая, из тех, кого называют — неладно скроена, да крепко сшита, лицо грубое, голос с сипотцой, замужем не столь давно, а успела обложиться детишками. В свое время ее сватали в свиначки — отказалась. Работа хлопотная, с утра до вечера торчи на ферме, порой и почамы нет покою, забудь дом, а заработаешь или нет — это еще бабка надвое гадала. А за мужней спиной Павлу нужда не особо подпирала.

Она одно время считала себя удачливей Насти — без отца выросла, мать больна, суженый да гаданый на сторо-

не где-то застрял, как не пожалеть. И жалела, и за Кешку сватала. Но теперь-то жалеть нет причин, теперь сама Павла возле Насти крохи подбирает. Настю-то частенько в район вызывают, иногда целыми днями приходится сидеть по совещаниям, нельзя свиней без присмотра оставлять. Павле за случайный догляд приплачивают, но, конечно, не густо, обнов с этого не нашьешь и ребятишек не накормишь, работой в поле, как все.

Одно дело оставить на Павлу свиноводку на день, на вечер, другое — на неделю, на две. За неделю она так освоится, так приглядится, что откроет — под крышей-то не одни живые души живут, но и мертвые. А уж коль откроет, в секрете держать не станет, не-ет, Павла — не святая, не утерпит ковырнуть знатную соседку.

Пришел с работы Костя, жесткий ежик торчит внушительно, на лице выражение со строжинкой: или только что председательствовал на собрании и еще не остыл, или принес какие-то новости — портрет Насти в газете напечатали, правление премию выделить собирается...

— Командируют тебя.

— Куда?

— Хватит сидеть на месте, такой человек должен делиться с другими опытом.

— Значит, уезжать?

— А ты хочешь быть в командировке да дома на печке лежать?

— Никуда я не поеду.

— Поедешь. Решение бюро райкома партии. Сперва едешь в Густоборовский район для обмена опытом с Ольгой Карповой. Раз! Блиновский район просит побывать у них. Два! Пу, наверно, еще кой-куда завернуть придется...

— На кого я брошу свиноводку? Запустят! Изведут! Никуда не поеду!

— Найдем людей, чтоб присмотрели. В десять глаз, в десять рук славу колхоза станем беречь.

Что говорить с Костей — надут, как индюк, горд, что жена будет разъезжать по другим районам, учить людей уму-разуму.

Легла спать в тревоге. «В десять глаз, в десять рук...» Это страшнее, чем на одну Павлу довериться. Как начнут заглядывать да вникать кому только не лень, — беды не миновать. А одна Павла, что ж... О Павле, пожалуй, напрасно тревожилась. Павла и сейчас, считай, все стадо

знает, каждого сосунка по рылу угадает, как соседского парнишку в лицо. Стадо знает, да не дано знать, что в книгах про него записано. А книги эти бухгалтер Сидор Матвейч Петряев держит в конторе, в шкафу под замком. Смешно даже думать, что Павле в голову ударит в эти книги залезть. А ежели б и ударило, то все равно не столь уж грамотна, чтоб понять. Правда, Сидор Матвейч, хоть почью раскатай, любую цифру назовет. Но опять пужно догадаться спросить его. До сих пор это Павле на ум не приходило. Вот ежели «в десять глаз, в десять рук...».

Утром после кормежки Настя была уже у Артемия Богдановича.

— Ладно, уеду, раз уж так нужно,— согласилась она.— Хоть, что говорить, боюсь бросать свиней. Павла — баба верная, по все ж не свои руки.

— Приглядим за ней. Не оставим без внимания,— пообещал Артемий Богданович.

Этого-то от него и ждала Настя.

— Нет уж, просить хочу, чтоб не совались без нужды. Разве не наказание — сам посуди, когда работаешь, а за тобой десять глаз в спину глядят, десять рук под локоть толкают. Слышь, Богданыч, не вели путаться никому. Я сама с Павлой уговорюсь, сама с нее и спрошу, когда приеду.

— Ну, ну, накажу. Никто не сунется.

— П платить Павле будете, как мне. Слышишь?

— Заплатим, не волнуйся.

— И корм пусть возят по-прежнему, как возили. Знаю этого Михея-ключника — кому-то готов скатерку постелить, а кому-то рогожку...

В тот же день она привела Павлу на свинарник:

— Старайся, любая, никого не пускай к себе, греха не оберешься с распорядителями-то. Гони каждого в шею, пусть не указывают.

— Окорочу,— успокоила Павла.— Это у меня быстро.

Кешка, как всегда, терся о голенища сапог, ждал, когда Настя протянет руку, поскребет за ухом, повизгивал просяще. И Настя склонилась:

— Не надолго, чадушко, расстаемся. Не скучай, любый... Павла, ты не жалей ласки на него. Чего уж скрывать, он у меня заласканный.

Павла хохотнула:

— Под подолом держать буду.

— И смотри, Павла... Чуть что — дай знать Артемию Богдановичу, он сразу меня телеграммой вызовет.

— Авось сойдет и без телеграммы. Детишек на соседские руки оставляют, не боятся, а тут — поросята. Эка...

Кенка терся о сапоги, не отходил ни на шаг. А Настя с тоской думала, что рано или поздно придется оторвать от себя этого Кенку, ему, как и всем свиньям, конец приписан один — под нож. «Господи! Сердце теснит, словно расстаешься с родней кровной, а не со свиньями...»

Светлое платье в голубых мелких цветочках, с отделкой по вороту, темный жакет со вздернутыми плечиками, через руку — песочного цвета легкое пальто, ткань «метро», подкладка в глянec; на ногах туфли на высоком каблуке — жмут проклятые, авось разносятся. Настя садилась в поезд.

Артеми́й Богданович не поленился, сам провожал до станции вместе с Костей. Махали руками в окно, пока вагон не тронулся. А Костя — эх, дурачок! — лицо расстроенное, а перед поездом все искоса поглядывал на Настю, сказал дважды:

— Ну и шикарная ты женщина.

Артеми́й Богданович подхмыкивал:

— Гляди, еще кого новенького со стороны привезет. Очень просто.

— Нет, она верный человек.

Эх, дурачок родной...

15

Попала не в заморские страны — в другой район. А все районы похожи: такие же желтеющие поля, такие же обветренные крыши деревень, такие же, как в Загарье, дороги с выбоинами и ухабами, с ветхими мостиками, держащимися на честном слове. Все знакомо, вроде бы печему удивляться, а каждый час одаривал Настю новизной.

Едва сошла с поезда, как подскочил человек:

— Простите, вы не Анастасия ли Степановна будете?

— Она самая.

— Пожалуйста, вас ждет машина.

Настя раз пять в жизни ездила в гости к двоюродной сестре, вышедшей замуж на стороне за начальника лесопункта, случалось-таки сходить с поезда и на своей стан-

ции, и на чужих, и каждый раз забота — как не упустить автобус, как уломать шофера-левака... А тут: «Пожалуйста, машина ждет...»

А от машины спешит женщина, морщит в улыбке и без того сморщенное бабье лицо. Вот так-так, выехала встречать Настю сама Ольга Карпова! Первая тянет руку, вроде чуточку смущается:

— Здравствуйте. Как доехали?

Знаменитая Карпова, невысока, жилиста, тяжелые в мослах руки, спеченное лицо с доброй, несмелой улыбочкой. Настя по сравнению с ней в своем нарядном платье, в туфлях на высоком каблуке — артистка из столицы, меньше. Потому, видать, и смущена Карпова.

Все ново, даже помер в районном Доме колхозника. Никогда не останавливалась в номерах — уезжая из дома, всегда почевала у родных или знакомых. А тут отдельная чистая комнатуха с картиной трех богатырей на стене и с графином воды на белой салфеточке.

Все ново, утром вежливый стук в дверь:

— Разрешите? Я за вами.

Парнишка-шофер на Женьку Кручинина похож — глаза с пахалинкой, так и ждешь, что пропоет:

Девка с грудями по пуду
Достанется кому?

Где там, другой мир, другие люди...

Знаменитая Ольга Карпова, знаменитый укрупненный колхоз имени XX партсъезда, знаменитый председатель Чуев Афанасий Нарфеныч. Этот знаменитый председатель высок, тощ, басист, над крупным посом — дремучие брови, прячущие глаза.

— Знакомьтесь. Критикуйте.— Ладонь сунул, широко, словно лопата.

Ох, как хотелось посмотреть да раскусить, что из себя представляет Ольга Карпова. С виду куда как проста, баба бабой, чуточку смахивает на Настину мать, когда та была помоложе. А на самом деле так ли проста эта прославленная Ольга Карпова? Что-то подозрительно — много лет обиходит громадное стадо, получает небывалые приплоды. Настя ее перескочила, но как? Своей-то победе Настя цену знает. Но Ольга обещает и ее побить. Что у нее вместо пары рук — пять, десять? Настя надрывается, с темна до темна пропадает на свишарнике, а показатели хороши, что сумела обратить мертвые души, они-то ухода не требуют. Ох, не терпится... Может, все кругом

пыль пускают, обычное это дело? Тогда все ясно — без хитрости не проживешь. И не пытайся, Ольга Карпова, навести тень па плетень, мы — не начальство, мы — дошлые.

«Знакомьтесь. Критикуйте»... Карпова привела Настю в свой свинарник. И Настя оробела.

Настя больше выдывала на своем веку свинарники — смрад, теснота, темнота, в потолке продушины, на полу болото. Потому ей и свой свинарник всегда правился: цементная дорожка, поработай рычагом — вода льется в котел, а решетки даже с затеями, с церковной ограды сняты... Здесь котла нет, есть какие-то запарники — ручки никелированные, что шары над кроватью, бока выкрашены в белую краску, что-то внутри пыхтит, клоочет, а ни дыму, ни пару, ни запаху. Прямо к запарнику — лепта, транспортер. Нажал на рычажок — корм теплый порцией на лепту, и эта лента по лотку с бортиками везет корм к клеткам каждой свинье отмерянное — ешь, наживай жирок. Не таскайся взад-вперед с грязными ведрами. А клетки чистить? Сколько времени, сколько труда уходит, а не успеваешь — свиньи в навозе валяются. Тут взял резиновый шланг, из шланга струей навоз в лоток, той же струей по лотку прогонишь к колодцу. Смыл, закрыл крышкой колодец — чистота, лопат даже нет. И просторно, и светло, и все в белое выкрашено — больница. Полдела в таком свинарнике работать, тут и лежебока в знатные выскочит.

«Знакомьтесь. Критикуйте»... Послалли опытом делиться. Что ж, могла бы поделиться опытом...

После того как Настя выбросила перед Артемием Богдановичем дохлых поросят, после того как услышала: «Вся и заковырка в жизни, что против силы надо идти... Против силы умом...» Умом да хитростью. Настя хитрила и не угрызалась совестью — не зря же говорят: простота хуже воровства. Одного боялась — ее хитрость не мудрена, могут и раскусить...

И вот. «Знакомьтесь. Критикуйте»... Как порядочной. Никому невдомек, что случайно попала в святые угодницы. В нарядном платье, в туфлях на высоких каблуках... Да если б ей, Пасте, самой с такой привелось столкнуться — плюнула бы вслед. Нарядное платье — обман, голос вальяжный — обман, даже мужа в дом обманом заручила. Вся жизнь — обман, все счастье на обмане держится. Надолго ль такая жизнь? Надежно ль такое счастье? От самой к себе уважения нет: не настоящая ты, Настя, фальшивый камушек в дорогой сережке.

«Знакомьтесь. Критикуйте»... Настя ходила по просторному свиначнику вместе с Ольгой Карповой и ненавидела Ольгу. Простая баба, как и она, еще более дремучая, а повезло. Нет нужды ей обманывать да изворачиваться при такой справе. Разве Настя хочет обманывать, почему у нее счастье, что жеребец в сапу — на вид здоров, шея дугой, а внутри-то гниль, пристрелить не жалко. Почему? Кто в том виноват? Настя ненавидела Ольгу.

Вечером было собрание всех животноводов колхоза имени XX партсъезда, Насте пришлось выступить, попросили из-за красного стола пройти к трибуне, похлопали в ладоши. «Критикуйте». И Настя смекнула — умней будет не критиковать, начала расхваливать и Ольгу, и ее свиначник, и ее породистое стадо:

— Великая наука для меня лично, товарищи. Много хорошего у вас посмотрелась. Прямо скажу: далеко нам до вас... Спасибо вам всем...

И все сидели довольные, и Ольга Карпова румянилась спеченными морщинками, и сам Афанасий Парфенович Чуев, мужик суровый и, видать, доплый, из тех, кто в землю на аршин узреть может, сидел именниником. Лесть душу вынимает, кто перед ней устоит. Это Настя поняла тутром, с усердием хвалила Ольгу Карпову.

Ее проводили с почетом.

16

Она проехала по нескольким районам, кружным путем вернулась на родину.

У поезда ее встретил Костя. Увидел, вздрогнул и странно присмирел, поглядывая исподлобья.

— Ты чего? Случилось что? — спросила Настя.

— Да нет, ничего... Ты какая-то... Не та...

То же платье, та же жакетка, пальто через руку, но круглое лицо стало угловатым, сильнее выпирают скулы, от глаз заметней морщинки и сами глаза беспокойные, бегающие, в складках полных губ — горчинка. Не та...

Костя же ничуть не изменился — густой щетинистый бобрник над чистым лбом, возбужденно краснеют большие уши, в зеленых глазах растерянность и ожидание.

Не та... Настя это и сама чувствовала. Что ни день — то новая ступенька вверх, что ни день — то на шаг выше, а

когда-то будет и конец... Притворялась спокойной, уверенной, а по ночам не могла уснуть. Никогда не бывало, чтоб не спала по ночам, обычно едва положит голову на подушку — как кричат уже утренние петухи, пора вставать.

А Костя разве поймет. Прост слишком, и как только такой сидит в председателях сельсовета, да и что — за него все дела устранивает Артемий Богданович.

Обняла Костю, прижалась к его щеке скулой, сорвалась, провыла по-бабын:

— Золотко ты мое непутевое!.. Ой, здравствуй, бедолажный! Как ты без меня?

У Кости повлажнели глаза — гляди ж ты, любит, гляди ж ты, рад, ждал небось.

— Едем скорейча. Домой хочу.

— Домой сразу нельзя. Просили заехать в район. Там актив собрали — выступишь, отчитаешься.

— О-ох!

В загоне перед свиначником лежали разморенные на солнце свиньи. И одна вдруг забилась, встала, кипулась навстречу, тугая, розовая, налитая пружинящей силой. Кешка чуть не сбил с ног Настю. Задирая рыло, повизгивая, поплясал вокруг и вдруг припал к юбке, притих, устал и сладко смежил веки.

У Насти даже слезы навернулись на глаза:

— Гляди ты, признал. Голубь мой сизый, кровинушка моя. Ох, ласковый, ох, дурачок непутевый...

Скребла жесткую, шелушащуюся кожу. Кешка млея.

И Павла шумно высморкалась в конец платка:

— Пропади ты пропадом! Вот уж любовь зла... Ко мне небось так не подкатывал.

Налило солнце, знойный, застывший воздух был густо пропитан знакомыми запахами — перебродившим, пьяным, навоза, острым, плотским от распаренных свинных туш. Над полями, над упряманной в ивняк речкой, над плавающимися в зное лесами и над безлюдной деревней — дремотный покой. В привычном Настином мире все по-старому, нет перемен.

Ничего Настя теперь так не хотела, как вставать рано по утрам, шагать короткую дорогу от избы к свиначнику, шагать лицом к ясной утренней заре, засучив рукава приниматься за работу, с любовью, с лаской обхаживать скотину, зная, что ни один из дней не пропадает даром, каждый приносит пользу — сало, мясо, деньги колхозу, зная,

что у тебя за спиной твой дом, семья, ждут детишки (рано ли, поздно они появятся), у этих детишек судьба краше, чем у тебя,— не узнают лепешек из куглины и крапивы, тяжелых, как камни, черных, как сопревший навоз, и отца им не придется провожать на войну, и не услышат они отцовское с горьким наигрышем: «Иль грудь в крестах, иль голова в кустах...» И будут в семье маленькие праздники, маленькие радости, такие, как сегодня...

А сегодня Костя возится с новым мотоциклом. Вчера в районе купила Настя. Мотоцикл с коляской, такую вещь не сразу достанешь, если и появляются в магазинах, то парасхват. Выручил Тужиков: он помнил хлеб, соль да крепкую бражку на свадьбе, едва Настя проговорилась: «Хотелось бы...» — как по щучьему велению... Прими, Костя, в подарок машину. Тоже, поди, мечтал...

Никакой другой жизни не хочет Настя, только такую — без шума, без славы, в мире, в радостях, с ломотой в костях к вечеру, с крепким сном, с чистой совестью. И пачать бы эту жизнь сейчас не откладывая, по пет...

К вечеру снова придется надеть праздничное платье и ехать в другой конец района, в колхоз имени Второй пятилетки, там запланировано выступление. Ей, знатной свинарке, некогда заниматься сейчас своими свиньями. Навла, о которой не пишут в газетах, кого не посылают в командировки, не встречают с почестями, должна кормить и холить ее свиней. А ей, Насте, пужно славить свои животноводческие подвиги. И скоро начнется долгожданное совещание в области...

А пока оттолкни жмущегося к тебе Кешку, спешит в село — там тебя ждет Артемий Богданович, ему не терпится потолковать с глазу на глаз: что видела, что узнала, как принимали колхозного посла? Услышишь, ей есть что сказать.

Артемий Богданович при параде, потеет в темном костюме. Встречая, спял распаренным лицом, жал руку, похлопывал по плечу, придвигал стул, заглядывал в глаза. Но когда начался разговор, притих, посерьезнел, шевелил короткими пальцами на столе.

Настя рассказывала о механизированном свинарнике Ольги Карновой. Артемий Богданович не перебивал.

— Хоть не хопь,— говорила Настя,— а рано ли поздно придется стронть такой. А коли нет, то пошумим, побурлим, пыль в глаза пустим, а потом скиснем. На «ура»-

то долго не продержишься, Артемий Богданович. Они при механизации — хоть лопни от пуги — нас быстро обскачут. Вижу, считаешь да прикидываешь. А ты не прикидывай — дороговато стоит такой свиарник, узнавала, но за год, за два, ручаюсь, оправдает себя с лихвой...

Артемий Богданович не перебивал, слушал и соображал.

— А коль решаться, то надо репаться теперь, чтоб к весне, в крайнем случае к лету стояло новое помещение. Только тогда марку выдержим...

— К весне плъ к лету?.. — подал голос Артемий Богданович. — А что ты, Настя, скажешь, ежели я тебе этот свиарник спроворю к зиме, к самому началу?..

— Ежели б к зиме, то куда лучше. С таким-то свиарником я бы, пожалуй, снова на зимний опорос рискнула.

— А почему бы и нет. — Артемий Богданович оживился, начал жмуриться. — Мы, сама знаешь, наметили строить новый скотный, уже фундамент заложили. Тоже с водопроводом, с колодцами, с навозохранилищами внизу... По вот поставили не умно, скот на выпасы придется гонять через поля — значит, устраивай прогон специальный или посеи топчи. Не перекроить ли нам этот скотный в показательный свиарник, пока не поздно?

— И окупится быстрее. Свины-то у нас породистые, а коровы местные — корма на навоз переводят.

— И окупится... Добро. Покумекаем. Только тебе на работу-то ходить придется за семь километров. Как тут?

— Я дом свой перевезу поближе к свиарнику. Можете, чай?

— Как не поможем... Ладно, буду ставить вопрос на правлении.

«Буду ставить вопрос», а это почти значило — вопрос решен. Раз Артемий Богданович поставит, правление не возразит.

Областной театр драмы и комедии сияет огнями. Областной театр — здание с колоннами, ставленное еще в прошлом веке, с тех пор несколько раз перестраивавшееся. Архитекторы и строители сделали все возможное, чтобы человек здесь чувствовал себя празднично. Ковры на полах, искрящиеся люстры под потолком, мрамор стен, обширные зеркала...

И сейчас празднично в фойе, толкотня, суета, раскину-

ты пестрые лотки с книгами и брошюрами, в толпе мечутся как угорелые газетные репортеры. Празднично, но собрались не на праздник — па деловое совещание. Да и оснований для празднования нет.

Когда-то эти места на всю Россию славились заливными лугами, особой породой коров; на масле, мясе, кожах местные кунцы наживали миллионы. Одно время область повернули на зерно: стране нужен хлеб, распахивай, что можно. И заливные луга распахали. Потом спохватились, да поздно — луга заболотились, зарастали кустарником, породистые стада захирели, в колхозах появилась мелкая непривередливая скотинка, которая обходилась жестким сеном с лесных покосов. Но и эти лесные покосы год от году затягивало мелколесьем. Пора бить тревогу, — совещание собралось не для торжества, многие на нем получают крутые нагоняи.

Настя-то прибыла сюда не для нагоняев и проработки, нет, еще до начала совещания ее парасхват: «Просим зайти в областной отдел сельского хозяйства»... «Просим побывать на курсах зооветтехников»... В обкоме партии с пей разговаривал сам первый секретарь, корреспонденты газет, радио с утра дежурили у дверей номера гостиницы. И помер ей дали особый, с ванной, с телефоном, с солидным письменным столом и с видом из окна на центральную городскую площадь. Артемий Богданович жил в помере по соседству вместе с секретарем райкома Пухначевым. Артемий Богданович очень заботился о Насте, даже вместо нее принимал газетных репортеров, чтоб не надо-едали лишка.

А па совещании Настю выбрали в президиум. Шла через весь зал па сцену, а на нее смотрели: Неспанова-Сыроегина из Загарья, не шути.

Стол под красным сукном. Рядом с Настей бок о бок седой человек в очках, профессор, руководит кафедрой в институте, даже Настя — образования, что скрывать, не шибко, — даже она читала брошюрки по кормовым рационам, написанные этим профессором. И вот она рядом с ним за почетным столом. Из темного зала — сотни лиц, среди них где-то затерялся и Артемий Богданович, и секретарь их райкома Пухначев, и много других председателей колхозов, секретарей райкомов, все они там — ниже, Настя над всеми. И докладчик несколько раз назвал с уважением фамилию Насти. И когда объявили перерыв, все стали расходиться, на лесенке, ведущей со сцены, седой профессор вежливо придержал ее за локоть:

— Осторожно, не упадите.

А потом заговорил:

— Много о вас слышал. Рад познакомиться.

Они вместе вышли в фойе, под горящие люстры, а там на них набросились фоторепортеры:

— Одну минуточку! Всего минуточку! Не задержим!

А утром Артемий Богданович принес ей свежую газету:

— Союз науки с практикой, так сказать.

Под руку — две знаменитости.

А на следующий день ее попросили непременно выступить. «Нет, нет, никаких отговорок, без вашего выступления невозможно...»

И она пробиралась по сцене под ярким светом к трибуне, потная рука сжимала бумажку с написанной речью. И на нее смотрел из загадочной, страшной полутьмы многоголовый, многолицый, многоглазый зал. Не перед своим братом колхозником выступать, от страха подгибались коленки. Но выступила:

— Мы, животноводы колхоза «Богатырь» Загарьевского района, даем обязательство и впредь...

Ей аплодировали.

Настя почувствовала — она пужна, очень пужна. Ни Артемий Богданович, ни Пухначев, никто другой так не пужен, как она. Даже Ольга Карпова... Ольга примелькалась, ее давно все знают, повторять имя Ольги — значит, признаваться себе: никто из новых не выдвинулся, топчемся на месте. А тут новая, не так уж и плохи дела в области, выходит — растет новое, хорошее, обнадеживающее, вот доказательство.

«Мы животноводы колхоза «Богатырь» Загарьевского района, даем обязательство и впредь...»

Простая свинарка, которую недавно видели в газете, стоящая рука об руку с известным профессором. Союз науки с практикой — раз так, то дела наладятся в области.

До сих пор Настя со страхом и подозрением глядела на людей: а вдруг раскусят, что тогда? Пенастоящая, случайная, фальшивый камушек в сережке. И вот сейчас не умом, а нутром уловила — люди х о т я т верить в нее, людям это н у ж н о. И фальшивые камушки вставляют в оправу, когда нет под рукой настоящего. Великое дело поддержать бодрость, а все сидящие в зале нуждаются в бодрости. Нуждаются! Настя пужна! И уж Артемий Богданович из всех сил станет стараться, чтобы она не свалилась с высоты. Считала — одна, кругом враги. Нет же, не одна, а раз

так — ничего не страшно. Вот построят новый свинарник, такой, как у Ольги Карповой, еще, быть может, даже лучше. В нем-то Настя развернется, добьется больших приплодов, рано ли поздно покроет мертвые души, очистит совесть, переродится заново, не будет на свете честнее человека, чем Настя Песанова!

«Умный гору обойдет...» С такой высоты, на какую сейчас взобралась, разве страшны горы, даже самые крутые?

«Мы, животноводы колхоза «Богатырь» Загарьевского района, даем обязательство и впредь...»

Аплодисменты в ответ. Ей верят. Она и сама в себя верит — выдержит все обязательства, не подведет. Верит — все силы отдаст на пользу людям, от нее ждут этого!

И слезы на глазах, и благодарность к тем, кто в ней нуждается. Счастливые слезы.

18

Над поясом черных лесов, как всегда по утрам, сочится сквозь неплотные облака зыбкая зорька. Ее ловят темные оконца спящих изб. Настя по-прежнему встает раньше всех в деревне Утицы.

Все хорошо в меру — блины на масленой и пост за веру. Настя от торжеств, от заседаний устала, с охотой скинула туфли на высоких каблуках, влезла в резиновые сапоги, в потрепанный ватник.

Зыбкая зорька над лесом, протоптанная тропинка, печь под котлом, барабан картофелемойки...

Как всегда, стучат колеса телеги, голос деда Псая окликает:

— Эй, пустышница, жива аль нет?

Теперь Насте возьят корм какой попросит и сколько попросит, попробуй-ка отказать — зоб вырвет.

Свиньи под доглядом Навлы — все-таки не свои руки — поосунулись. Настя раскармливает, старается.

Любимец Кешка растет и пухнет, по-прежнему бойкий и ласковый. Он первым подает голос, когда Настя открывает дверь, будоражит весь свинарник, научился рылом выбивать задвижку, сам выскакивает из клетки, крутится под ногами, тычется, мешает.

А под селом на окраине полным ходом идет строительство нового, образцового свинарника. Погребные ямы для павозохранилища выложены кирпичом, возведены уже стены под крышу, кладутся стропила. Артемий Богданович

крутится — все дни в хлопотах, срывается то в райцентр, то в область, со всех концов ему звонят, телефон в конторе надывается. Подняты на ноги доставалы, такие, как Тужиков, — их в приятелях у Артемия Богдановича не один десяток. Не так-то просто найти водопроводные трубы, чугунные крышки для сточных колодцев, электромоторы, запарники. Но Артемий Богданович, как меч-кладенец, держит наготове громкое имя Насти, кто заупрямится, начнет крутить волокиту — того рубит сплеча:

— Для знатной свиначки возводим! Гордость нашей области! Стыдитесь!

И свиначник растет, как на дрожжах, — водопроводные трубы в земле, кабель проложен, начали класть стропила...

Похоже, с первыми морозами Насте спиматься с места, отбить поклон родной Утице, праздновать новоселье. Старую избу перенесут, подправят, расширят, крышу, верно, покроют железом, стены обожьют тесом... Но тут Настя — сторона, неудобно для своей корысти давить авторитетом, улаживает все с Артемием Богдановичем Костя.

Костя завел кожаный шлем с большими очками, по утрам на работу нешком не бегаёт — гоняет на мотоцикле. Каждое воскресенье возится с машиной, разбирает, собирает, смазывает, заводит. Грохочет и воняет мотор, а Костя слушает его, как музыку, удовлетворенно сообщает:

— Великое дело — двадцатый век. Сплошная техника.

В последнее время Костя говорит на басовых нотах, держится солидно, как и Артемий Богданович — заводит знакомства в райцентре. Он не выносит Женку Кручинина за то, что тот пустил по деревням частушку:

Эх, чистый верняк —
Свиночки с навозиком!
Получил от вас за так
Женку с паровозиком!

А кругом все шло своим чередом. Хлеба убрали рано, осень стояла погожая, чем дальше к зиме, тем суше, солпечней, золотистей. На полях по стерне индевела паутина. По вечерам над крышами деревень, над верхушками елей летели густые грачиные стаи...

В солпечный и ветреный полдень Настя нацепила на колья изгороди только что вымытые бидоны из-под обрата, поглядывала в поле, на дорогу — не затарахтит ли там мотоцикл Кости, время-то обеденное.

И не углядела, как из ложка вынырнул плотный муж-

чина, пошевеливая плечами, двинулся к свинарнику. По этой раскачке в плечах, по крутому наклону головы упала — он, Кешка! Наверно, от неожиданности чуть-чуть екнуло сердце, подобрала волосы под платок, повернулась, стала ждать.

— Здорово, Настя, — издалека, еще не подходя.

— Здравствуй.

Подошел, остановился, расставив тяжелые сапоги, морща лоб под козырьком кепки, покусывая золотым зубом травинку. Повытертый какой-то — кепочка блином, кожанка старая, лицо одубело, складки на щеках врезались глубже — чужая сторона не родная мать, в прошлый раз пофорсистей приезжал. По по-прежнему крижист, по-прежнему от него тянет медвежачьей силенкой, той, какой не хватает Косте.

— А я думал: высоко взлетела, тут законно и не признать.

— Где там высоко, все вот в свином навозе конаюсь.

Вдаться, вспомнил прощальные слова, хмыкнул невесело, промолчал.

— Надолго ль сюда? — спросила Настя.

— На ночку. Мимо ехал, как не заглянуть. Да и чего задерживаться, коль приглубить некому.

— Поищи, может, кто и согласится приглубить. И здесь, как всюду, свет не без добрых людей.

Снова хмыкнул с угрюминкой:

— Ты хоть вспоминала?

— Тебя? А как же. — Настя обернулась к распахнутым дверям свинарника, крикнула: — Эй, Кешка!

За дверями раздался шум, зазвенело порожнее ведро, выскочил Кешка, другой, привычный, тяжело налитый розовым салом, ринулся к ногам Насти — вот-вот собьет.

— Сдурел, вражина... Вишь, был у меня человек, стала свинья — не часто случается. Помню.

В это время затарахтел мотор, встряхиваясь на выбоинах, подкатил Костя в шлеме, в очках, с лицом, исхлестанным ветром. Застопорил, поднял очки, открыл зеленые настороженные глаза.

Кешка, покусывая травинку, с покойным вниманием оглядел Костю, мотоцикл, спросил:

— «Уралец»? Много прошел?

И Костя смутился:

— Нет. И трех тысяч не успел нагонять.

— Хорошая машина. Все целился купить, да куда бездомной собаке ремешок с бляшкой? Ну, бывайте покуда...

Повернулся, шагнул, раскачивая покатыми плечами, покосился на мотоцикл, еще раз похвалил без зависти:

— Хорошая машина.

— Кешка! Иди домой, паршивец! Иди! Иди! Вот я тебя! — погнала Настя тыкавшегося ей в колени поросянка.

Другой Кешка оглянулся, тряхнул головой.

— Что ему? — спросил Костя. В зеленн глаз под вздрагивающими, вымоченно-белесыми ресницами — плавающая ревность.

Настя ответила грустно и задумчиво:

— Так... Блукает по свету, ищет, кто бы приголубил... Пошли обедать, Костя.

Неприкаянный Кешка папомнил Насте, что она согрета не только славой. Все есть, все, о чем только может мечтать человек.

19

Артемий Богданович, упрятанный по-зимнему в дубленый полушубок, старший среди плотников Егор Помелов, приезжий техник, долговязый парень в городской шапке пирожком, занимающийся монтажом механизмов, электромонтер Сепя Славин и Настя вошли в новый свинарник.

В широкие и невысокие оконца сквозь двойные рамы с только что вставленным ясеневым стеклом вливался свет голубеющего дня. Со стен пахло еще не просохшей штукатуркой, дощатые настилы медово-желты, на цементной дорожке и в лотках — курчавая стружка. Длинные загородки с решетчатыми переборками уходят вдаль. Почти все кончено — установить транспортер, подключить электромоторы, покрасить, даже вода подана в водопроводные трубы.

— Магарыч с тебя, Настасья. Старались ребята, — подмигивал красным глазом плотник Егор.

Настя молчала.

— Вот дом ей перебросишь, тогда и магарыч, — отвечал Артемий Богданович.

— Если всю артель снарядишь — за недельку. Долго ли умеючи-то.

Артемий Богданович жмурится, как сытый кот, походя, похватывает стойки переборок, трогает ногтем влажную штукатурку на стенах, не хвалит, только жмурится — доволен.

— Разворачивайся, Настя. В твоём старом свинарнике Павла осядет. От тебя, так сказать, почечка.

А Настя разглядывала пустое, гулкое помещение и молчала. Знакомый, давний, полузабытый страх подпирал к горлу.

Артемий Богданович направо и налево помахивал ручкой:

— Здесь, значит,— откормочные, здесь — родилка, а здесь, так сказать,— комнаты матери и ребенка, опоросные матки лягут... Тут зелененькие, самый молоднячок, тот, что от титек оторван... Расписано, как на почте. Чуть стадо увеличишь — и стоп! Больше не надо. Устраивай кругозорот, чтоб одни рожались, другие под нож — фабрика, цех-автомат с управлением одного человека. Выгоняй мясо центнерами. Расписано, учтено... Иль не правится? Чего молчишь?

Нет, Насте нравится свинарник, по — расписано, учтено, то-то и оно. Она только теперь поняла... А ведь сама настанвала, сама торопила, чтоб строили быстрее... Только теперь поняла — тут-то ее и погибель. Матки, молодняк, откормочные, фабрика-круговорот, где все, как на полочках. А в старом свинарнике — теснота, суета, давка, попробуй разглядеть — сколько голов налицо. Фабрика-круговорот с полочками... Часть клетей окажется пустыми. Тут уж не только Артемию Богдановичу, не только членам ревизионной комиссии, не только председателю сельсовета Косте Неспанову, а любому и каждому, кто ни заглянет, хотя бы плотнику Егору, станет видно — у знатной свинарки знатная прореха. Фабрика, рассчитано, как на почте, на столько-то голов. А где эти головы, куда девалась часть стада? По дороге потерялась? Отчитайся, красавица! И начнут подсчитывать: столько-то голов не хватает, столько-то центнеров мяса — воровство, обман, надувательство. И не покроешь, и не спрячешь концы, пойдет новая слава, погромче прежней.

Сама настанвала... Думалось, только крышу сменит, а под новой крышей старые порядки. Сама настанвала, сама под собой яму копала.

Цементная дорожка из конца в конец, замусоренная стружкой, колодцы в навозохранилище с открытыми крышками — слов нет, отменный свинарник, не только в районе лучший, но области поискать. Артемий Богданович жмурится, как кот на сливках.

— Ай и вправду чем-то недовольна? — спрашивает

плотник Егор.— Критикуй. Наша братва критики не боится, потому что — фирма!

— Нет, все хорошо... Очень.

— То-то. И не печалься, избушку твою перебросим быстренько, подновим, игрушечка будет, zalюбуешься. У родни нагоститься не успеешь, как мы с шапкой у порога: гони магарыч!

Долговязый техник и электромонтер Сепька лазали вдоль стен, рассуждали о дополнительной проводке. У стойки из неплотно закрученного водопроводного крана капала вода.

— На будущей недельке кочуй сюда со всем племенем,— сказал Артемий Богданович.

«На будущей недельке...»

20

За окном ночь, полная луна висит над окоченевшими, бесснежными полями. Голова Кости лежит на ее руке. Костя уютно посапывает над ухом. Глаза Насти широко открыты. Ночь и луна за окном. Настя вспоминает другую ночь, наверно, самую счастливую в жизни.

Та ночь могла бы быть такой, как все ночи августа, теплая и душистая,— нахнет осокой от берегов, пресно пахнет речной водой. Сама река, обморочно опрокинувшаяся под небом, смолисто-черная, вязкая, неподвижная,— не сморщится, не шелохнет прибережную былинку. И где-то за лесами низко над землей лежат тяжелые, набрякшие от влаги тучи, но небо над головой чисто, точеная луна обливает онемевший мир. И в тишине разносится скрип весел в сухих уключинах, скрип весел, как крик раненой птицы.

Эта ночь могла быть такой, как все ночи августа. За веслами сидел Венька Прохорёнок, ворот распахнут на груди, под спутанными волосами загадочно и тревожно блестят его глаза. Настя в новом штапельном платье горошком, косынка с блеклыми розочками лежит на плечах, Настя чувствует себя красивой. Ее волнуют глаза Веньки, волнуют и немного пугают. Надрывным птичьим криком кричат весла, лодка режет маслянистую гладь воды...

Ночь как ночь, как все ночи начала августа. Но нет... Спит река, а над сонной рекой в застывшем воздухе под луной бешено кружится снежная метель. Да, метель! Лодка движется сквозь белые хлопья, они порой затягивают

даже близкий берег. И только луна, холодная и яростная, пробивает белую кипень, освещая пушистые хлопья.

Венька подымает весла и застывает на минуту, и тогда в тишине слышен сухой шелест, еле-еле уловимый, но в нем что-то судорожное, потаенно грозное. Сухой шелест — это бьются в воздухе легкие-легкие крылышки. Над сонной рекой в застывшем воздухе под луной пляшут прозрачно-белые мотыльки. Их несчетная тьма, над просторной рекой им тесно, они вылетели на свадьбу, вылетели, чтоб порадоваться минуту и... умереть.

В теплую августовскую ночь — снежная метель, немая и бешеная. Тьма несчетная, облака мотыльков. Одни кружатся в радостном угаре, другие уже откружились, падают в лодку, липнут к лицу в предсмертной усталости, запутываются в волосах, вся река припорошена ими. Этих мотыльков зовут подёнки, потому что все они живут по одному дню, не более.

По расправленно смолистой реке скользит сквозь метель лодка, вскрикивают весла, блестят глаза Веньки, сыплются подёнки, чей минутный век кончился. И луна над головой, луна, точеная, яркая...

Настя радуется сказочной метели. Близко от Насти Венька. Осыпаются мертвые подёнки, а Настя верит в свою долгую жизнь, верит, что эта жизнь будет счастлива, — до этой ночи ее, Настю, никто никогда еще не обманывал. Что может быть лучше той лунной ночи?..

Сейчас тоже ночь лунная, яркая. Глаза Насти широко открыты. Свет луны сперва лежал на лоскутном половичке перед дверью, потом перебрался на дощатый пол, осветив узловатые сучки, поднялся вверх, просиял на никелированных шишках кровати, и наконец луна члоской мордой из угла окна уперлась в лицо Насти, осветила затылок спящего Кости. Костя уютно посапывал на Настиной руке...

У него на шее курчавится нежный детский пушок, сама шея белая, твердая, ребячьи упрямая. Настя кусает губы, чтобы не застонать. Вот он рядом, теплый, жарко дышащий, доверчивый, вон он на ее руке! И курчавится пушок, и плавится душа от нежности, от непоправимого горя...

Скоро он все узнает... Ох, Костя, Костя!.. Пусть бы весь мир знал, пусть бы смеялись, тыкали пальцами, сочиняли дурные частушки. Пусть бы весь мир знал, но лишь бы чудом не дошло до Кости... Чудес нынче не бывает, вымерли чудеса вместе со святыми угодниками. Ох, Костя, Костя! Пушок на шее, посапывание над ухом — не

будет этого. Неделька — срок отмерен. Настя кусает губы, чувствует на них соленый привкус слез.

И ночь перед глазами, та счастливая почь со сказочной метелью! Ночь, какая бывает одна на всю жизнь!.. Одна?.. А, наверно, могла бы повториться. Пройдет зима, появятся опять летние почы, теплые, с луной, и будут летать подёпки... Все может повториться, если б... Неделька — срок отмерен.

И от этого приговора, от щемящего душу Костиного затылка мысли Насти начинают слепо метаться в голове, искать выхода.

А что, если предложить правлению: беру несколько маток на расплод, в новом свиноматнике начинают все сначала, начинала же когда-то с десяти сосунков. Пусть старый свиноматник остается как был...

Обжигает минутная надежда, обжигает и гаснет. Свиноматник-то сдавать придется той же Павле, кто ж примет без счета, без проверки, — все выплывет наружу...

А что, если просто уступить новый свиноматник другой свиноматке?.. Настаивала, подгоняла, ждала, а теперь — отказ. Сразу спохватятся — что-то тут не чисто. Выплывет...

А что, если сбежать вместе с Костей, все кинуть — пропади пропадом! Бежать?.. Куда, глупая? Кого уговорить собираешься?.. Костю? Глаза ему на себя открыть?.. И мать больная. И что делать на стороне?.. И куда скроешься? Как бы через милицию искать не принялись...

Мечутся мысли — нет выхода.

Курчавится детский пушок в лунном свете, кровоточит сердце от нежности. Влезла в заговоренный круг — выхода нет. Пока еще Костя рядом, пока еще прижался к ее боку. Неделька — срок отмерен.

Эх, новый свиноматник, надежда колхоза, добротный построенный, размеренный, рассчитанный... Новый свиноматник для лучшей свиноматки, для той, что — «гордое знамя»...

Пальцы свободной руки тянутся к пушку на шее, луна освещает крупную, раздавленную работой руку. «Родной ты мой, срослась, не могу без тебя. Знал бы ты, как мучаюсь, знал бы — простил. Душа-то в тебе добрая...» Разбудить бы его, рассказать начистоту: «Прости, если можешь, ради своего счастья, ведь срослись. А уж простишь — на руках буду носить всю жизнь, нянчить и голубить до последнего вздоха...»

И опускается рука: простить-то он, пожалуй, с ходу и простит, да потом опомнится. Ему тоже придется хлебнуть горького от людей, не меньше, чем ей, Насте.

Тугая петелька — не вырвешься.

Тугая петелька, сама на себя накинула...

Не вырвешься?.. Нет, можно вырваться, и очень просто...

Для чего жить, коли все рушится? С работы скинут, муж бросит... Жить, корчиться от позора?..

Выход есть, и очень простой.

Слезы высохли на глазах, в грудь словно положили холодный кирпич.

Высвободить сейчас остороженько, с бережностью руку из-под Костиной головы, встать, выйти в сени. там на колышке висит веревка — летом траву носила... Выйти в сени и — на повесть... Можно и не сразу, можно и на крыльцо выглянуть, на небо полюбоваться. Над крышами — луна в полную рожу, кольца вокруг нее, морозец жжет... В последний раз на луну, на землю, где ей нет места. В последний раз вспомнить ту ночь, метельную, теплую, самую что ни на есть счастливую. Пушистые завитки на шее. В последний раз.

Нет слез, зреет решимость. Но уж очень тесно прижался Костя, очень жарко дышит, боязно разбудить его... И что торопиться, с этим всегда можно уснуть...

А утром вместе с небом слняла луна. Из-за леса, из глубин, перло вверх солнце, брызгало лучами. И старая изба покрывала от мороза.

Нет, она еще обождет.

Костя так и не проспунлся, лежит сейчас, укрыла его, подоткнула одеяло. Скоро встанет, свежий, с ясными конопущками по щекам...

Нет, она еще обождет. Впереди неделя, хоть этой неделкой попользуется.

Без платка, с голыми икрами по морозцу — к поленнице. Нахватала оханку охолодавших, свицовой тяжелых поленцев, понесла в дом.

А мать уже сползла с печи:

— Беги, чадушко, по своим делам, управляюсь тут... Нынче сон видела: рыбу с твоим отцом, царство ему небесное, на Климовском перекате бродим. Все окуни, все окуни... Золотая рыбка — к добру это.

Умылась, обулась, не утерпела — прямо в сапогах и ватнике прошла к кровати, чтоб одним глазком глянуть, как Костя зорюет. И разбудила неуклюжая — половицы заскрипели. Поднял всклоченную голову с заспанным, очумелым лицом. Жесткой ладонью пригладила ему волосы, сказала скупно, чтоб не выдать боль:

— Утро па дворе, сокол.

Вышла.

С полпути заметила — по дороге торопится к деревне полуторка Женьки Кручннипа. Не к пей ли в такую рань?

Оказалось — к ней.

Женька высунул из кабины нахальную физиономию, спросил:

— Пожар устраивасшь, знаменитость?

— Какой пожар?

— Вишь, меня ни свет ни заря выгнали. Артемий Богданович вчера втолковывал: перевези барахлишко нашей славной знаменитости да не заставляй ее ждать. Подтвердишь потом мою исполнительность. Эхма! — Зевнул сладко. — И плотники уже к тебе собираются. Ну, прямо пожар.

— Вольно же Богдановичу... Костя мой только глаза протер.

— Может, обождать у порога прикажешь, пачальница?

— Езжай, коли приехал, трясн Костю. У меня своя справа.

Настя направилась к свинарнику: пет, не дадут покойно дожить эту куцо отмеренную поделю.

Как всегда, первым ее учуял Кешка, вышиб рылом задвижку, как всегда, кинулся навстречу, вздохнул негромко и радостно повизгивая, колыхаясь от нетерпения, ожидая ласки. Так было каждое утро. Кешка подавал голос, просыпался весь свинарник, стены заполнял требовательный визг проголодавшихся за ночь свиней.

Обычно гнала от себя назойливого Кешку:

— Кыш, дурак! Не липни! Погибели на тебя нет...

А сейчас преданная пороссячья радость ударила в сердце, потрясла, словно гром над головой.

(Слава да уважение, купалась в нем, как в хмельном меду, а что осталось? Одна живая душа на свете ее любит, не отвернется, не шарахнется в сторону. Даже мать осудит, даже родная мать! Одна живая душа на всем свете и та пороссячья. Ластится Кешка, лишь ему можно верить, лишь он надежен — не продаст.

И от лютой жалости к себе подкосились ноги. Осела на пол, обхватила Кешкину морду, уткнулась лбом в жесткое пороссячье ухо:

— Ве-ер-пы-ый ты мо-ой?

Затравленный звериный вопль — жалоба на людей.

Егор Помелов со своими плотниками поработал на совесть. К вечеру избы не было, лежали кучи бревен, стояла раздетая печь, к ней прислонены входные двери со знакомой скобой и устало упавшей задвижкой...

Падал реденький сухой снежок, печь уставилась трубой в небо. Разрушено старое гнездо, мать и Костя выехали в село, в бывший Костин дом, где живет Костина мать и его замужняя сестра. Разрушены стены — это начало, остальное будет рушиться завтра... Стоишь, как на пожарище.

После того как Настя выплакалась возле Кешки, весь день зло думала о людях: они станут ее врагами, все до единого. Сейчас пока эти враги желают ей добра, потому и разгромили дом, негде преклопить головы. Кучи бревен и голая, зябущая печь, взметнувшая трубу в небо, — вот оно, начало конца.

Разрушенная изба напоминает пожарище... Настя стояла, разглядывала ее, и морозец продрал по спине...

Как вырваться из петли?.. Оказывается, можно, дух захватывает. Но ей-то теперь терять нечего...

21

Ночь провела в доме Павлы, одна, без Кости и без матери. Так уговорились: те пока будут жить в селе, Настя эти дни перебудует в Утицах, не бегать же ей по утрам за семь километров к свиарнику.

Снова ночь провела без сна, снова думала...

Спозаранку, как всегда, была на свиарнике: растопляла плиту, чистила, скребла, разносила ведра с месивом. В углу под дощатым столиком стояла четверть с керосином, дрова порой были сырые, не сразу занимались — плескала на них. Четверть пыльная, давно не троганная, почти полная... Настя поставила ее под печь, поближе, чтоб была под рукой.

Перед обедом сказала Павле:

— В Загарье мне надо. Беда, дел полно. С Пухначевым нужна потолковать, в банк загляну — матери обещали пенсию пересмотреть. Поди, к ночи не управлюсь, придется у Маруськи переночевать. Ты подбрось моей прорве корму — вечером и утром, ежели рано не поспею.

— Езжай, езжай, не впервой, сделаю, — согласилась Павла.

По свежему снежку прикатил на мотоцикле Костя — как тут без него Настя? Настя и ему сообщила:

— В Загарье еду...

Все вещи были увезены, все вещи, в том числе и Настино пальто с мерлушковым воротником. Не ехать же в райцентр в грязном ватнике, в каком щеголяла по свиначнику. Настя взяла у Павлы ее полушубок, шерстяную шаль, Костя сvez ее на заднем сиденье до автобусной остановки.

— Чего тебе валяться по чужим людям, управляйся там — да прямо к нам в село, с нами и переночуешь, утром в Утицы махнешь, — попросил Костя.

— Коль не запозднюю, так и сделаю, — согласилась Настя.

В полушубке с чужого плеча, в чесанках с галошами она для Кости выглядела непривычно, словно бы и не своя, не родная.

Маруська в Загарье обрадовалась Насте. Старая дружба не вянет, помнит Маруська, как Настя к ней с бедой прибежала: поросятадохнут, выручай... Тогда Настя была простая свиначка, теперь — знатней по району человека пет, а вот ведь заходит, не забывает.

— Марусенька, любушка, тут у меня дел не впропорот — и в банке и в райкоме, до ночи задержусь, придется, видать, у тебя переночевать.

— Да господи! Место не заказано. Всегда рады...

Маруська — добрая душа, и дом у нее свой, и в каждой комнате кровать ипкелированная с периною...

— Только я могу и за полночь прийти. Знаешь, как у нас — толки-перетолки, заседания, конца не видно.

— Хоть к третьим петухам. Стучи в окно — открою. Постель тебе с вечера приготовлю, чистое постелю.

— Право, хлопот-то тебе со мной...

— Какие хлопоты? Полно-ко! Не чужие, чай.

Дни в начале зимы коротки, пока ехала да пока болтала с Маруськой — темно, напротив райисполкома и почти зажглись фонари.

Настя забежала в банк, стукнула в кабинет к самому Сивцову, тот был рад ее видеть, рад помочь Настиной матери с неспей, по нужны справки из райсобеса, справки из воепкомата. Сивцов загибал пальцы на сухонькой руке, ласково посматривал сквозь толстые очки, а в голосе суровенькая вежливость — понимай: ты хоть и знаменитость, но и знаменитым законы писаны.

— Придется заночевать здесь, — со вздохом мирно сказала Настя. — Сегодня-то не успею достать...

В банке не задержалась, бросилась в райком. В райкоме не было ни Пухначева, ни Кучина — оба в разъезде: часть колхозов тянут с вывозкой хлеба. Говорила Настя с инструктором Лапшевым и ему сообщила:

— Здесь нынче заночую. Завтра утречком заскочу.

Из райкома направилась не к Маруське, а прямо к автобусной остановке, на ходу закуталась в шаль, подняла овчинный воротник, так что нос не виден, одни глаза. И не удивительно — морозец, чуть-чуть сыплет сухонький снежок.

Удачно рассчитала, автобус еще не ушел, иначе ждать бы часа два, не меньше.

Так и сидела укутанная до глаз в автобусе, делала вид, что дремлет. Почти все в районе ее знали в лицо, а тут еще впереди через два ряда торчал долговязый парень, техник-монтажник, что ставил механизмы в новом свиноматнике. Он тоже не узнал Настю — попробуй-ка разглядеть, кто такая, когда полушубок чужой, а лицо укутано в шаль. Техник-монтажник сидел пахохлившись и читал книжку.

Он сошел в селе. Настя проехала еще три остановки, отсюда до Утиц прямая дорога через поля.

Дорога пустынная, кому придет охота в такую темень вылезать на холод из теплой избы. Настя, кутаясь в шаль, бежала почти бегом...

В Утицах избы теплились редкими огоньками — добрые люди сидели за самоварами, на сон грядущий гопяли чаи. Светилось и окно в доме Павлы — не ждет Настю, было сказано, что заночует в Загарье. А окна Настиного дома не светят — нет окон, нет самого дома, лежат кучей бревна да коченеет на морозе широкая печь.

Исхоженная тропинка, знакомая до последней выбоины, до последней вмятины — вслепую пробежишь, не споткнешься. Скорей, скорей... А за спиной вразброс — огоньки деревни, родной деревни, в которой уже больше не жить Насте — изба-то разобрана по бревнышку.

На дверях тяжелый амбарный замок, ключ от него из рук в руки днем передала Навле. Из рук в руки ключ с веревочкой... Скинула варежку, в варежке, в кулаке, давно уже грелся ключ, точно такой же... Кому знать, что их было два, один запасной все время лежал на полочке в кормокухне над дощатым столом.

Тяжелый замок послушно распался, толкнула дверь. Сквозь шаль ударило в лицо тепло и густой запах, при-

вычный запах, с него у Нasti всегда начинался рабочий день.

Поплотней прикрыла за собой дверь, свет не зажгла. На минуту представила себе: во сне за стенкой вздыхает хряк Одуванчик, в густом воздухе сопение, шевеление — жизнь, скрытая от белого света, жизнь — сон да еда, тяжелеющие сутки за сутками туши сала и мяса. Сейчас обрушится на них беда, оборвется эта сонная жизнь...

И екнуло сердце — вспомнила Кешку. Самый верный, самый любящий...

Достала коробок спичек, рванула с лица душившую шаль. Пальцы тряслись, спички ломались.

— Ох ты, господи! Пропади все пропадом!

Вспыхнул огонек, испуганно закрыла его ладонью — вдруг да в окно увидят, — оглянулась... Под топкой охапка сухих дров, рядом охапка соломы, скамьи, шаткий столик, пустые ведра, лопата. А где же бутылъ с керосипом?.. Ах, вот она.

Спичка погасла. Темнота, тишина, жизнь за стеной, та жизнь, которую она, Настя, изо дня в день поддерживала своими руками. Матки Роза, Рябина, Канитель — ныне каждая гора горой, — их когда-то за пазухой носила, из бутылочек прикармливала. Не ели, тощали — горе; стали есть, резвиться — радость. Любой из поросят был ее ребенком, оглаживала, обхаживала, ласковые слова находила. И теперь надо чиркнуть спичку. Одна спичка — и обрушится беда. Одна спичка — и смерть Розе, Рябине, Канители, Кешке. И Кешке тоже...

Коробок спичек в руках. Может, не чиркать эту спичку? Добро бы только судили, не суд страшен, поди, много не дадут, помилуют, но позор на веки вечные, всяк плюнет в ее сторону, от опозоренной жены муж уйдет, мать с горя в гроб ляжет, и даже дома нет, кучей бревна лежат... Пожалей свиней, они дороги, спаси их, а сама гибни. Что дороже — они или жизнь?

И дрожащими руками Настя нащупала впотьмах бутылъ, вытащила тряпичную затычку. Веселенько забулькал под ноги керосин, его резкий запах заполнил кормокухню...

Помещение давнее, выстоявшееся. Степы бревенчатые, а крыша тесовая. Между тесом — пласты бересты, «скала». Если тес погниет, то скала-то останется целой, не пустит дождь. Такие «заскаленные» крыши стоят десятки лет... Керосинный запах, одна спичка в солому...

«Пожар устраиваешь, знаменитость?..» А что еще?..

На чужой повети в петлю голову сунуть? Она в Загарье, ее видела и Маруська, ее видел в банке Сивцов, видел в райкоме инструктор Лапшев, каждый от нее слышал, что остается ночевать. И это правда, ночевать-таки она будет в Загарье, через какой-нибудь час с небольшим подойдет автобус, она сядет — шаль до бровей, полушубок с чужого плеча...

«Марусенька, ох, закрутилась я...»

У Маруськи для нее разобрана кровать, перина застлана чистыми простынями.

А утром:

— Батюшки! Настя! Беда у тебя!

Беда!! Всполошится, бросится опрометью, забудет про справки для матери, не дожидется Пухначева, кого хотела непременно видеть. Беда! Скорей! На одну ночь только отлучилась! Что за растяпа Павла!..

Свиней жаль — нянчила, выкармливала. Не изверг же она, душа кровью обливается. Но или они, или ты, задави жалость, Настя. За мужа, за дом родной, за всю жизнь свою, если не хочешь потерять, — одна спичка...

Но рано... Не зря же Настя не спала всю ночь — продумала. Свинопарник наглухо закупорен, огонь может и задохнуться. Настя ощупью добралась до окна, локтем в полушубке выдавила одно стекло, второе, легкий морозный воздух ворвался в керосиновую вонь кормокухни.

Одна спичка... Но Настя медлила, переминалась, наконец решилась. Толкнула внутреннюю дверь в свинарник, позвала сдавленно:

— Эй, Кешка!

Даже он, дурачок, спит, даже он не учуял, что пришла...

Кешка завозился в глубине.

Все свиньи заперты за загородками, один Кешка умеет рылом сбивать задвижку. Это каждому известно в колхозе. Кешка знаменит, как и Настя. Никто не подивится, что один Кешка вырвался из огня.

— Эй, Кешка!

И он выскочил, ткнулся, повизгивая, в колени, счастливым негданной встрече. Настя приоткрыла дверь на волю, вытолкнула Кешку:

— Гуляй, лапушка, живет...

Теперь все. Одна спичка!

И спичка вспыхнула, плеснуло пламя, лихорадочно зарумянились бревенчатые стены, в глубине свинарника стариковски вздохнул не ведающий о беде хряк Одува-

чик. Настя шарахнулась к двери, распахнула ее, еще раз оглянулась назад на освещенные в веселой трясучке бревенчатые стены, выскочила, непослушными руками навесила замок, повернула ключ...

Пуста дорога, сыплет снежок. Пуста дорога, темна ночь, за спиной спокойно теплятся окна родной деревни, соседи Насти, знакомые Насти собираются спать. Пуста дорога, кто в такую ночь покинет перед сном теплую избу?

Можно бы и не спешить, не скоро подойдет автобус, но ноги несут.

Подойдет автобус, Настя сядет в него — чужой полушубок, закутано шалью лицо. Сядет и задремлет...

«Марусенька, ох, закрутилась я...»

У Марусеньки приготовлена перипа под чистой простыню. А утром:

— Батюшки! Настя! Беда у тебя!

Пуста дорога... И вдруг вздрогнула — тяжелое посапывание сзади, кто-то нагоняет. «Ой, дурень, совсем испугал — ноженьки подкосились». Кешка бежит следом, верный Кешка, спасенный от огня. Все будут считать — ловкач, вырвался...

Кешка привычно ткнулся в колени.

— Кыш! Иди-ко, любимый, иди. Покуда сам живи. Авось, завтра встретимся...

Отогнала Кешку, снова побежала — счастье великое, что пуста дорога, навел бы дурень тень на плетень, долго ли...

Кешка — ни на шаг, бежит, повизгивает от страха. И до Насти дошло: ведь не отстанет, так и проводит до автобуса. Дорога-то пуста, а на тракте — люди, того же автобуса ждут. Даже если и пет никого по позднему часу, то из автобуса наверняка увидят — свинья на дороге, это почью-то, за бабой увязалась, почему бы это? И узнают Настью, и все пропало!

— Кыш! Погребель моя! Кыш, дьявол!

А он врезался с разгону в подол.

— Кыш!! — мягким кулаком в варежке — между глаз, коротко взвизгнул, отскочил, Настя кинулась от него.

Сопение сзади, пет, не отстанет. И зябкий мороз охватил под полушубком — беда негаданная, как смерть по пятам. Сама выпустила, пожалела, расплачивайся опять за жалость-то.

— Ах ты, злыдень! Ах ты, отродье дикое! — Руки трясутся, под полушубком по потной спине гуляют морозные мурашки.

Увернулась от Кешки, бросилась с дороги, упала на колени, стала судорожно шарить варежками: «Камень бы покрупней... Отвадить бы сатану, ни дна ему, ни покрышки...»

Но под слоем снега руки пащупывали лишь комья мерзлой земли. Бросалась ими:

— Провались ты, треклятый! Сгнишь!

Кешка вился вокруг большой тенью, повизгивал. Настя ползла на коленях, глотала слезы:

— Знатье бы... Эх, знатье бы... Да я бы тебя, поганого!..

Наконец-то подвернулась булыга, крупная, тяжелая, в коросте снега смерзшейся земли. Сжала ее варежками, поднялась. Кешка маячил в стороне, уже пуганный, уже не доверяющий.

— Кешенька, иди, голубчик... Подь сюда, глупый... — Голос елейный, со слезой. — Да иди, сатана, поближе, иди!

И он бочком придвинулся. И грузный камень опустил-ся на морду, и по темному полю пронесся морозящий кровь визг. Кешка исчез в темноте, а визг рвался в ночи, над-рывный, оскорбленный, горестный.

И тут произошло невероятное. Настя словно пропусти-лась от визга, вдруг увидела себя со стороны, отчетливо и безжалостно — среди серого заснеженного поля, накры-тая глухой тьмою, преступница, прячущаяся от людей, прячущаяся, потому что перестала быть похожей на них. Все на ласку отвечают лаской — она подымает камень, за почет, за уважение бросает спичку — пет ничего святого, горн ясным пламенем. И вопят сейчас в смертельном ужа-се свиньи. Горн все, ее труд, ее прошлые радости и беды, горн все живое, поднятое ее руками! Воят там сейчас свиньи. И перед лицом падает снежок, падают вялые хлопья, напоминающие умерших, поденок, августовскую счастливую ночь, реку, лодку, Веньку Прохорёнка, свою молодость. Сама себе страшна, сама себе противна — оди-нокий выродок среди ночного поля. Воят свиньи...

Настя стояла так минуту, не больше, ровно столько, чтоб успел замолкнуть побитый Кешка. Сорвалась, броси-лась обратно к деревне, туда, где люди, где пожар, где воят свиньи. Туда, к своим!

Пот заливал глаза, сорвала на бегу шерстяную шаль, бросила. Дыхание спирает, ноги путаются, с остервене-нием рвала пуговицы на полущубке, скинула его. Бежала дальше, простоволосая, в одном платье, с хрипом дыша, не чувствуя мороза, спотыкаясь, падая, вновь подымаясь.

В деревне теплится чье-то одинокое полуночное окно.

И не видно пока зарева. Мимо своей печи, своей усадьбы, кучи бревен, по тропе, пробитой своими ногами,— поспеет, должна поспеть! Свинарник издалека — сонный и темный, с одного конца снежком припорошена крыша. Нет беды, не померещилось ли?

Но, еще не добежав, услышала пстошный визг, приглушенный стенами. И этот визг подхлестнул...

Дверь в кормокухню. На ней замок. И похолодела — ключа-то нет, ключ-то остался в брошенном полущубке. И визг свиней, и через дверь слышен какой-то блудливый, трескучий перепляс... Замок — ключа нет. Вторые ворота заложены изнутри.

И заметалась вдоль по стене от окна к окну. Но окна узки, рамы крепкие, без топора не выломаешь. Добежала до угла, завернула и ахнула... Со стороны деревни свинарник сонный и темный, но он собой закрывает розовый снег. Из окна кормокухни выплескивает кинящее, жадное, в темных чадных завитках иламя. Оно облизывает стену. И часть стены — золотая, яркая, выедающая глаза. А на крыше вдруг на пустом месте вырос сияющий чертик, пошел отплясывать. И осипший рев одичавших свиней. И ничего нельзя сделать.

Настя заломила руки и завопила:

— Спасите! Спаси-те!!

Не переставая голосить, кинулась к деревне. К первой избе, к первому окну, кулаками изо всей мочи:

— Спасите! Спаси-те!!

Ко второй избе:

— Спаси-и-те!!

Хлопнула дверь, другая, хриплые мужские выкрики, бабье оханье. В стороне пад свинарником крепко зарево, тускловатое, с багрянцем, как освещенный под гаснущей печи.

Хлопали двери, и над деревней разносился надрывно зовущий, плачущий голос:

— Спаси-те!! Спаси-и-те!!

Люди добрые, спасите Настю.

Примечания

В 1-й том Собрания сочинений В. Ф. Тендрякова включены восемь повестей, созданных в 1954—1965 годы.

Проза этого первого десятилетия в основном определила круг проблем, который стал предметом пристального внимания писателя в течение всей его тридцатипятилетней творческой деятельности.

В. Тендряков вошел в литературу в начале пятидесятых годов — в период, когда сама история поставила перед жизнью и искусством новые сложные задачи.

Константин Паустовский писал, что Тендряков этих лет напоминал ему мальчика, «похожего на северного застенчивого подпаса» («Юность», 1982, № 6). Но уже в те годы Тендряков четко формирует свое кредо: «Есть критика, выражающая мироощущение писателя, его отношение к действительности. Оно требует от писателя беззаветной смелости и принципиальности... Пассивность мне чужда, как чужда она моим героям. Пассивность враг всякой литературы» («Новый мир», 1954, № 11).

Так же открыто он заявляет и о своем нравственном идеале: «Всякий раз, когда я перечитываю Чехова, я оглядываюсь на себя. Проверяю свою Совесть — правильно ли поступил, не солгал ли в чем-нибудь перед людьми, перед самим собой, не покривил ли душой ради собственного благополучия» («Москва», 1960, № 1).

Тендряков отличался резким своеобразием, он был решительнее других в постановке острых проблем, смелее в поисках художественной выразительности. С первых же его шагов в нем не было и следа нередкой для начинающих робости... В сочинениях чувствовалась исповедь сердца и жар надежд — ярчайшая особенность того периода... В произведениях все привлекало свежестью, начиная от языка, цепкого, мускулистого, с зарядом напряженной и стремительной энергии, нацеленной на выявление самой сути того, о чем говорил писатель», — так характеризует Тендрякова этого периода исследователь его творчества И. Крамов («В зеркале рассказа». М., «Сов. писатель», 1984 г.).

Когда в 1943 году после тяжелого ранения под Харьковом будущий писатель вернулся в родную деревню на Вологодчине, он

имел за спиной ни с чем не сравнимый жизненный багаж — трех-летний тяжкий солдатский опыт войны. Период ученичества у В. Ф. Тендрякова как бы отсутствует — имеются лишь скудные, случайно оброненные фразы: «Начал заниматься сочинительством, хотя все целиком шло в мусорную корзину». («Лит. учеба», 1985, № 2). Короткие анкетные ответы: «С 1951 года считал себя профессиональным литератором». (Там же.)

Автора всегда отличала высокая требовательность к своему творчеству. Первые очерки и рассказы — «Дела моего взвода» (Альм. мол. писат. М., 1947), «Впитовка старшины Соловьева» («Смена», 1952, № 12), «В гору» («Огонек», 1950, № 26), «Ненастье» («Пов. мир», 1954, № 2), «Ее оружие» («Огонек», 1951, № 49), «Среди лесов» (Год тридцать шестой, альм., 14. М., 1953) и др. — не были включены автором в свое Собрание сочинений. Не вошли они и в данное издание. Но в них уже отчетливо видны пути, которыми шла проза Тендрякова. Константин Паустовский в письме Э. Казакевичу от 14 марта 1957 года уже тогда среди молодых талантливых писателей первым называет имя Тендрякова.

Первые шаги писателя в литературе неразрывно связаны с журналом «Новый мир», главным редактором которого в этот период был Александр Трифонович Твардовский. Творческое сотрудничество автора с редакцией было плодотворным. Восемь произведений в 50—60-е годы увидели свет на страницах этого издания.

Характерный эпизод произошел с рассказом «Пощечина». Тендряков предложил рукопись в редакцию «Нового мира». 22 июня 1958 года А. Твардовский ответил автору подробным письмом. Текст письма приводим с сокращением: «Дорогой Владимир Федорович! Как всегда, Вы и в рассказе «Пощечина» улавливаете нечто существенное, жизненное, против чего не поспоришь как против факта. Это драгоценный дар — чувство существенного в жизни, глаз и слух на все, что недоступно глазу и слуху авторов, пишущих не от потребности сказать правду, а из соображений сказать то, что будет «в соответствии»... Но о данном рассказе я хочу вот что сказать. Авторская речь у Вас слишком близка к языку персонажей... Это — слабость, и слабость, влекущая за собой другие слабости, уже не «чисто формального» порядка, а самого содержания. ...Смещение жанровых возможностей у Вас обернулось прямо-таки плачевно. Мне думается, что у Вас все это — издержки роста». («Письма о литературе». М., «Сов. писатель», 1985.) Критический анализ убедил Тендрякова, и рассказ никогда им не публиковался.

В этот период складывалась и творческая манера писателя, ее основой стала «малая проза», вобравшая в себя очерк, рассказ и, как синтез, наиболее емкую и законченную из всех объемов — повесть. Она и определила выбор произведений первого тома,

«Малая форма» давала возможность «на малых плацдармах» с предельным лаконизмом исследовать те жизненные явления, в которых хотел разобраться автор. «Литература не копия, а концентрат жизни», — говорил сам Тендряков. (Стенограмма выступления на встрече с читателями в Московском педагогическом институте, им. В. И. Ленина 1982 г.)

В. Тендряков не видел необходимости строго разграничивать жанры. Так один из первых рассказов «Падение Ивана Чупрова» был вначале определен как очерк. Ранние произведения писателя вбирали в себя и приемы очерка — публицистичность, полемическую заостренность, злободневность проблематики — и элементы художественной прозы: глубину психологического рисунка, пластичность образов, яркость диалога, живописность пейзажных зарисовок. Писатель вырабатывал свою художественную стилистику, возникшую из сплава художественности и публицистичности. Публицистичность — черта характера, ставшая чертой творчества, способствовала читательской активности, сопровождавшей появление каждой книги писателя.

В спор вступали не только искусствоведы и критики, но и люди далеких от литературы профессий — учителя, юристы, колхозники.

Острая полемичность писателя дает нам право включить в примечания разноплановый критический материал, отражающий судьбу каждой его книги.

Тексты произведений, вошедших в I том, печатаются по изданию: Тендряков В. Собр. соч. в 4-х томах. М., ИХЛ, 1978. В случае, когда произведение печатается по другому изданию, это оговаривается.

«Не ко двору». Впервые — в журнале «Новый мир», 1954, № 6. Повесть вызвала большой читательский интерес. Библиография журнальных и газетных статей («Лит. газета», «Комс. правда», «Нов. мир», «Октябрь», «Знамя» и т. д.) составляет более 80 названий. Откликнулись и дали в целом положительную оценку повести М. Шолохов («Дон», 1957, № 5), К. Симонов («Лит. газета», 1954, 18 дек., «Проблемы развития прозы»), В. Овечкин (Сб. «Жизнь колх. дер. и лит-ра», 1956 г.), М. Шагинян («Сов. печать», 1957, № 1). Валентин Овечкин писал: «Это не шаг, а прямо бросок вперед. Писатель повернулся лицом к острым конфликтам, пошел бесстрашно навстречу сложным жизненным противоречиям, стал в них по-хозяйски разбираться — и вырос как художник на две головы» (Сб. «Жизнь колх. дер. и лит-ра», 1956. М., «Сов. писатель»). В этом же выступлении Овечкин упрекает Тендрякова в пассивности, требуя еще активнее вторгаться в жизнь.

Мнения критиков о повести были разноречивы. Взрывчатая

острота конфликта, отсутствие готовых рецептов и решений дали основание некоторым критикам признать повесть «Не ко двору» творческой неудачей автора. Они считали, что в ней не показан «воинственный характер положительных сил нашего общества», что привело к «размытости идейных позиций» (Сб. «Жизнь колх. дер. и лит-ра». М., 1956, «Сов. писатель», В. Дорофеев).

Критик А. Тарасенков утверждал: «Радостно, что в нашей литературе появилось новое, честное, талантливое имя» («Знамя», 1955, № 7, «На темы дня»).

Сам автор критически относился к этой повести. «Это было время бурных перемен в нашей общественной жизни и в литературе, и мои первые вещи отразили эти перемены. Но сам я тогда еще не мог дать достаточно глубокого анализа изображаемого. И в самом деле, что за анализ жизни в «Падении Ивана Чупрова» или «Не ко двору», — весьма примитивный, я не хочу этого скрывать», — говорил Тендряков («Лит. учеба», 1979, № 3, интервью).

В повести впервые появляется герой — предтеча длинной галереи художественных образов героев, отстаивающих свое право быть человеком.

В 1956 году по сценарию Тендрякова на Ленфильме М. Швейцером был снят фильм «Чужая родня». Отметив «отличную литературную основу» фильма, кинокритики восприняли ее как «большую творческую победу, свидетельство роста нашего киноискусства на тех путях, где оно уже имело убедительные завоевания в прошлом».

«У х а б ы». Впервые — в альманахе «Наш современник», 1956, № 2. Рассказ «Ухабы» не раз менял свою жанровую принадлежность — очерк, рассказ, в первом Собрании сочинений автор определил его как повесть. Как повесть, он включен и в данное Собрание сочинений.

«Два несвязанных друг с другом события, услышанные мною от разных людей, дали материал для «Ухабов», — сообщал автор в интервью («Сов. литература», 1983, № 11). «Ухабы» открывают нуть к сложным образам повестей «Тройка, семерка, туз», «Суд», «Поденка — век короткий». А. Т. Твардовский, выступая на собрании Московской писательской организации, выделил рассказ «Ухабы». Он говорил: «Напомню превосходное произведение нынешнего года — рассказ Владимира Тендрякова «Ухабы». Трагические события на убийственной дороге. От таких рассказов возникает ощущение, что жизнь невесела — недостатки, нехватки... Рассказ с трагической концовкой...» («Моск. литератор», 1956, 17 окт.). «Бюрократ! До убийцы выросший бюрократ!» Так писатель вскрывал процесс деформации личности — бюрократизм нравственно растле-

васт человека, губит и все живое, что попадает в сферу его действия.

В «Ухабах» Тендряков впервые сближает свою позицию с позицией героя. Он сам находится внутри повествования. «Ухабы» оказались понятием не столько бытовым, сколько социальным.

После выхода «Ухабов» в одном из интервью Тендряков признался: «После «Ухабов» казалось, больше не смогу написать ни строчки. Знаю, что это состояние проходит. Спасение в одном — в работе». («Лит. газета», 1979, № 16, апр.)

«Ухабы» вышли миллионным тиражом, были переведены на многие языки мира, издавались в Германии, Франции, Англии, Норвегии.

«Чудотворная». Впервые — в журнале «Знамя», 1958, № 5.

Интерес Тендрякова к атеистической тематике казался неожиданным. Острая антирелигиозная полемика 20—30-х годов стихла. Религиозный вопрос считался решенным, давно снятым с повестки дня.

В статье «Правдивность и религия», опубликованной в журнале «Наука и религия» (№ 2, 1987), В. Ф. Тендряков пишет: «Вспоминаю события тридцатипятилетней давности. В начале 50-х годов я попытался реализовать давно назревшее желание написать что-либо серьезное по проблемам веры, безверия, атеизма... Появились наброски о верующей в бога студентке, о ее встрече с умным, толковым парнем, атеистом, твердым и в то же время деликатным.

Первым серьезным произведением считаю повесть «Чудотворная». Возникла она далеко не вдруг и не сразу была напечатана в журнале «Знамя».

Своеобразным прототипом моего героя Родьки Гуляева стал школьник из очерка, помещенного в одной из центральных газет. Но документальная публикация была лишь импульсом, ибо мальчишка из «Чудотворной» в своем неприятии религии стал образом собирательным.

Меня прежде всего волновали проблемы ценностные, нравственные, так сказать, критерии души. И я как писатель старался показать, что религию никогда не интересовало и не интересует, в каких условиях поставлена человеческая личность, что ее конкретно радует, волнует, тревожит».

В интервью журналу «Наука и религия», членом редколлегии которого Тендряков был многие годы, он говорил: «Убедленным атеистом я стал только в зрелые годы, когда смог отнестись к религии и религиозному сознанию серьезно и ответственно» (1973, № 12). Этот глубокий подход к проблеме дал право критикам ска-

зять, что у писателя «наступает период, когда он становится нужным в духовном обиходе народа» («Комс. правда», 1958, 22 июня, «Чудотворная», В. Кулемин). Именно с «Чудотворной» начался нравственно-философский поиск писателя. Тема эта становится одной из центральных, принципиально значимых для всего творчества художника.

В 1960 году на Мосфильме В. Скуйбинным по сценарию Тендрякова был создан фильм с одноименным названием, который в многочисленных откликах был отмечен как страстный и светлый, нужный времени.

В театре «Современник» в 1963 году повесть получила свое сценическое воплощение. Спектакль «Без креста» в постановке Олега Ефремова много лет был в репертуаре театра.

«Тройка, семерка, туз». Впервые — в журнале «Новый мир», 1960, № 3.

«Древняя как сама жизнь» история — человек не поладил с человеком», — так определяет Тендряков конфликт повести. «Подглядеть прав и быт сплавщиков мне пришлось невольно. Я бродил по Онеге и застрял у сплавщиков. Не выйти, не выехать назад! Мы жили со сплавщиками вместе, много разговаривали. Я и раньше немного знал об их быте и правах. А тут столкнулся вплотную». (Стенограмма выступления в Моск. пед. инст., 1982 г.)

Исследуя сложность так называемой «простой жизни», автор как бы предупреждает, что среди нравственно чистых людей может возникнуть ситуация, при которой большинство отступит, храбрый малодушно спасует, а хилый наглец будет диктовать свои условия.

И вновь мнения критиков оказались полярными. Ю. Лукин в «Правде» писал, что автор «несправедливо обвинил советского человека, коллектив советских людей, как ячейку советского общества... Мы знаем, как высоко держит знамя чести советский человек... почему же автору повести захотелось возвести на них такое обвинение» (1960, 28 марта). Критик Б. Соловьев: «...повесть ложь, которая свидетельствует о том, насколько узким оказалось поле зрения автора» («Нева», 1961, № 3, «Источник и повседневность»). Д. Стариков советует лучше изучить жизнь «простых людей» и понаблюдать за ними «снизу» («Лит. Россия», 1962 г.). «Литературная газета», «Правда» поместили подборки читательских откликов. В спор с критикой вступили читатели не только у нас в стране, но и за рубежом. Писатель Николай Чуковский отмечал: «Для меня ясно, что Тендряков очень большой писатель, идущий своим путем. Критика, которая не чувствует величины художественного явления — плохая критика. И недостатки, которые мы чувствуем в некоторых его вещах, — это недостатки совсем

в другом масштабе, в другом плане, чем очень большие достоинства меньших литераторов» («Моск. литератор», 1960, 19 мая).

Повесть была инсценирована театрами Польши, ГДР, Венгрии.

«Суд». Впервые — в журнале «Новый мир», 1961, № 3.

Проблема нравственного выбора — центральный стержень «малой прозы» — проступает все отчетливее. В архиве писателя нет точных упоминаний, что послужило толчком к созданию повести. В устных рассказах он не раз возвращался к своему путешествию с детским поэтом Ю. Коринцом по Северу в конце пятидесятых годов. Пешком они прошли много километров по Онеге, Каргополью, по глубинкам, которые становились привычным местом действия в повестях Тендрякова. Там и произошли, в основном, встречи с будущими прототипами его повестей и рассказов — охотниками, лесорубами, славщиками, — с людьми «простыми» и «сложными», с людьми, духовный мир которых был интересен писателю.

Вызванный к жизни писательским воображением главный герой «Суда» охотник-медвежатник Семен Тетерин воспринимается как лицо реальное, он узнаваем и любим читателями, обрушившими на Тендрякова целый поток почты. Для писателя Тетерин был «олицетворением народа». Суд совести, нравственный закон оказывается самым серьезным испытанием для героев. «Нет более тяжкого суда, чем суд своей совести». Совесть личная. Совесть гражданская. В каком сопряжении этих двух начал формируется личность человека? Как в фокусе, автор выделяет главное — «Истина и личное счастье неотделимы друг от друга».

Как всегда, автор строг в оценке своих произведений. «Суд», по-моему, это из тех вещей, какие мне не удалось «дотянуть». Видимо, мне еще не хватило умения понимать своего героя. Ворьба директора строительства со своим отделившимся от него именем у меня только намечена, задана, но не доведена до настоящего накала: не хватило писательского умения...» («Лит. обозр.», 1979, № 3, интервью.) Этот замысел писатель осуществит позже, в «Чистых водах Китежа».

Мнения критиков вновь разделились. Автора упрекали за «стремление упростить жизнь», за то, что «он забрел в дебри инстинкта», ставил на своих героях «алхимические опыты». Доктор юридических наук А. Васильев в журнале «Социалистическая законность» (1963, № 3) назвал повесть «литературным браком». Он считал, что Тендряков «судебных, следственных и прокурорских работников, несущих трудовую и почетную вахту на страже социалистической законности, изобразил в кривом зеркале». В пылу спора критика так далеко ушла от первоисточника, что Ф. Кузнецов в статье «Один на один с совестью» вынужден был спросить:

«Может быть, критик читал другую повесть? Оставим его наедине со своей совестью. В конце концов приговор книгам выносят не литературоведы, а читатели» («Известия», 1961, 11 мая).

На Мосфильме в 1962 году по сценарию Тендрякова был снят фильм с одноименным названием. Эта картина создавалась режиссером В. Скуйбинным. Она оказалась последней работой молодого талантливого режиссера.

«Путешествие длинной в век». Впервые — в журнале «Наука и жизнь», 1963, № 9—12. В данном томе печатается по тексту «Библиотеки современной фантастики» («Мол. гв.», 1970, т. 19).

Научная фантастика находится в русле главных исканий автора — идейных, философских, эстетических. Писатель раздвигает границы социального поиска. Темы, концептивно намеченные в «Путешествии...», реализовывались в дальнейшем. Повесть о Венере, о противоречиях мирового разума незаконченной осталась лежать на его столе. «Я считаю, что разум не может ставить своей целью уничтожение другого разума. Подлинный разум всегда гуманен. И общение цивилизаций может дать только положительные результаты. И в этом я тоже оптимист» («Сов. литература», 1983, № 11).

«Путешествие длинной в век» — книга сильных страстей, прежде всего тех, которыми живет сам автор. Он верил в силу познания, в силу разума, этого уникального инструмента, данного человечеству эволюцией. «Нет повторения, по Прекрасное не умирает на Земле. Ничто не теряется совсем» — такова формула бессмертия по Тендрякову. Бессмертия не личного, а всего человечества.

Повесть помогает понять еще одну особенность писательского мироощущения — непереносимое слияние прошлого, настоящего и будущего. Без этого триединства многое в прозе Тендрякова остается непроясненным.

«Думается, произведения научной фантастики только тогда являются значительными, когда обращаются к философским проблемам», — говорил автор в интервью для журнала «Советская литература» (1983, № 11). Сам Тендряков определял «Путешествие длинной в век» как повесть о бессмертии, о возможностях человеческого интеллекта, и, конечно, о долге и ответственности!» (Т а м ж е.)

«Находка». Впервые — в журнале «Наука и религия», 1965, № 1—2.

В интервью «Лит. газете», (1979 г. № 16, апрель) Тендряков упоминал: «Как-то мне рассказали об одном казавшемся всем черством человеке, который нашел в лесу брошенную девочку и нес ее десятки километров на себе. Это толкнуло на «Находку».

«В самом человеке дурное и хорошее неразделимо слито воедино, как едины противоположности в текучей природе» («Лит. газета», 1981, № 21, май, интервью).

Друг Владимира Федоровича Тендрякова — писатель К. Икрамов — вспоминает: «В одну из наших встреч в Пахре, сразу же после прогулки по лесу он сказал мне: «Давай-ка я тебе прочитаю сейчас кое-что». Вообще он любил читать вслух готовые вещи, главы, фрагменты из теоретических статей социологического и литературоведческого характера. Очень часто это заканчивалось горячими и даже запальчивыми спорами. «Держать дистанцию» он не умел, — или принимал собеседника полностью, или вовсе старался не общаться.

В этот раз он читал по рукописи, не поднимая головы от текста. Я был совершенно захвачен столь неожиданным, непонятно откуда взявшимся куском жизни. Ничто из произведений друга, исключая «Кончины», не произвело на меня такого впечатления. Мне казалось, да и сейчас кажется, что в «Находке» писателю удалось в весьма лаконичной истории отразить историю нескольких десятилетий России, преломленную в сознании одного очень одинокого и сурового, как сама жизнь, человека.

Вначале «Находка» предназначалась «Новому миру». А. Твардовский прочитал первую часть повести и хотел, чтоб Владимир Федорович расширил ее. Так была дописана вторая часть повести. Пользуясь нашей дружбой, мне удалось уговорить писателя отдать ее в журнал «Наука и религия», где я тогда вел отдел литературы и искусства. Ничего специфически антирелигиозного в повести не было. Но журнал осуществлял поворот к тому, чтоб атеистическое воспитание строилось на анализе самых сложных духовных проблем.

Вскоре я готовил «Находку» к печати и, как помню, ни одного слова изменить в ней не пришлось — текст свой править он не давал вообще.

В отличие от всех известных мне писателей В. Ф. Тендряков был совершенно безразличен к тому, в каком издании появится новая публикация. Он считал, что художественное произведение, если оно того стоит, найдет своего читателя, где бы оно ни публиковалось. Дружбу Владимир Федорович ценил высоко. Так мне удалось заполучить для журнала «Чрезвычайное происшествие» и «Апостольскую командировку».

«Подписка — век короткий». Впервые — в журнале «Новый мир», 1965, № 5.

«Только люди с воспаленной совестью, с повышенным до болезненности восприятием мира могут стать истинными художниками», — писал Тендряков о Льве Николаевиче Толстом («Лит. га-

зета», 1960, 19 дек., «Исцеляющее искусство»). Этими качествами в высокой степени обладал и сам автор. В «Поденке» социальная зоркость писателя делается особенно острой. Плотность, художественная насыщенность прозы возрастает. Сокращается путь от мысли к мысли, от действия к действию.

Поводом для создания «Поденки...» послужила заметка из зала суда в газете «Известия». Известная доярка, «маяк района», подожгла свою ферму, живых коров, а вместе с ними и «мертвые души». — страшные ступеньки ее славы. Заметка была не единичной. Во Владимирской области свиноводка Зина Естелина тоже оказалась реальным прототипом Насти Сыроежкиной. В пожаре сгорело почти 500 свиней.

По словам автора, в ранних повестях он пытался показать нравственность, так сказать, «в картинках», теперь хотелось бы понять, что это такое. Существует извечный стереотип — нравственность не что иное, как личное качество... Вся беда в дурных людях... Не от личных качеств, не от воли дурных людей зависит нравственный уровень жизни — от сложившихся обстоятельств... Истоки нравственности не внутри, а «вне нас». В этих факторах я и пытаюсь сейчас разобраться» («Сов. литература», 1933, № 11). Окружение, обстоятельства, сложившиеся определенным образом, влияют на поступки и судьбу человека. «Характер Артемия Богдановича и механизм рабства — открытие Владимира Тендрякова», — писал критик А. Янов («Вопр. лит.», 1966, № 8).

«Частная вещь о приписках», — писал И. Золотусский в журнале «Вопросы литературы» (1966, № 2). — «Поденка» кажется «поденкой». Газета «Сельская жизнь» (1965, 17 авг.) обвинила писателя «во враждебности колхозному строю». «Правда» (1965, 9 сент.) обратила внимание на недопустимость подобных обвинений в адрес В. Тендрякова.

Приветствовал появление повести писатель Георгий Радов: «Сила Тендрякова в том, что он со всей своей публицистичностью предостерегает людей от неправды и требует нравственного суда над ее носителями. Хорошую, полезную людям, взволнованную, — а по языку просто великолепную повесть подарил нам Владимир Тендряков. Для людей, любящих деревню, это праздник, что Тендряков вернулся в мир, породивший его, как писателя» («Комс. правда», 1965, 16 сент.).

Все произведения этого тома многократно, большими тиражами выходили в нашей стране, переводились на языки народов братских республик, издавались в ГДР, Польше, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Китае, Индии, Англии, Франции, США, Японии.

Н. Асмолова-Тендрякова

Содержание

<i>Е. Сидоров. О прозе Владимира Теплякова</i> (1923—1984)	5
---	---

Повести

Не ко двору	25
Ухабы	105
Чудотворная	151
Тройка, семёрка, туз	234
Суд	270
Путешествие длиною в век	349
Находка	
Часть первая	434
Часть вторая	462
Поденка — век короткий	492
Примечания	565

Тендряков В.

Т33 Собрание сочинений. В 5-ти т. Т. I: Повести / Сост., подгот. текста и примечания Н. Асмоловой-Тендряковой; Вступ. статья Е. Сидорова.— М.: Худож. лит., 1987.— 575 с.

В настоящий том вошли восемь известных повестей В. Ф. Тендрякова, созданных им в первое десятилетие творчества.

Т $\frac{4702010200-322}{028(01)-87}$ подписное

ББК 84Р7

Владимир Федорович Тендряков

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ПЯТИ ТОМАХ

Том I

Редактор Н. Иванова

Художественный редактор Т. Сампгулин

Технический редактор Л. Ковнацкая

Корректоры М. Чуирова, Н. Ломанова

ИБ № 4727

Сдано в набор 24.12.86. Подписано к печати 14.05.87. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 30,24+1 вкл.=30,29. Усл. кр.-отт. 30,34. Уч.-изд. л. 32,73+1 вкл.=32,77. Заказ 2495. Изд. № III-2525. Тираж 100 000 экз. Цена 2 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий». 103473, Москва, II-473, Краснопролетарская, 16.

